

A. Lopez

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

А. П. ЧЕХОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В двенадцати
томах*

Под общей редакцией
*В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА*

*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962*

А. П. ЧЕХОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том пятый

РАССКАЗЫ

1887

*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1962*

Примечания
Е. М. Сахаровой

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



А. П. ЧЕХОВ

1888.

НОВОГОДНЯЯ ПЫТКА

Очерк новейшей инквизиции

Вы облачаетесь во фракную пару, нацепляете на шею Станислава, если таковой у вас имеется, прыскаете платок духами, закручиваете штопором усы и все это с такими злобными, порывистыми движениями, как будто одеваете не себя самого, а своего злейшего врага.

— А, черррт подери! — бормочете вы сквозь зубы. — Нет покоя ни в будни, ни в праздники! На старости лет мычешься, как собака! Почтальоны живут покойнее!

Возле вас стоит ваша, с позволения сказать, подруга жизни, Верочка, и егозит:

— Ишь что выдумал: визитов не делать! Я согласна, визиты — глупость, предрассудок, их не следует делать, но если ты осмелишься остаться дома, то, клянусь, я уйду, уйду... навеки уйду! Я умру! Один у нас дядя, и ты... ты не можешь, тебе лень поздравить его с Новым годом? Кузина Леночка так нас любит, и ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей честь? Федор Николаич дал тебе денег взаймы, брат Петя так любит всю нашу семью, Иван Андреич нашел тебе место, а ты!.. ты не чувствуешь! Боже, какая я несчастная! Нет, нет, ты решительно глуп! Тебе нужно жену не такую кроткую, как я, а ведьму, чтоб она тебя грызла каждую минуту! Да-а! Бес-со-вестный человек! Ненавижу! Презираю! Сию же минуту уез-

жай! Вот тебе списочек... У всех побывай, кто здесь записан! Если пропустишь хоть одного, то не смей ворочаться домой!

Верочка не дерется и не выцарапывает глаз. Но вы не чувствуете такого великодушия и продолжаете ворчать... Когда туалет кончен и шуба уже надета, вас провожают до самого выхода и говорят вам вслед:

— Тирран! Мучитель! Изверг!

Вы выходите из своей квартиры (Зубовский бульвар, дом Фуфочкина), садитесь на извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в «Далиле»:

— В Лефортово, к Красным казармам!

У московских извозчиков есть теперь полости, но вы не цените такого великодушия и чувствуете, что вам холодно... Логика супруги, вчерашняя толчея в маскарade Большого театра, похмелье, страстное желание завалиться спать, послепраздничная изжога — все это мешается в сплошной сумбур и производит в вас муть... Мутит ужасно, а тут еще извозчик плетется еле-еле, точно помирать едет...

В Лефортове живет дядюшка вашей жены, Семен Степаныч. Это прекраснейший человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку, после своей смерти оставит вам наследство, но... черт с ним, с его любовью и с наследством! На ваше несчастье, вы входите к нему в то самое время, когда он погружен в тайны политики.

— А слышал ты, душа моя, что Баттенберг задумал? — встречает он вас. — Каков мужчина, а? Но какова Германия!!

Семен Степаныч помешан на Баттенберге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос, и если б в его власти, то он решил бы этот вопрос как нельзя лучше...

— Не-ет, брат, тут не Муткурка и не Стамбулка виноваты! — говорил он, лукаво подмигивая глазом. — Тут Англия, брат! Будь я, анафема, трижды проклят, если не Англия!

Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться, но он хватает вас за рукав и просит дослу

шать. Он кричит, горячится, брызжет вам в лицо, тычет пальцами в ваш нос, цитирует целиком газетные передовицы, вскакивает, садится... Вы слушаете, чувствуете, как тянутся длинные минуты, и из боязни уснуть тарашите глаза... От обалдения у вас начинают чесаться мозги... Баттенберг, Муткуров, Стамбулов, Англия, Египет мелкими чертиками прыгают у вас перед глазами...

Проходит полчаса... час... Уф!

— Наконец-то! — вздыхаете вы, садясь через полтора часа на извозчика.— Уходил, мерзавец! Извозчик, езжай в Хамовники! Ах, проклятый, душу вытянул политической!

В Хамовниках вас ожидает свидание с полковником Федором Николаичем, у которого в прошлом году вы взяли взаймы шестьсот рублей...

— Спасибо, спасибо, милый мой,— отвечает он на ваше поздравление, ласково заглядывая вам в глаза.— И вам того же желаю... Очень рад, очень рад... Давно ждал вас... Там ведь у нас, кажется, с прошлого года какие-то счета есть... Не помню, сколько там... Впрочем, это пустяки, я ведь это только так... между прочим... Не желаете ли с дорожки?

Когда вы, заикаясь и потупив взоры, заявляете, что у вас, ей-богу, нет теперь свободных денег, и слезно просите обождать еще месяц, полковник всплескивает руками и делает плачущее лицо.

— Голубчик, ведь вы на полгода брали! — шепчет он.— И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милый, вы просто топите меня, честное слово... После крещения мне по векселю платить, а вы... ах, боже мой милостивый! Извините, но даже бессовестно...

Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садитесь в сани и говорите извозчику:

— К Нижегородскому вокзалу, скотина!

Кузину Леночку вы застаете в самых растрепанных чувствах. Она лежит у себя в голубой гостиной на кушетке, нюхает какую-то дрянь и жалуется на мигрень.

— Ах, это вы, Мишель? — стонет она, наполовину открывая глаза и протягивая вам руку.— Это вы? Сядьте возле меня...

Минут пять лежит она с закрытыми глазами, потом поднимает веки, долго глядит вам в лицо и спрашивает тоном умирающей:

— Мишель, вы... счастливы?

Засим мешочки под ее глазами напухают, на ресницах показываются слезы... Она поднимается, прикладывает руку к волнующейся груди и говорит:

— Мишель, неужели... неужели все уже кончено? Неужели прошлое погибло безвозвратно! О нет!

Вы что-то бормочете, беспомощно поглядываете по сторонам, как бы ища спасения, но пухлые женские руки, как две змеи, обволакивают уже вашу шею, лацкан вашего фрака уже покрыт слоем пудры. Бедная, все прощающая, все выносящая фрачная пара!

— Мишель, неужели тот сладкий миг уж не повгорится более? — стонет кузина, орошая вашу грудь слезами.— Кузен, где же ваши клятвы, где обет в вечной любви?

Бррр!.. Еще минута, и вы с отчаяния броситесь в горящий камин, головой прямо в уголья, но вот на ваше счастье слышатся шаги и в гостиную входит визитер с шапокляком и остроносими сапогами... Как сумасшедший срываетесь вы с места, целуете кузине руку и, благословляя избавителя, мчитесь на улицу.

— Извозчик, к Крестовской заставе!

Брат вашей жены, Петя, отрицает визиты, а потому в праздники его можно застать дома.

— Ура-а! — кричит он, увидев вас...— Кого вижу! Как кстати ты пришел!

Он трижды целует вас, угощает коньяком, знакомит с двумя какими-то девицами, которые сидят у него за перегородкой и хихикают,— скачет, прыгает, потом, сделав серьезное лицо, отводит вас в угол и шепчет:

— Скверная штука, братец ты мой... Перед праздниками, понимаешь ты, издержался и теперь сижу без копейки... Положение отвратительное... Только на тебя

и надежда... Если не дашь до пятницы двадцать пять рублей, то без ножа зарежешь...

— Ей-богу, Петя, у меня у самого карманы пусты! — божитесь вы...

— Оставь, пожалуйста! Это уж свинство!

— Но уверяю тебя...

— Оставь, оставь... Я отлично тебя понимаю! Скажи, что не хочешь дать, вот и все...

Петя обижается, начинает упрекать вас в неблагодарности, грозит донести о чем-то Верочке... Вы даете пять целковых, но этого мало... Даете еще пять — и вас отпускают с условием, что завтра вы пришлете еще пятнадцать.

— Извозчик, к Калужским воротам!

У Калужских ворот живет ваш кум, мануфактур-советник Дятлов. Этот хватает вас в объятия и тащит вас прямо к закусочному столу.

— Ни-ни-ни! — орет он, наливая вам большую рюмку рябиновой. — Не смей отказаться! По гроб жизни обидишь! Не выпьешь — не выпущу! Сережка, запи-ка на ключ дверь!

Делать нечего, вы скрепя сердце выпиваете. Кум приходит в восторг.

— Ну, спасибо! — говорит он. — За то, что ты такой хороший человек, давай еще выпьем... Ни-ни-ни... ни! Обидишь! И не выпущу!

Надо пить и вторую.

— Спасибо другу! — восхищается кум. — За это самое, что ты меня не забыл, еще надо выпить!

И так далее... Выпитое у кума действует на вас так живительно, что на следующем визите (Сокольническая роща, дом Курдюковой) вы хозяйку принимаете за горничную, а горничной долго и горячо пожимаете руку...

Разбитый, помятый, без задних ног возвращаетесь вы к вечеру домой. Вас встречает ваша, извините за выражение, подруга жизни...

— Ну, у всех были? — спрашивает она. — Что же ты не отвечаешь? А? Как? Что-о-о? Молчать! Сколько потратил на извозчика?

— Пя... пять рублей восемь гривен...

— Что-о-о? Да ты с ума сошел! Миллионер ты, что ли, что тратишь столько на извозчика? Боже, он делает нас нищими!

Засим следует нотация за то, что от вас вином пахнет, что вы не умеете толком рассказать, какое на Леночке платье, что вы — мучитель, изверг и убийца... Под конец, когда вы думаете, что вам можно уже завалиться и отдохнуть, ваша супруга вдруг начинает обнюхивать вас, делает испуганные глаза и вскрикивает.

— Послушайте,— говорит она,— вы меня не обманете! Куда вы заезжали кроме визитов?

— Ни... никуда...

— Лжете, лжете! Когда вы уезжали, от вас пахло фиолет-де-пармом, теперь же от вас разит опопонаксом! Несчастный, я все понимаю! Извольте мне говорить! Встаньте! Не смейте спать, когда с вами говорят. Кто она? У кого вы были?

Вы тарашите глаза, крикаете и в обалдении встряхиваете головой...

— Вы молчите?! Не отвечаете? — продолжает супруга.— Нет? Уми... умираю! До... доктора! За-му-учил! Уми-ра-аю!

Теперь, милый мужчина, одевайтесь и скачите за доктором. С Новым годом!

ШАМПАНСКОЕ

Рассказ прохожидца

В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на двадцать верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жида подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным цокоем — этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром.

На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа.

Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще прескучнейшая жизнь.

Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном иступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки, или же бутылка была слишком

влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем.

— Ну, с Новым годом, с новым счастьем! — сказал я, наливая два стакана.— Пей!

Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас.

— Ты уронил бутылку? — спросила она.

— Да, уронил. Ну, так что же из этого?

— Нехорошо,— сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея.— Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе.

— Какая ты баба! — вздохнул я.— Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей.

— Дай бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что-нибудь! Вот увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел.

На дворе во всей своей холодной нелюдимой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая все: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шел вдоль насыпи.

«Глупая женщина! — думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами.— Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?»

Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него.

«Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок,— продолжал я думать.— Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?»

Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли.

«Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? — спрашивал я себя.— И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность... Все гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного».

Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покотил далее. Пройдя версты две, я вер-

нулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: «Что же может случиться недоброе?»

«Да, что же случится? — спрашивал я себя, возвращаясь. — Кажется, все пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблял на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление я, кажется, не способен, суда же не боюсь».

Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда.

У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и все лицо дышало удовольствием.

— А у нас новость! — зашептала она. — Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья!

— Какая гостья?

— Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна.

— Какая Наталья Петровна?

— Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро:

— Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только

три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата.

Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с «тетей».

За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, толпорный диван... кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостя была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента.

— А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь.

— А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказал я.

Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина и от присутствия женщины. Вы помните романс?

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас,
Как боюсь я вас!

Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длин-

ные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романа:

Знать, увидел вас
Я не в добрый час...

Все полетело к черту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?

М О Р О З

На крещение в губернском городе N. было устроено с благотворительной целью «народное» гулянье. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, огородили ее канатом, елками и флагами и соорудили все, что нужно для катанья на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался в возможно широких размерах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий: каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею, электрическое солнце и проч. Но все это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На крещение с самого кануна стоял мороз градусов в двадцать восемь с ветром; и гулянье хотели отложить, но не сделали этого только потому, что публика, долго и нетерпеливо ожидавшая гулянья, не соглашалась ни на какие отсрочки.

— Помилуйте, на то теперь и зима, чтоб был мороз! — убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гулянье было отложено.— Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться!

От мороза побелели деревья, лошади, бороды; казалось даже, сам воздух трещал, не вынося холода, но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке, и ровно в час дня начал играть военный оркестр.

В самый разгар гулянья, часу в четвертом, в губернаторском павильоне, построенном на берегу реки, собралось греться местное отборное общество. Тут были старик губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядели на каток.

— Ай, батюшки,— изумлялся архиерей,— ногами-то, ногами какие ноты выводят! Ей-же-ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами.. Ай, убьется!

— Это Смирнов... Это Груздев,— говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мимо павильона.

— Ба, жив курилка! — засмеялся губернатор.— Господа, поглядите, наша городская голова идет... Сюда идет. Ну, беда: заговорит он нас теперь!

С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький худенький старик в лисьей шубе нараспашку и в большом картузе. Это был городской голова, купец Еремеев, миллионер, Н-ский старожил. Растопырив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калошей о калошу и, видимо, спешил убраться от ветра. На полдороге он вдруг согнулся, подкрался сзади к какой-то даме и дернул ее за рукав. Когда та оглянулась, он отскочил и, вероятно, довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом.

— Живой старикашка! — сказал губернатор.— Удивительно, как это он еще на коньках не катается.

Подходя к павильону, голова засеменял мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных калошах к самой двери.

— Егор Иваныч, коньки вам надо купить! — встретил его губернатор.

— Я и сам-то думаю! — ответил он крикливым, немного гнусавым тенорком, снимая шапку.— Здравия желаю, ваше превосходительство! Ваше преосвященство, владыко святой! Всем прочим господам — многая лета! Вот так мороз! Ну, да и мороз же, бог с ним! Смерть!

Мигая красными, озябшими глазами, Егор Иваныч застучал по полу калошами и захлопал руками, как озябший извозчик.

— Такой проклятуший мороз, что хуже собаки всякой! — продолжал он говорить, улыбаясь во все лицо. — Сущая казнь!

— Это здорово, — сказал губернатор. — Мороз укрепляет человека, бодрит.

— Хоть и здорово, но лучше б его вовсе не было, — сказал голова, утирая красным платком свою клиновидную бородку. — Бог с ним! Я так понимаю, ваше превосходительство, господь в наказание нам его посылает, мороз-то. Летом грешим, а зимою казнимся... да!

Егор Иваныч быстро огляделся и всплеснул руками.

— А где же это самое... чем греться-то? — спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. — Ваше превосходительство! Владыко святой! Чай, и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Так невозможно!

Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не затем, чтобы греться, но голова, никого не слушая, отворил дверь и закивал кому-то согнутым в крючок пальцем. К нему подбежали артельщик и пожарный.

— Вот что, бегите к Саватину, — забормотал он, — и скажите, чтоб как можно скорей прислал сюда того... Как его? Чего бы такое? Стало быть, скажи, чтоб десять стаканов прислал... десять стаканов глинтвейнцу... самого горячего, или пуншу, что ли...

В павильоне засмеялись.

— Нашел, чем угощать!

— Ничего, выпьем... — бормотал голова. — Стало быть, десять стаканов... Ну, еще бенедиктинцу, что ли... красненького вели согреть бутылки две... Ну, а мадамам чего? Ну, скажешь там, чтоб пряников, орешков... конфетов каких там, что ли... Ну, ступай! Живо!

Голова минуту помолчал, а потом опять стал бранить мороз, хлопая руками и стуча калошами.

— Нег, Егор Иваныч, — убеждал его губернатор, —

не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обуславливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование... Это совершенно справедливо!

— Может, и справедливо, ваше превосходительство, но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, и всякие кушанья заморозить можно, и деточки на коньках катаются... все это верно! Сытому и одетому мороз — одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника, блаженного — он первейшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святой! При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить! Мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка, всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем, я без всякого внимания, зная его не хочу. Но прежде-то что было, мать пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня с годами отшибло, и я все позабыл; и врагов, и грехи свои, и напасти всякие — все позабыл, но мороз — ух как помню! Остался я после маменьки вот таким махоньким бесенком, бесприютным сиротою... Ни родных, ни ближних, одежонка рваная, кушать хочется, ночевать негде, одним словом, не имамы zde пребывающего града, но грядущаго взыскуем. Довелось мне тогда за пяточок в день водить по городу одну старушку слепую... Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожак, как в лихорадке, жмешься и прыгаешь, потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их клещами жмет. Но это все бы ничего, пустое дело, не суть важное. Беда, когда все тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святой, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одревенеешь, как статуя, идешь, и кажется тебе, что не

ты это идешь, а кто-то другой вместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач с лотка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и сам не знаешь.

— Пока еще не стемнело, нужно по катку пройти, — сказала губернаторша, которой скучно стало слушать. — Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова.

— Царица небесная! А что было, когда меня в сидельцы в рыбную лавку отдали! — продолжал Егор Иваныч, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. — Бывало, выходишь в лавку чуть свет... к девятому часу у уж совсем озябши, рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь: «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется!» К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит... да-с! Когда потом сам хозяин был, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно мышеловка, со всех сторон ее продувает; шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху, сквозная... Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, так что чуть ухо не оторвешь, другого по затылкухватишь, на покупателя злодеем этаким глядишь, зверем, и норовишь с него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не в духах и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь, и так разойдешься, что пяти городских мало. От морозу и зол становишься и водку пьешь не в меру.

Егор Иваныч всплеснул руками и продолжал:

— А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили! Мать пречистая!

И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу...

— Н-да,— вздохнул губернатор,— удивительно вынослив человек! Вы, Егор Иванович, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай...

И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны, в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно тринадцать часов в снегу под пронзительным ветром; из страха быть замеченным отряд не разводил огня, молчал, не двигался; запрещено было курить...

Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный, во время сильного мороза, вывалился из возка и едва не замерз; когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив. Потом, словно сговорившись, старики вдруг умолкли, сели рядышком и задумались.

— Эх! — прошептал голова.— Кажется, пора бы забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, все припомнишь! Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас. Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли... Играют и думают: «Мать пречистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть!»

Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний, что последнего нищего приближает к богу: о немощи человека, о его боли, о терпении...

Между тем воздух синел... Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, внося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь, и в павильон вошел молодой безусый околоточный с багровым носом и весь покрытый инеем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал:

— Ее превосходительство приказали доложить, что оне уехали домой.

Глядя, как околоточный делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инеем, все почему-то почувствовали, что у этого околоточного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа...

— Послушайте,— сказал нерешительно губернатор,— выпейте глинтвейну!

— Ничего, ничего... выпей! — замахал голова.— Не стесняйся!

Околоточный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого околоточного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул.

— Пора по домам! — сказал он, поднимаясь.— Прощайте! Послушайте,— обратился он к околоточному,— скажите там музыкантам, чтобы они... перестали играть, и попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им... пива или водки.

Губернатор и архиерей простились с «городской головой» и вышли из павильона.

Егор Иваныч принялся за глинтвейн и, пока околоточный допивал свой стакан, успел рассказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.

ИЩИЙ

— Милостивый государь! Будьте добры, обратите внимание на несчастного, голодного человека. Три дня не ел... не имею пятака на ночлег... клянусь богом! Восемь лет служил сельским учителем и потерял место по интригам zemства. Пал жертвою доноса. Вот уж год, как хожу без места.

Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сизое дырявое пальто просителя, на его мутные пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он раньше уже видел где-то этого человека.

— Теперь мне предлагают место в Калужской губернии,— продолжал проситель,— но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость! стыдно просить, но... вынуждают обстоятельства.

Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.

— Послушайте, третьего дня, кажется, я встретил вас на Садовой,— сказал он,— но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили. Помните?

— Не... нет, не может быть! — пробормотал проситель смущаясь.— Я сельский учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

— Будет вам лгать! Вы называли себя студентом и даже рассказали мне, за что вас исключили. Помните?

Скворцов покраснел и с выражением гадливости на лице отошел от оборвыша.

— Это подло, милостивый государь! — крикнул он сердито. — Это мошенничество! Я вас в полицию отправлю, черт бы вас взял! Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.

— Я... я не лгу-с... — пробормотал он. — Я могу документы показать.

— Кто вам поверит? — продолжал возмущаться Скворцов. — Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам — ведь это так низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение, оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом: доброту, чувствительное сердце, сострадание к несчастным людям; своею ложью, покушением на милосердие «субъект» точно осквернил ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам. Оборвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и, пристыженный, поник головой.

— Сударь! — сказал он, прикладывая руку к сердцу. — Действительно, я... солгал! Я не студент и не сельский учитель. Все это одна выдумка! Я в русском хоре служил, и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мне делать? Верьте богу, нельзя без лжи! Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега! Вы верно рассуждаете, я понимаю, но... что же мне делать?

— Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать? — крикнул Скворцов, подходя к нему близко. — Работайте, вот что делать! Работать нужно!

— Работать... Я и сам это понимаю, но где же работы взять?

— Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга

костей и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось не пойдете в дворники или фабричные! Вы ведь с претензиями!

— Как вы рассуждаете, ей-богу...— проговорил проситель и горько усмехнулся.— Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя... а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

— Вздор! Вы всегда найдете оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?

— Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.

— Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

— Извольте, поколю...

— Хорошо, посмотрим... Отлично... Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.

— Вот, Ольга,— обратился он к ней,— поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.

Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходящих на двор, виден был дровяной сарай и все, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Ольга,

сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вероятно, мы помешали бабе кофе пить,— подумал Скворцов.— Экое злое создание!»

Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Баба швырнула к его ногам топор, со злобой плюнула и, судя по выражению губ, стала браниться. Оборвыш нерешительно потянул к себе одно полено, поставил его между ног и несмело тяпнул по нем топором. Полено закачалось и упало. Оборвыш потянул его к себе, подул на свои озябшие руки и опять тяпнул топором с такою осторожностью, как будто боялся хватить себя по калоше или обрубить пальцы. Полено опять упало.

Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека, избалованного, пьяного и, быть может, больного, заниматься на холоде черной работой.

«Ну, ничего, пусть...— подумал он, идя из столовой в кабинет.— Это я для его же пользы».

Через час явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

— На, отдай ему полтинник,— сказал Скворцов.— Если он хочет, то пусть приходит колоть дрова каждое первое число... Работа всегда найдется.

Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, и всякий раз для него находили работу: то он снег сгробал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек двадцать — сорок, и раз даже ему были высланы старые брюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцов нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив; он едва прикасался к мебели, ходил, понурия голову, за возами и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным

благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.

— Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали,— сказал он, подавая ему рубль.— Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?

— Лушков.

— Я, Лушков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?

— Могу-с.

— Так вот с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Работайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорил вам. Прощайте!

Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье руку. Лушков взял письмо, ушел и уж больше не приходил на двор за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке. Человечек робко попросил у кассира билет на галерку и заплатил медными пятаками.

— Лушков, это вы? — спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола.— Ну как? Что поделяваете? Хорошо живется?

— Ничего... Служу теперь у нотариуса, получаю тридцать пять рублей-с.

— Ну, и слава богу. И отлично! Радуюсь за вас. Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали.

— Спасибо и вам,— сказал Лушков.— Не приходи я к вам тогда, пожалуй до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся, выскочил из ямы.

— Очень, очень рад.

— Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй, благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга.

— Каким это образом?

— А таким образом. Бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет: «Ах ты, пьяница! Окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!» А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется: «Несчастный ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь! Горемычный ты!» И все в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное — вместо меня дрова колола! Ведь я, сударь, у вас ни одного полена не расколол, а все она! Почему она меня спасла, почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал, не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена; она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонок подают.

Лушков поклонился и отправился на галерку.

ВРАГИ

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроватью умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам открывать дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

— Доктор у себя? — быстро спросил вошедший.

— Я дома, — ответил Кирилов. — Что вам угодно?

— А, это вы? Очень рад! — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. — Очень... очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я — Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии.

Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.

— Я боялся не застать вас,— продолжал он.— Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едемте, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватается себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

— Неужели? — прошептал Абогин, делая шаг назад.— Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

— Послушайте,— горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав,— я отлично понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на него-ревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкафы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустился в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, корбоек и баночек, и большая лампа на комодке ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили во внутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одежда, тряпки, тазы, лужи на

полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутылка с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый,— все замерло и казалось погруженным в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестящим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, создавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору сорок четыре года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене тридцать пять лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.
— Наконец-то! — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери.— Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...

— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! — сказал он оживляясь.— Как странно!

— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

— У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасти жизнь человеческую! — продолжал он умолять, как нищий. — Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

— Человеколюбие — палка о двух концах, — раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.

— И... и не просите! — продолжал он испуганно. — Извините меня... По тринадцатому тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не годен... Даже говорить не в состоянии... Извините...

— Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! — сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. — Бог с ним, с тринадцатым томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите — поезжайте, не хотите — бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и

как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взята если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:

— Далеко ехать?

— Что-то около тринадцати — четырнадцати верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

— Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Вsrьте, я сумею оценить ваше великодушие,— бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску.—

Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени,— и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнули пробормотал:

— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня,— сказал он тоскливо.— Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади сквозь скудный свет звезд видна была дорога и исчезающие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось,

оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, болезненное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда наконец коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

— Если что случится, то... я не переживу, — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. — Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно, — прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры — все это своею черствостью навело на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом

сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с какими он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нет и ничего не слышно,— сказал он, идя по лестнице.— Суматохи нет. Дай-то бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

— Ну, посидите тут, доктор,— сказал Абогин,— а я... сейчас. Я пойду погляжу и предупреджу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, невозможному, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкафа, и опять все стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли...

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.

— Обманула! — крикнул он, сильно напирая на слог *ну*. — Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутком Палчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеинная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

— Позвольте, где же больная? — спросил он.

— Больная! Больная! — крикнул Абогин, смеясь, плача и все еще потрясая кулаками. — Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутком, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол сканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

— И я не видел... не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком, и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. — Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

— Не... не понимаю! — бормотал доктор. — Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого — бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин. — К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, — горячо сказал он, подходя к Кириллову. — Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прошал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и несомненно ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случи-

лось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) — играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это все значит? — спросил Абогин краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами¹, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

¹ людьми дурного тона (от франц. mauvais ton).

— Как вы смеете говорить мне это? — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости? — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. — Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопайи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь! — взвизгнул Абогин. — За такие слова... быют! Понимаете?

Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

— Вот вам за ваш визит! — сказал он, шевеля ноздрями. — Вам заплачено!

— Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. — За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневě продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой! — крикнул доктор задыхаясь.

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул

колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

— Где вы попрятались, черт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки.— Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить.— Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

ДОБРЫЙ НЕМЕЦ

Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе Функ и К^о, был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца четыре и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он придет домой, как кухарка Марья отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет...

«Она не ожидает меня,— думал он.— Тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо...»

Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете две бутылки пива... От пива он стал очень добрым, так что, когда извозчик вез его с вокзала на Пресню, он все время бормотал:

— Ты, извозчик, хороший извозчик... Я люблю русских людей!.. Ты русский, и моя жена русский, и я русский... Мой отец немец, а я русский человек... Я желаю драться с Германией...

Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья.

— И ты русский, и я русский...— бормотал он, отдавая Марье багаж.— Все мы русские люди и имеем русские языки... А где Наташа?

— Она спит.

— Ну, не буди ее. Тсс... Я сам разбуджу... Я желаю ее испугать и буду сюрприз... Тссс!

Сонная Марья взяла багаж и ушла в кухню.

Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлыч на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальную, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее...

В спальне было темно и тихо...

«Я сейчас буду ее испугать», — подумал Иван Карлыч и зажег спичку...

Но — бедный немец! — пока на его спичке разгоралась синим огоньком сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки; на другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами...

Иван Карлыч не поверил глазам своим и зажег другую спичку... Сжег он одну за другой пять спичек — и картина представлялась все такую же невсроятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами. Первою его мыслью и желанием было — взять стул и хватить им со всего размаха по рыжей голове, потом схватить неверную жену за голую пятку и швырнуть ее в окно, так, чтобы она выбила обе рамы и со звоном полетела вниз на мостовую.

«О нет, этого мало! — решил он после некоторого размышления. — Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию и родню, а потом буду убивать их...»

Он надел шубу и через минуту уже шел по улице. Тут он горько заплакал. Он плакал и думал о людской неблагодарности. Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой, и он осчастливил ее, сделав женою ученого мастера, который у Функа и К^о получает семьсот пятьдесят рублей в год! Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная, а благодаря ему она ходит те-

перь в шляпке и перчатках, и даже Функ и К⁰ говорит ей «вы»...

И он думал: как ехидны и лукавы женщины! Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карлыча по страстной любви, и каждую неделю писала ему в Тверь нежные письма...

«О змея,— думал Швей, идя по улице.— О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек! Варвар, мужик! Я желаю драться с Россией, черт меня возьми!»

Немного погодя он думал:

«И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей головой! Ну, полюби она Функа и К⁰, я простил бы ей, а то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника! О, я несчастный человек!»

Отрев глаза, Швей зашел в трактир.

— Дай мне бумаги и чернил! — сказал он полковому. — Я желаю писать!

Дрожащею рукою он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что Швей желает плевать на кого угодно... В заключение он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желает марать рук.

Затем он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До четырех часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению, что жизнь — это горькая насмешка судьбы, что жить — глупо и недостойно порядочного немца. Он решил не мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее, что он мог сделать, это наказать жену великодушием.

«Пойду выскажу ей все,— думал он, идя домой,— а потом лишу себя жизни... Пусть будет счастлива со своим рыжим, а я мешать не буду...»

И он мечтал, как он умрет и как жена будет томиться от угрызений совести.

— Мое имущество я ей оставляю, да! — бормотал он, дергая за свой звонок.— Рыжий лучше меня, пусть-ка тоже заработает семьсот пятьдесят рублей в год!

И на этот раз дверь отворила ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидев его.

— Позови Наталью Петровну,— сказал он, не снимая шубы.— Я желаю разговаривать...

Через минуту перед Иваном Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивленным лицом. Плача и поднимая обе руки вверх, обманутый муж говорил:

— Я все знаю! Меня нельзя обмануть! Я собственными глазами видел рыжего скотину с длинными усами!

— Ты с ума сошел! — крикнула жена.— Что ты так кричишь? Разбудишь жильцов!

— О, рыжий мошенник!

— Говорю же тебе, не кричи! Напился пьян и кричит! Ступай спать!

— Не желаю я спать с рыжим на одной кровати! Прощай!

— Да ты с ума сошел! — рассердилась жена.— Ведь у нас жильцы! В той комнате, где была наша спальня, слесарь с женой живет!

— А...а? Какой слесарь?

— Да рыжий слесарь с женой. Я их пустила за четыре рубля в месяц... Не кричи, а то разбудишь!

Немец выпучил глаза и долго смотрел на жену; потом нагнул голову и медленно свистнул...

— Теперь я понимаю...— сказал он.

Немного погодя немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение, и Иван Карлыч чувствовал себя прекрасно.

— Ты у меня русский,— бормотал он,— и кухарка русский, и я русский... Все имеем русские языки... Слесарь — хороший слесарь, и я желаю его обнимать... Функ и К⁰ тоже хороший Функ и К⁰... Россия великолепная земля... С Германией я желаю драться.

ТЕМНОТА

Молодой парень, белобрысый и скуластый, в равном тулупчике и в больших черных валенках, выждал, когда земский доктор, кончив приемку, возвращался из больницы к себе на квартиру, и подошел к нему несмело.

— К вашей милости,— сказал он.

— Что тебе?

Парень ладонью провел себе по носу снизу вверх, поглядел на небо и потом уже ответил:

— К вашей милости... Тут у тебя, вашескоблородие, в арестантской палате мой брат Васька, кузнец из Варварина...

— Да, так что же?

— Я, стало быть, Васькин брат... У отца нас двое: он — Васька, да я — Кирила. Акроме нас, три сестры, а Васька женатый, и ребяенок есть... Народу много, а работать некому... В кузнице, почитай, уже два года огня не раздували. Сам я на ситцевой фабрике, кузнечить не умею, а отец какой работник? Не токмо, скажем, работать, путем есть не может, ложку мимо рта несет.

— Что же тебе от меня нужно?

— Сделай милость, отпусти Ваську!

Доктор удивленно поглядел на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошел дальше. Парень забежал вперед и бухнул ему в ноги.

— Доктор, господин хороший! — взмолился он, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу. — Яви божескую милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вечно бога молить! Ваше благородие, отпусти! С голоду вседохнут! Мать день-деньской ревет, Васькина баба ревет... просто смерть! На свет белый не глядел бы! Сделай милость, отпусти его, господин хороший!

— Да ты глуп или с ума сошел? — спросил доктор, глядя на него сердито. — Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!

Кирила заплакал.

— Отпусти!

— Тыфу, чудак! Какое же я имею право? Тюремщик я, что ли? Привели его ко мне в больницу лечиться, я лечу, а отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму. Глупая голова!

— Да ведь его задаром посадили! Покеда до суда он, почитай, год в остроге сидел, а теперь, спрашивается, за что сидит? Добро бы, убивал, скажем, или коней крал, а то так попал, здорово живешь.

— Верно, но я-то тут при чем?

— Посадили мужика и сами не знают за что. Был он выпивши, ваше благородие, ничего не помнил и даже отца по уху урезал, щеку себе напорол на сук спьяна-то, а двое наших ребят — захотелось им, видишь, турецкого табаку — стали ему говорить, чтобы он с ними ночью в армяшкину лавку забрался, за табак. Он спьяна-то послушался, дурак. Сломали они это, знаешь, замок, забрались и давай чертить. Все разворочали, стекла побили, муку рассыпали. Пьяные — одно слово. Ну, сейчас урядник... то да сё, к следователю. Год цельный в остроге сидели, а неделю назад, в среду, судили всех трех, в городе. Солдат сзади с ружьем... присягал народ. Васька-то всех меньше виноват, а господа так рассудили, что он первый коновод. Обоих ребят в острог, а Ваську в арестантскую роту на три года. А за что? Рассуди побожецки!

— Опять-таки я тут ни при чем. Ступай к начальству.

— Я уже был у начальства. Ходил в суд, хотел прошение подать, они и прошения не взяли. Был я и у станового, и у следователя был, и всякий говорит: не мое дело! Чье ж дело? А в больнице тут старшей тебя нет. Что хочешь, ваше благородие, то и делаешь.

— Дурак ты! — вздохнул доктор.— Раз присяжные обвинили, то уж тут не может ничего поделаться ни губернатор, ни даже министр, а не то что становой. Напрасно хлопочешь!

— А судил-то кто?

— Господа присяжные заседатели...

— Какие же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьев был, Алешка Хук был.

— Ну, мне холодно с тобой разговаривать...

Доктор махнул рукой и быстро пошел к своей двери. Кирила хотел было пойти за ним, но, увидев, как хлопнула дверь, остановился. Минут десять стоял он неподвижно среди больничного двора и, надевая шапки, глядел на докторскую квартиру, потом глубоко вздохнул, медленно почесался и пошел к воротам.

— К кому же идти? — бормотал он, выходя на дорожку.— Один говорит — не мое дело, другой говорит — не мое дело. Чье же дело? Нет, верно, пока не подмажешь, ничего не поделаешь. Доктор-то говорит, а сам все время на кулак мне глядит: не дам ли сеньючку? Ну, брат, я и до губернатора дойду.

Переминаясь с ноги на ногу, то и дело оглядываясь без всякой надобности, он лениво плелся по дороге и, по-видимому, раздумывал, куда идти... Было не холодно, и снег слабо поскрипывал у него под ногами. Перед ним, не дальше как в полуверсте, растянулся на холме уездный городишко, в котором недавно судили его брата. Направо темнел острог с красной крышей и с будками по углам, налево была большая городская роща, теперь покрытая инеем. Было тихо, только какой-то старик в бабьей кацавейке и в громадном картузе шел впереди, кашлял и покривал на корову, которую гнал к городу.

— Дед, здорово! — проговорил Кирила, поравнявшись со стариком,

— Здорово...

— Продавать гонишь?

— Нет, так...— лениво ответил старик.

— Мещанин, что ли?

Разговорились. Кирила рассказал, зачем он был в больнице и о чем говорил с доктором.

— Оно, конечно, доктор этих делов не знает,— говорил ему старик, когда оба они вошли в город.— Он хоть и барин, но обучен лечить всякими средствами, а чтоб совет настоящий тебе дать или, скажем, протокол написать,— он этого не может. На то особое начальство есть. У мирового и станowego ты был. Эти тоже в твоём деле не способны.

— Куда ж идти?

— По вашим крестьянским делам самый главный и к этому приставлен неременный член. К нему и иди. Господин Синеоков.

— Это что в Золотове?

— Ну да, в Золотове. Он у вас главный. Ежели что по вашим делам касающее, то супротив него даже исправник не имеет полного права.

— Далече, брат, иди!.. Чай, верст пятнадцать, а то и больше.

— Кому надобность, тот и сто верст пройдет.

— Оно так... Прощение ему подать, что ли?

— Там узнаешь. Коли прощение, писарь тебе живо напишет. У неременного члена есть писарь.

Расставшись с дедом, Кирила постоял среди площади, подумал и пошел назад из города. Он решил сходить в Золотово.

Дней через пять, возвращаясь после приемки больных к себе на квартиру, доктор опять увидел у себя на дворе Кирилу. На этот раз парень был не один, а с каким-то тощим, очень бледным стариком, который не переставая кивал головой, как маятником, и шамкал губами.

— Ваше благородие, я опять к твоей милости! — начал Кирила.— Вот с отцом пришел, сделай милость, оппусти Ваську! Неременный член разговаривать не стал. Говорит: «Пошел вон!»

— Ваше высокородие! — зашипел горлом старик, поднимая дрожащие брови, — будьте милостивы! Мы люди бедные, благодарить не можем вашу честь, но, ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька оработать могут. Пущай работают.

— Оработаем! — сказал Кирила и поднял руку, точно желая принести клятву. — Отпусти! С голодудохнут! Ревма ревут, ваше благородие!

Парень быстро взглянул на отца, дернул его за рукав, и оба они, как по команде, повалились доктору в ноги. Тот махнул рукой и, не оглядываясь, быстро пошел к своей двери.

Второй час дня. В галантерейном магазине «Парижские новости», что в одном из пассажей, торговля в разгаре. Слышен монотонный гул приказчиных голосов, гул, какой бывает в школе, когда учитель заставляет всех учеников зубрить что-нибудь вслух. И этого однообразного шума не нарушают ни смех дам, ни стук входной стеклянной двери, ни беготня мальчиков.

Посреди магазина стоит Поленька, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной мастерской, маленькая, худошавая блондинка, и ищет кого-то глазами. К ней подбегает чернобровый мальчик и спрашивает, глядя на нее очень серьезно:

— Что прикажете, сударыня?

— Со мной всегда Николай Тимофеич занимается,— отвечает Поленька.

А приказчик Николай Тимофеич, стройный брюнет, завитой, одетый по моде, с большой булавкой на галстук, уже расчистил место на прилавке, вытянул шею и с улыбкой глядит на Поленьку.

— Пелагея Сергеевна, мое почтение! — кричит он хорошо, здоровым баритоном.— Пожалуйста!

— А, здрасте! — говорит Поленька, подходя к нему.— Видите, я опять к вам. Дайте мне аграманту какого-нибудь.

— Для чего вам, собственно?

— Для лифчика, для спинки, одним словом на весь гарнитурчик.

— Сию минуту.

Николай Тимофеич кладет перед Поленькой несколько сортов аграманта; та лениво выбирает и начинает торговаться.

— Помилуйте, рубль вовсе не дорого! — убеждает приказчик, снисходительно улыбаясь.— Это аграмант французский, восьмигранный... Извольте, у нас есть обыкновенный, весовой... Тот сорок пять копеек аршин, это уж не то достоинство! Помилуйте-с!

— Мне еще нужен стеклярусный бок с аграмантными пуговицами,— говорит Поленька, нагибаясь над аграмантом, и почему-то вздыхает.— А не найдутся ли у вас под этот цвет стеклярусные бонбошки?

— Есть-с.

Поленька еще ниже нагибается к прилавку и тихо спрашивает:

— А зачем это вы, Николай Тимофеич, в четверг ушли от нас так рано?

— Гм!.. Странно, что вы это заметили,— говорит приказчик с усмешкой.— Вы так были увлечены господином студентом, что... странно, как это вы заметили!

Поленька вспыхивает и молчит. Приказчик с нервной дрожью в пальцах закрывает коробки и без всякой надобности ставит их одна на другую. Проходит минута в молчании.

— Мне еще стеклярусных кружев,— говорит Поленька, поднимая виноватые глаза на приказчика.

— Каких вам? Стежлярусные кружева по тюлю черные и цветные — самая модная отделка.

— А почем они у вас?

— Черные от восьмидесяти копеек, а цветные на два рубля пятьдесят копеек. А к вам я больше никогда не приду-с,— тихо добавляет Николай Тимофеич.

— Почему?

— Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. С какой стати мне себя мучить? Странное дело! Нешто мне приятно видеть, как этот студент около

вас разыгрывает роль-с? Ведь я все вижу и понимаю. С самой осени он за вами ухаживает по-настоящему и почти каждый день вы с ним гуляете, а когда он у вас в гостях сидит, так вы в него впившись глазами, словно в ангела какого-нибудь. Вы в него влюблены, для вас лучше и человека нет, как он, ну и отлично, нечего и разговаривать...

Поленька молчит и в замешательстве водит пальцем по прилавку.

— Я все отлично вижу,— продолжает приказчик.— Какой же мне резон к вам ходить? У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пятым колесом в возу быть. Чего вы спрашивали-то?

— Мне мамаша много кой-чего велела взять, да я забыла. Еще плюмажу нужно.

— Какого прикажете?

— Получше, какой модней.

— Самый модный теперь из птичьего пера. Цвет, ежели желаете, модный теперь гелиотроп или цвет канак, то есть бордо с желтым. Выбор громадный. А к чему вся эта история клонится, я решительно не понимаю. Вы вот влюбившись, а чем это кончится?

На лице Николая Тимофеича около глаз выступили красные пятна. Он мнет в руках нежную пушистую тесьму и продолжает бормотать:

— Воображаете за него замуж выйти, что ли? Ну, насчет этого — оставьте ваше воображение. Студентам запрещается жениться, да и разве он к вам затем ходит, чтобы все честным образом кончить? Как же! Ведь они, студенты эти самые, нас и за людей не считают... Ходят они к купцам да к модисткам только затем, чтоб над необразованностью посмеяться и пьянствовать. У себя дома да в хороших домах стыдно пить, ну, а у таких простых, необразованных людей, как мы, некого им стыдиться, можно и вверх ногами ходить. Да-с! Так какого же вы плюмажу возьмете? А ежели он за вами ухаживает и в любовь играет, то известно зачем... Когда станет доктором или адвокатом, будет вспоминать: «Эх, была у меня, скажет, когда-то блондиночка одна! Где-то она те-

перь?» Небось и теперь уж там, у себя, среди студентов, хвалится, что у него модисточка есть на примете.

Поленька садится на стул и задумчиво глядит на гору белых коробок.

— Нет, уж я не возьму плюмажу! — вздыхает она. — Пусть сама мамаша берет, какого хочет, а я ошибиться могу. Мне вы дайте шесть аршин бахромы для дипломата, что по сорок копеек аршин. Для того же дипломата дадите пуговиц кокосовых, с насквозь прошивными ушками... чтобы покрепче держались...

Николай Тимофеич заворачивает ей и бахромы и пуговиц. Она виновато глядит ему в лицо и, видимо, ждет, что он будет продолжать говорить, но он упрямо молчит и приводит в порядок плюмаж.

— Не забыть бы еще для капота пуговиц взять... — говорит она после некоторого молчания, утирая платком бледные губы.

— Каких вам?

— Для купчихи шьем, значит, дайте что-нибудь выдающееся из ряда обыкновенного...

— Да, если купчихе, то нужно выбирать попестрее. Вот-с пуговицы. Сочетание цветов синего, красного и модного золотистого. Самые глазастые. Кто поделикатнее, те берут у нас черные матовые с одним блестящим ободочком. Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете рассудить? Ну, к чему поведут эти... прогулки.

— Я сама не знаю... — шепчет Поленька и нагибается к пуговицам. — Я сама не знаю, Николай Тимофеич, что со мной делается.

За спиной Николая Тимофеича, прижав его к прилавку, протискивается солидный приказчик с бакенами и, сияя самую утонченную галантностью, кричит:

— Будьте любезны, мадам, пожаловать в это отделение! Кофточки джерсе имеются три номера: гладкая, сутажет и со стеклярусом! Какую вам прикажете?

Одновременно около Поленьки проходит толстая дама, которая говорит густым низким голосом, почти басом:

— Только, пожалуйста, чтоб они были без шпиков, а тканые и чтоб пломба была вваленная.

— Делайте вид, что товар осматриваете,— шепчет Николай Тимофеич, наклоняясь к Поленьке и насильно улыбаясь.— Вы, бог с вами, какая-то бледная и больная, совсем из лица изменились. Бросит он вас, Пелагея Сергеевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а с голода, на деньги ваши польстится. Сделает себе на приданое приличную обстановку, а потом стыдиться вас будет. От гостей и товарищей будет вас прятать, потому что вы необразованная, так и будет говорить: моя кувалда. Разве вы можете держать себя в докторском или адвокатском обществе? Вы для них модистка, невежественное существо!

— Николай Тимофеич! — кричит кто-то с другого конца магазина.— Вот мадемуазель просят три аршина ленты с нико! Есть у нас?

Николай Тимофеич поворачивается в сторону, осклабляет свое лицо и кричит:

— Есть-с! Есть ленты с нико, атаман с атласом и атлас с муаром!..

— Кстати, чтоб не забыть, Оля просила взять для нее корсет! — говорит Поленька.

— У вас на глазах... слезы! — пугается Николай Тимофеич...— Зачем это? Пойдемте к корсетам, я вас загорожу, а то неловко.

Насильно улыбаясь и с преувеличенную развязностью приказчик быстро ведет Поленьку к корсетному отделению и прячет ее от публики за высокую пирамиду из коробок...

— Вам какой прикажете корсет? — громко спрашивает он и тут же шепчет: — Утрите глаза!

— Мне... мне в сорок восемь сантиметров! Только, пожалуйста, она просила двойной с подкладкой... с настоящим китовым усом... Мне поговорить с вами нужно, Николай Тимофеич. Приходите нынче!

— О чем же говорить? Не о чем говорить.

— Вы один только... меня любите, и, кроме вас, не с кем мне поговорить.

— Не камыш, не кости, а настоящий китовый ус...

О чем же нам говорить? Говорить не о чем... Ведь пойдете с ним сегодня гулять?

— По... пойду.

— Ну, так о чем же тут говорить? Не поможешь разговорами... Влюблены ведь?

— Да...— шепчет нерешительно Поленька, и из глаз ее брызжут крупные слезы.

— Какие же могут быть разговоры? — бормочет Николай Тимофеич, нервно пожимая плечами и бледнея.— Никаких разговоров и не нужно... Утрите глаза, вот и все. Я... я ничего не желаю...

В это время к пирамиде из коробок подходит высокий тощий приказчик и говорит своей покупательнице:

— Не угодно ли, прекрасный эластик для подвязок, не останавливающий крови, признанный медициной...

Николай Тимофеич загораживает Поленьку и, стараясь скрыть ее и свое волнение, морщит лицо в улыбку и громко говорит:

— Есть два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше, торшон — это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре — это шелковые... Ради бога, утрите слезы! Сюда идут!

И видя, что слезы все еще текут, он продолжает еще громче:

— Испанские, рококо, сутажет, камбре... Чулки фельдекосовые, бумажные, шелковые...

Фабрикант Фролов, красивый брюнет с круглой бородкой и с мягким бархатным выражением глаз, и его поверенный адвокат Альмер, пожилой мужчина, с большой жесткой головой, кутили в одной из общих зал загородного ресторана. Оба они приехали в ресторан прямо с бала, а потому были во фраках и в белых галстуках. Кроме них и лакеев у дверей, в зале не было ни души; по приказанию Фролова никого не впускали.

Начали с того, что выпили по большой рюмке водки и закусили устрицами.

— Хорошо! — сказал Альмер. — Это, брат, я пустил в моду устрицами закусывать. От водки пожжет, подерет тебе в горле, а как проглотишь устрицу, в горле чувствуешь сладострастие. Не правда ли?

Солидный лакей с бритыми усами и с седыми бакенами поставил на стол соусник.

— Что это ты подаешь? — спросил Фролов.

— Соус провансаль для селедки-с...

— Что? Разве так подают? — крикнул фабрикант, не поглядев в соусник. — Разве это соус? Подавать не умеешь, болван!

Бархатные глаза Фролова вспыхнули. Он обмотал вокруг пальца угол скатерти, сделал легкое движение, и закуски, подсвечники, бутылки — все со звоном и с визгом загремело на пол.

Лакеи, давно уже привыкшие к кабацким катастрофам, подбежали к столу и серьезно, хладнокровно, как хирурги во время операции, стали подбирать осколки.

— Как это ты хорошо умеешь с ними,— сказал Альмер и засмеялся.— Но... отойди немножко от стола, а то в икру наступишь.

— Позвать сюда инженера! — крикнул Фролов.

Инженером назывался дряхлый, кислолицый старик, в самом деле бывший когда-то инженером и богатым человеком; он промотал все свое состояние и под конец жизни попал в ресторан, где управлял лакеями и певицами и исполнял разные поручения по части женского пола. Явившись на зов, он почтительно склонил голову набок.

— Послушай, любезный,— обратился к нему Фролов,— что это за беспорядки? Как они у тебя подаются? Разве ты не знаешь, что я этого не люблю? Черт вас подери, я перестану к вам ездить!

— Прошу великодушно извинить, Алексей Семечыч! — сказал инженер, прижимая руку к сердцу.— Я немедленно приму меры, и все ваши малейшие желания будут исполняемы самым лучшим и скорым образом.

— Ну, ладно, ступай...

Инженер поклонился, попятился назад, все в наклонном положении, и исчез за дверью, сверкнув в последний раз своими фальшивыми брильянгами на сорочке и пальцах.

Закусочный стол опять был накрыт. Альмер пил красное, с аппетитом ел какую-то птицу стрюфелями и заказал себе еще матлот из налимов и стерлядку кольчиком. Фролов пил одну водку и закусывал хлебом. Он мял ладонями лицо, хмурился, пыхтел и, видимо, был не в духе. Оба молчали. Было тихо. Два электрических фонаря в матовых колпаках мелькали и сипели, точно сердились. За дверями, тихо подпевая, проходили цыганки.

— Пьешь — и никакой веселости,— сказал Фролов.— Чем больше в себя вливаю, тем становлюсь трезвее. Другие веселеют от водки, а у меня злоба,

противные мысли, бессонница. Отчего это, брат, люди, кроме пьянства и беспутства, не придумают другого какого-нибудь удовольствия? Противно ведь!

— А ты цыганок позови.

— Ну их!

В дверях из коридора показалась голова старухи цыганки.

— Алексей Семеныч, цыгане просят чаю и коньяку,— сказала старуха.— Можно потребовать?

— Можно! — ответил Фролов.— Ты знаешь, ведь они с хозяина ресторана проценты берут за то, что требуют с гостей угощения. Нынче нельзя верить даже тому, кто на водку просит. Народ все низкий, подлый, избалованный. Взять хоть этих вот лакеев. Физиономии, как у профессоров, седые, по двести рублей в месяц добывают, своими домами живут, дочек в гимназиях обучают, но ты можешь ругаться и тон задавать, сколько угодно. Инженер за целковый слопаёт тебе банку горчицы и петухом пропоёт. Честное слово, если б хоть один обиделся, я бы ему тысячу рублей подарил!

— Что с тобой? — спросил Альмер, глядя на него с удивлением.— Откуда эта меланхолия? Ты красный, зверем смотришь... Что с тобой?

— Скверно. Штука одна в голове сидит. Засела гвоздем и ничем ее оттуда не выковыряешь.

В залу вошел маленький, кругленький, заплывший жиром старик, совсем лысый и облезлый, в кургузом пиджаке, в лиловой жилетке и с гитарой. Он соорудил идиотское лицо и вытянулся, сделав под козырек, как солдат.

— А, паразит! — сказал Фролов.— Вот рекомендую: состояние нажил тем, что свиньей хрюкал. Подойди-ка сюда!

Фабрикант налил в стакан водки, вина, коньяку, насыпал соли и перцу, смешал все это и подал паразиту. Тот выпил и ухарски крякнул.

— Он привык бурду пить, так что его от чистого вина мутит,— сказал Фролов.— Ну, паразит, садись и пей.

Паразит сел, потрогал жирными пальцами струны и запел:

Нитка-нитка, Маргаритка...

Выпив шампанского, Фролов опьянел. Он стукнул кулаком по столу и сказал:

— Да, штука в голове сидит! Ни на минуту покоя не дает!

— Да в чем дело?

— Не могу сказать. Секрет. Это у меня такая тайна, которую я только в молитвах могу говорить. Впрочем, если хочешь, по-дружески, между нами... только ты смотри, никому — ни-ни-ни... Я тебе выскажу, мне легче станет, но ты... ради бога, выслушай и забудь...

Фролов нагнулся к Альмеру и полминуты дышал ему в ухо.

— Жену свою ненавижу! — проговорил он.

Адвокат поглядел на него с удивлением.

— Да, да, жену свою, Марью Михайловну, — забормотал Фролов краснея. — Ненавижу, и все тут.

— За что же?

— Сам не понимаю! Женат только два года, женился, сам знаешь, по любви, а теперь ненавижу ее уже как врага постылого, как этого самого, извини, паразита. И причин ведь нет, никаких причин! Когда она около меня сидит, ест или если говорит что, то вся душа моя кипит, сдержать себя едва могу, чтобы не сгубить ей. Просто такое делается, что и сказать нельзя. Уйти от нее или сказать ей правду никак невозможно, потому что скандал, а жить с ней для меня хуже ада. Не могу сидеть дома! Так, днем все по делам да по ресторанам, а ночью по вертепам путаюсь. Ну, чем эту ненависть объяснишь? Ведь не какая-нибудь, а красавица, умная, тихая.

Паразит топнул ногой и запел:

С офицером я ходила,

С ним секреты говорила...

— Признаться, мне всегда казалось, что Марья Михайловна тебе совсем не пара, — сказал Альмер после некоторого молчания и вздохнул.

— Скажешь, образованная? Послушай... Сам я в коммерческом с золотой медалью кончил, раза три в Париже был. Я не умнее тебя, конечно, но не глупее жены. Нет, брат, не в образовании загвоздка! Ты послушай, с чего началась-то вся эта музыка. Началось с того, что стало мне вдруг казаться, что вышла она не по любви, а ради богатства. Засела мне эта мысль в башку. Уж я и так и этак — сидит проклятая! А тут еще жену жадность одолела. После бедности-то попала она в золотой мешок и давай сорить направо и налево. Ошалела, забылась до такой степени, что каждый месяц по двадцати тысяч раскидывала. А я мнительный человек. Никому я не верю, всех подозреваю, и чем ты ласковей со мной, тем мне мучительнее. Все мне кажется, что мне льстят из-за денег. Никому не верю! Тяжелый я, брат, человек, очень тяжелый!

Фролов выпил залпом стакан вина и продолжал.

— Впрочем, все это чепуха,— сказал он.— Об этом никогда не следует говорить. Глупо. Я спяна проболтался, а ты на меня теперь адвокатскими глазами глядишь — рад, что чужую тайну узнал. Ну, ну... оставим этот разговор. Будем пить! Послушай,— обратился он к лакею,— у вас Мустафа? Позови его сюда!

Немного погодя в залу вошел маленький татарчонок, лет двенадцати, во фраке и в белых перчатках.

— Поди сюда! — сказал ему Фролов.— Объясняй нам следующий факт. Было время, когда вы, татары, владели нами и брали с нас дань, а теперь вы у русских в лакеях служите и халаты продаете. Чем объяснить такую перемену?

Мустафа поднял вверх брови и сказал тонким голосом, нараспев:

— Превратность судьбы!

Альмер поглядел на его серьезное лицо и покатился со смеха.

— Ну, дай ему рубль! — сказал Фролов.— Этой превратностью судьбы он капитал наживает. Только из-за этих двух слов его и держат тут. Выпей, Мустафа! Бо-ольшой из тебя подлец выйдет! То есть



К рассказу «Поленька».
Художники Кукрыниксы. 1941.

страсть сколько вашего брата, паразитов, около богатого человека трется. Сколько вас мирных разбойников и грабителей развелось — ни проехать, ни пройти! Нешто еще цыган позвать? А? Вали сюда цыган!

Цыгане, давно уже томившиеся в коридорах, сгибанием ворвались в залу, и начался дикий разгул.

— Пейте! — кричал им Фролов. — Пей, фараоново племя! Пойте! И-и-их!

Зимнею порою... и-и-х!.. саночки летели...

Цыгане пели, свистали, плясали... В испуге, которое иногда овладевает очень богатыми, избалованными «широкими натурами», Фролов стал дурить. Он велел подать цыганам ужин и шампанского, разбил матовый колпак у фонаря, швырял бутылками в картины и зеркала, и все это, видимо, без всякого удовольствия, хмурясь и раздраженно прикрикивая, с презрением к людям, с выражением ненавистничества в глазах и в манерах. Он заставлял инженера петь solo, поил басов смесью вина, водки и масла...

В шесть часов ему подали счет.

— Девятьсот двадцать пять рублей сорок копеек! — сказал Альмер и пожал плечами. — За что это? Нет, постой, надо проверить!

— Оставь! — забормотал Фролов, вытаскивая бумажник. — Ну... пусть грабят... На то я и богатый, чтоб меня грабили... Без паразитов... нельзя... Ты у меня поверенный... шесть тысяч в год берешь, а... а за что? Впрочем, извини... я сам не знаю, что говорю.

Возвращаясь с Альмером домой, Фролов бормотал:

— Ехать домой мне — это ужасно! Да... Нет у меня человека, которому я мог бы душу свою открыть... Все грабители... предатели... Ну, зачем я тебе свою тайну рассказал? За... зачем? Скажи: зачем?

У подъезда своего дома он потянулся к Альмеру и, пошатываясь, поцеловал его в губы по старой московской привычке — целоваться без разбора, при всяком случае.

— Прощай... Тяжелый, скверный я человек,— сказал он.— Нехорошая, пьяная, бесстыдная жизнь. Ты образованный, умный человек, а только усмеешься и пьешь со мной, ни... никакой помощи от всех вас... А ты бы, если ты мне друг, если ты честный человек, по-настоящему должен был бы сказать: «Эх, подлый, скверный ты человек! Гадина ты!»

— Ну, ну...— забормотал Альмер.— Иди спать.

— Никакой помощи от вас. Только и надежды, что вот, когда летом буду на даче, выйду в поле, а надвинет гроза, ударит гром и разразит меня на месте... Про... прощай...

Фролов еще раз поцеловался с Альмером и, засыпая на ходу, бормоча, поддерживаемый двумя лакеями, стал подниматься по лестнице.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин ровно в два часа ночи. Чтобы не разбудить своих, он осторожно разделся в передней, на цыпочках, чуть дыша, пробрался к себе в спальню и, не зажигая огня, стал готовиться ко сну.

Стрижин ведет жизнь трезвую и регулярную, выражение лица у него душеспасительное, книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что Любовь Спиридоновна благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки подобны морской воде или славе: чем больше пьешь, тем сильнее жаждешь... И теперь, раздеваясь, Стрижин чувствовал непреодолимое желание выпить.

«У Дашеньки, кажется, есть водка в шкапу, в правом углу,— думал он.— Если я выпью одну рюмку, то она не заметит».

После некоторого колебания, пересилив свой страх, Стрижин направился к шкафу. Отворив осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, поставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло нечто вроде

чуда. Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкафа к сундуку. В глазах его за- сверкало, дыхание сперло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото, полное пивок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулочок... Голова, руки, ноги — все оторвалось и полетело куда-то к черту, в пространство...

Минуты три он лежал на сундуке неподвижно, не дыша, потом поднялся и спросил себя:

— Где я?

Первое, что он ясно ощутил, придя в себя, это был резкий запах керосина.

— Батюшки мои, это я вместо водки керосину выпил! — ужаснулся он. — Святители угодники!

От мысли, что он отравился, его бросило и в холод и в жар. Что яд был действительно принят, свидетельствовали, кроме запаха в комнате, жжение во рту, искры в глазах, звон колоколов в голове и колотье в желудке. Чувствуя приближение смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, он пожелал проститься с близкими и отправился в спальню Дашеньки. (Будучи вдовым, он у себя в квартире держал вместо хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую деву.)

— Дашенька! — сказал он плачущим голосом, входя в спальню. — Дорогая Дашенька!

Что-то заворчалось в потемках и испустило глубокий вздох.

— Дашенька!

— А? Что? — быстро заговорил женский голос. — Это вы, Петр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как называли девочку? Кто был кумой?

— Кумой была Наталья Андреевна Великосветская, а кумом — Павел Иванович Бессонницын... Я... я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную называли Олимпиадой в честь ихней благодетельницы... Я... я, Дашенька, выпил керосину...

— Вот еще! Нешто там подавали керосин?

— Признаться, я хотел, не спросясь вас, водки

выпить, и... и бог наказал: по нечаянности я в потемках керосину выпил... Что мне делать?

Дашенька, услышав, что без ее разрешения отворили шкаф, оживилась... Она быстро зажгла свечку, прыгнула с постели и в одной сорочке, весноватая, костлявая, в папильотках, зашлепала босыми ногами к шкафу.

— Кто же это вам позволил? — спросила она строго, оглядывая внутренность шкафа.— Нешто водка для вас поставлена?

— Я... я, Дашенька, пил не водку, а керосин... — пробормотал Стрижин, отирая холодный пот.

— А зачем вам керосин трогать? Разве это ваше дело? Для вас он поставлен? Или, по-вашему, керосин денег не стоит? А? Да вы знаете, почему теперь керосин? Знаете?

— Дорогая Дашенька! — простонал Стрижин.— Вопрос идет о жизни и смерти, а вы о деньгах!

— Напился пьяный и в шкаф сует свой нос! — крикнула Дашенька, сердито хлопнув дверцей.— О, изверги, мучители! Страдалица я, несчастная, ни днем, ни ночью покою! Аспиды-василиски, ироды окаянные, чтоб вам на том свете так жилось! Завтра же съезжаю! Я девица и не позволю вам стоять передо мною в одном нижнем белье! Вы не смеете глядеть на меня, когда я не одета!

И пошла и пошла... Зная, что рассерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой из пушек, Стрижин махнул рукой, оделся и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен. Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарьянцу и семь раз к доктору Бултыхину, Стрижин побежал в аптеку: авось поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания, к нему вышел маленький, чернявый и кудрявый фармацевт, заспанный, в халате и с таким серьезным и умным лицом, что даже стало страшно.

— Вам что угодно? — спросил он тоном, каким могут говорить только очень умные и солидные фармацевты иудейского вероисповедания.

— Ради бога... прошу вас! — проговорил Стрижин задыхаясь.— Дайте мне чего-нибудь... Я сейчас по нечаянности керосину выпил! Умираю!

— Прошу вас не волноваться и отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Уже один тот факт, что вы волнуетесь, не позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину? Да-а?

— Да, керосину! Спасите, пожалуйста!

Фармацевт хладнокровно и серьезно подошел к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, состроил презрительную гримасу и, подумав, вышел в смежную комнату. Часы пробили четыре. И, когда они показывали десять минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение.

— Гм! — сказал он, как бы недоумевая.— Уже один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтоб вы обратились не в аптеку, а к врачу.

— Но я уже был у докторов! Не дозвонился!

— Гм... Вы нас, фармацевтов, не считаете за людей и беспокоите даже в четыре часа ночи, а каждая собаке, каждый кошке имеет покой... Вы ничего не желаете понимать, и, по-вашему, мы не люди и в нас нервы должен быть, как веровка.

Стрижин выслушал фармацевта, вздохнул и пошел домой.

«Стало быть, суждено умереть!» — думал он.

А во рту у него горело и пахло керосином, в желудке резало, в ушах раздавалось: бум, бум, бум! Каждую минуту ему казалось, что конец его уже близок, что сердце его уже не бьется...

Придя домой, он поспешил написать: «Прошу в моей смерти никого не винить», потом помолился богу, лег и укрылся с головой. До утра он не спал и ждал смерти, и все время ему мерещилось, как его могила покрывается молодой зеленью и как над нею щебечут птички...

А утром он сидел на кровати и, улыбаясь, говорил Дашеньке:

— Кто ведет правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отравка не возьмет. Вот хоть бы меня взять в пример. Был я на краю гибели, умирал, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и в глотке саднит, а все тело здорово, слава богу... А отчего? Потому что регулярная жизнь.

— Нет, это значит — керосин плохой! — вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку.— Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Страдалица я, несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды окаянные...

И пошла и пошла...

ВЕРОЧКА

Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломе́нная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой — толстую суковатую палку.

За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой.

— Прощайте, старче! — крикнул ему Огнев.

Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.

— Прощайте и еще раз спасибо, голубчик! — сказал Иван Алексеич. — Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные... Такая великолепная публика, что и сказать не умею!

От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганьем глаз и по-

дергиваньем плеч. Кузнецов, тоже подвыпивший и рас-
троганный, потянулся к молодому человеку и поцело-
вался с ним.

— Привык я к вам, как легавый! — продолжал
Огнев. — Почти каждый день к вам шлялся, раз десять
ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоми-
нать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Пет-
рович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас
я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так
и напишу в предисловии: считаю долгом выразить мою
благодарность председателю N-ской уездной земской
управы Кузнецову за его любезное содействие. У ста-
тистики блестящая будущность! Вере Гавриловне ни-
жайший поклон, а докторам, обоим следователям и
вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их
помощи! А теперь, старче, обьемем друг друга и сотво-
рим последнее лобзание.

Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стари-
ком и стал спускаться вниз. На последней ступени он
оглянулся и спросил:

— Увидимся еще когда-нибудь?

— Бог знает! — ответил старик. — Вероятно, ни-
когда!

— Да, правда! В Питер вас и калачом не зама-
нишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд.
Ну, прощайте!

— Вы бы книги тут оставили! — крикнул ему вслед
Кузнецов. — Что вам за охота тащить такую тяжесть?
Я вам завтра их с человеком прислал бы.

Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от
дома. На душе его, подогретой вином, было и весело,
и тепло, и грустно... Он шел и думал о том, как часто
приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и
как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше,
кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте
мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-
восторженный крик, а через минуту, с какою жадно-
стью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точ-
ки, не услышишь ни звука — так точно люди с их ли-
цами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем
прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтож-

ных следов памяти. Живя с самой весны в N-ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней; но выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоминание и утеряет для него навсегда свое реальное значение, а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.

«В жизни ничего нет дороже людей! — думал расстроженный Огнев, шагая по аллее к калитке.— Ничего!»

В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, ключья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма.

Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.

— Вера Гавриловна! — обрадовался он.— Вы тут? А я искал-искал, хотел проститься... Прощайте, я ухожу!

— Так рано? Ведь еще одиннадцать часов.

— Нет, пора! Идти пять верст, да еще укладывать... Завтра рано вставать...

Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка двадцати одного года, по обыкновению груст-

ная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво все, что попадаетея им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободною ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных.

Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.

— Уезжаю! — говорил он, прощаясь с нею около калитки. — Не поминайте лихом! Спасибо за все!

Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие.

— О вас писал я матери в каждом письме, — говорил он. — Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масленая. У вас вся публика великолепная! Народ все простой, сердечный, искренний.

— Вы теперь куда едете? — спросила Вера.

— Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там — в Питер на работу.

— А потом?

— Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите сто лет... не поминайте лихом. Больше не увидимся.

Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал:

— Туману-то сколько навалило!

— Да. Вы у нас ничего не забыли?

— Что же? Кажется, ничего...

Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.

— Постойте, я вас до нашего леса провожу,— сказала Вера, выходя за ним.

Они пошли по дороге. Теперь уже деревья не заслоняли простора и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.

«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провозжать назад!» — подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:

— Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете двадцать девять лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с рандеву, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!

— Отчего же вы так?

— Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще у меня мало знакомых, и я нигде не бываю.

Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже коростель... Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко... Стал он припоминать вслух о том, с какою неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда в N-ский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко N., он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за двугривенный в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедленно пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

— Господи, — удивлялся тогда Огнев, — неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?

Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот странно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился,

заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки... Вечером того же дня Иван Алексеич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочется спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах...

Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку, припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются:

— Черт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!

— А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? — говорил Иван Алексеич Вере, подходя с нею к лесу. — Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, сколько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота! Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.

В двадцати шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке.

— Ну, вот и мостик! — сказал Огнев. — Тут вам порачивать назад...

Вера остановилась и перевела дух.

— Давайте посидим, — сказала она, садясь на один из столбиков. — Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.

Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.

— И вдруг лет через десять мы встретимся, — говорил он. — Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников. Встретимся и вспомянем старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь... Послушайте, вы изменитесь?

Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом.

— Что? — спросила она.

— Я вас спрашивал сейчас...

— Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два... Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое...

— Вам, кажется, холодно, — сказал Огнев. — Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас нах гауз¹.

Вера молчала.

¹ домой (от нем. nach Hause).

— Что с вами? — улыбнулся Иван Алексеич. — Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь? А?

Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.

— Ужасное положение... — прошептала она с выражением сильной боли на лице. — Ужасное!

— Чем оно ужасное? — спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. — В чем дело?

Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала:

— Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич...

— Я слушаю.

— Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне все равно...

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.

— Вот что... — начала Верочка, наклоня голову и теребя пальцами шарик платка. — Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется странным и... глупым, а я... я больше не могу.

Речь Веры перешла в неясное бормотанье и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеич смущенно крикнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.

— Ну, вот еще! — забормотал он растерянно. — Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею помочь...

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

— Я... я люблю вас!

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг.

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.

«Что же это такое? — ужаснулся он про себя. — Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!»

А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его кастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятливы только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми умными глазами. своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, летом она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья; его даже пустые шуточки заставляли ее хохотать, в каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев.

И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление,

что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его.

В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки...

Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним, хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски...

— Я не могу здесь оставаться! — сказала она, ломая руки. — Мне опостытели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются... А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой...

И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал:

— Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны... одинаково любят...

Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, сумела про-

честь на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой.

— Вы извините меня,— пробормотал Огнев, не вынося молчания.— Я вас настолько уважаю, что... мне больно!

Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.

— Нет, не надо! — сказала Вера, махнув ему кистью руки.— Не идите, я сама дойду...

— Нет, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорил Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало его души.

«Ах, да нельзя же насильно полюбить! — убеждал он себя и в то же время думал: — Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под тридцать! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в тридцать лет!»

Вера шла впереди него все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах...

«Воображаю, что творится теперь у нее на душе! — думал он, глядя ей в спину.— Небось и стыдно и больно до того, что умирать хочется! Господи, сколько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!»

У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее.

Иван Алексеич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что

девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви и что он так неуклюже и топорно «отказал» ей! Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания.

У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся.

Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренне сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни.

С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных, густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное.

И помнит Иван Алексеич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагал к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое существо, видевшее, как он два раза прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада.

Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску.

— Шляешься по ночам...— ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской, сорочке, отворяя ему ворота.— Чем шляться-то, лучше бы богу молился.

Войдя к себе в комнату, Иван Алексеич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь, потом встряхнул головой и стал укладываться..

НАКАНУНЕ ПОСТА

— Павел Васильич! — будит Пелагея Ивановна своего мужа.— А Павел Васильич! Ты бы пошел по-занимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:

— Сейчас, душенька!

Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину и жмурится. Тишина... Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.

— Просили тебя нюхать! — сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой.— Свинья ты после этого, а не кошка...

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка и охватив их руками, он качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

— Учишься? — спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая.— Так, братец ты мой...

Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухо-ядение, покаяние и на работу пожалуйте. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

— Да ты что там над ребенком смеешься? — кричит из другой комнаты Пелагея Ивановна. — Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

— Ты чего не понимаешь? — спрашивает Павел Васильич у Степы.

— Да вот... деление дробей! — сердито отвечает тот. — Деление дроби на дробь...

— Гм... чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и все... Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй, и это будет числителем частного... Ну-с, засим знаменатель первой дроби...

— Я это и без вас знаю! — перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую скорлупу. — Вы покажите мне доказательство!

— Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на дружку... Самовар поставили?

— Не знаю.

— Пора уж чай пить... Восьмой час... Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?

— Семь шестнадцатых.

— Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы... что, стало быть, если мы делили на два, то... Постой, я сам запутался. Помню, у нас в гимназии учителем арифметики был Сигизмунд Урбаныч, из поляков. Так тот, бывало, каждый урок путался. Начнет теорему доказывать, спутается и побагровеет весь и по классу забегает, точно его шилом кто-нибудь в спину, потом раз пять высморкается и начнет плакать. Но мы,

знаешь, великодушны были, делали вид, что не замечаем. «Что с вами, спрашиваем, Сигизмунд Урбаныч? У вас зубы болят?» И скажи, пожалуйста, весь класс из разбойников состоял, из сорвиголов, но, понимаешь ты, великодушны были! Таких маленьких, как ты, в мое время не было, а всё верзилы, этакие балбесы, один другого выше. К примеру сказать, у нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом, идет — пол дрожит, хватит кулачищем по спине — дух вон! Не то, что мы, даже учителя его боялись. Так вот этот самый Мамахин, бывало...

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павел Васильевич мигает на дверь и шепчет:

— Мать идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, — возвышает он голос, — эту дробь надо помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом...

— Идите чай пить! — кричит Пелагея Ивановна.

Павел Васильич и его сын бросают арифметику и идут пить чай. А в столовой уже сидит Пелагея Ивановна, и с ней тетенька, которая всегда молчит, и другая тетенька, глухонемая, и бабушка Марковна — повитуха, принимающая Степу. Самовар шипит и пускает пар, от которого на потолке ложатся большие волнистые тени. Из передней, задрав вверх хвосты, входят кошки, заспанные, меланхолические...

— Пей, Марковна, с вареньем, — обращается Пелагея Ивановна к повитухе, — завтра пост великий, наедайся сегодня!

Марковна набирает полную ложечку варенья, нерешительно, словно порох, подносит ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ест; тотчас же ее лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, как само варенье.

— Варенье очень даже отличное, — говорит она. — Вы, матушка Пелагея Ивановна, сами изволили варить?

— Сама. Кому же другому? Я все сама. Степочка, я тебе не жидко чай налила? Ах, ты уже выпил! Давай, ангелочек мой, я тебе еще налью.

— Так вот этот самый Мамахин, братец ты мой,— продолжает Павел Васильич, поворачиваясь к Степе,— терпеть не мог учителя французского языка. «Я, кричит, дворянин и не позволю, чтоб француз надо мною старшим был! Мы, кричит, в двенадцатом году французов били!» Ну, его, конечно, пороли... си-ильно пороли! А он, бывало, как заметит, что его пороть хотят, прыг в окно и был таков! Этак дней пять-шесть потом в гимназию не показывается. Мать приходит к директору, молит Христом-богом: «Господин директор, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посеките его, подлеца!» А директор ей: «Помилуйте, сударыня, у нас с ним пять швейцаров не справятся!»

— Господи, уродятся же такие разбойники! — шепчет Пелагея Ивановна, с ужасом глядя на мужа.— Каково-то бедной матери!

Наступает молчание. Степа громко зевает и рассматривает на чайнице китайца, которого он видел уж тысячу раз. Обе тетеньки и Марковна осторожно хлебуют из блюдец. В воздухе тишина и духота от печки... На лицах и в движениях лень, пресыщение, когда желудки доверху полны, а есть все-таки нужно. Убираются самовар, чашки и скатерть, а семья все сидит за столом... Пелагея Ивановна то и дело вскакивает и с выражением ужаса на лице убегает в кухню, чтобы поговорить там с кухаркой насчет ужина. Обе тетеньки сидят в прежних позах, неподвижно, сложив ручки на груди, и дремлют, поглядывая своими оловянными глазками на лампу. Марковна каждую минуту икает и спрашивает:

— Отчего это я икаю? Кажется, и не кушала ничего такого... и словно бы не пила... Ик!

Павел Васильич и Степа сидят рядом, касаясь друг друга головами, и, нагнувшись к столу, рассматривают «Ниву» 1878 года.

— «Памятник Леонардо-де-Винчи перед галереей Виктора Эмануила в Милане». Ишь ты... Вроде как бы триумфальные ворота... Кавалер с дамой... А там вдали человечки...

— Этот человечек похож на нашего гимназиста Нискубина,— говорит Степа.

— Перелистывай дальше... «Хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп». Вот так хоботок! Ай да муха! Что же, брат, будет, ежели клопа под микроскопом поглядеть! Вот гадость!

Старинные часы в зале сипло, точно простуженные, не бьют, а кашляют ровно десять раз. В столовую входит кухарка Анна и — бух хозяину в ноги!

— Простите Христа ради, Павел Васильич! — говорит она, поднимаясь вся красная.

— Прости и ты меня Христа ради, — отвечает Павел Васильич равнодушно.

Анна тем же порядком подходит к остальным членам семьи, бухает в ноги и просит прощенья. Минует она одну только Марковну, которую, как неблагородную, считает недостойной поклонения.

Проходит еще полчаса в тишине и спокойствии... «Нива» лежит уже на диване, и Павел Васильич, подняв вверх палец, читает наизусть латинские стихи, которые он выучил когда-то в детстве. Степа глядит на его палец с обручальным кольцом, слушает непонятную речь и дремлет; трет кулаками глаза, а они у него еще больше слипаются.

— Пойду спать... — говорит он, потягиваясь и зевая.

— Что? Спать? — спрашивает Пелагея Ивановна. — А заговляться?

— Я не хочу.

— Да ты в своем уме? — пугается мамаша. — Как же можно не заговляться? Ведь во весь пост не дадут тебе скоромного!

Павел Васильич тоже пугается.

— Да, да, брат, — говорит он. — Семь недель мать не даст скоромного. Нельзя, надо заговориться.

— Ах, да мне спать хочется! — капризничает Степа.

— В таком случае накрывайте скорей на стол! — кричит встревоженно Павел Васильич. — Анна, что ты там, дура, сидишь? Иди поскорей накрывай на стол!

Пелагея Ивановна всплескивает руками и бежит в кухню с таким выражением, как будто в доме пожар.

— Скорей! Скорей! — слышится по всему дому.— Степочка спать хочет! Анна! Ах боже мой, что же это такое? Скорей!

Через пять минут стол уже накрыт. Кошки опять, задрав вверх хвосты, выгибая спины и потягиваясь, сходятся в столовую... Семья начинает ужинать. Есть никому не хочется, у всех желудки переполнены, но есть все-таки нужно.

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел пять месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек! За что? спрашиваю. «А он, говорит, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвейчу, надоумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать»... Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с флюсом.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте взглянуть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! пошла вон!» — да и все тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На мое-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть пятнадцать рублей! Я согласна не всё сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову.— Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам не доплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту,— заплакала Шукина.— Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Шукиной, но голос его оборвался...

— Нет, извините, я не могу с вами говорить,— сказал он и махнул рукой.— У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете и время понапрасну тратите. Уф!.. Алексей Николаич,— обратился он к одному из служащих,— объясните вы, пожалуйста, госпоже Шукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Шукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий взвизгивающий голос Шукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная,— говорила Шукина.— На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой.— Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажуужал сильный тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что...

— Ну, нечего, нечего... — обиделась старуха. — Своей жене постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Твоих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах навалаешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствии.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная, как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина.— Вот этот, вот самый... вот этот... (она указала на Алексея Николаича) постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу... Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмеяется! Я женщина слабая, беззащитная... Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня,— простонал Кистунов,— я разберу... приму меры... Уходите... после!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое... Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так...— согласилась она.— Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом.

— Двадцать четыре рубля тридцать шесть копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина забернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду... болен...— сказал Кистунов томным голосом.— У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по двадцать капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

НЕДОБРОЕ ДЕЛО

— Кто идет?

Ответа нет. Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, сблачная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью.

— Кто идет? — повторяет сторож, и ему начинает казаться, что он слышит и шепот и сдержанный смех.—Кто тут?

— Я, батюшка...—отвечает старческий голос.

— Да кто ты?

— Я... прохожий.

— Какой такой прохожий? — сердито кричит сторож, желая замаскировать криком свой страх.— Носит тебя здесь нелегкая! Таскаешься, леший, ночью по кладбищу!

— Нешто тут кладбище?

— А то что же? Стало быть, кладбище! Не видишь?

— О-хо-хо-хх... Царица небесная! — слышится старческий вздох.— Ничего не вижу, батюшка, ничего... Ишь темень-то какая, темень. Зги не видать, темень-то, батюшка! Ох-хо-хо-ххх...

— Да ты кто такой?

— Я странник, батюшка, странный человек.

— Черти этакие, полуношники... Странники тоже! Пьяницы...—бормочет сторож, успокоенный тоном и вздохами прохожего.— Согрешишь с вами! День-деньской пьют, а ночью носит их нелегкая. А словно как будто я слышал, что тут ты не один, а словно вас двое-трое.

— Один, батюшка, один. Как есть один... О-хо-хо-х, грехи наши...

Сторож натывается на человека и останавливается.

— Как же ты сюда попал? — спрашивает он.

— Заблудился, человек хороший, Шел на Митриевскую мельницу и заблудился.

— Эва! Нешто тут дорога на Митриевскую мельницу? Голова ты баранья! На Митриевскую мельницу надо идтить много левей, прямо из города по казенной дороге. Ты спяна-то лишних версты три сделал. Надо быть, нализался в городе?

— Был грех, батюшка, был... Истинно, был, не стану греха таить. А как же мне теперь-то идтить?

— А иди все прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упруешься, а там сейчас бери влево и иди, покуда все кладбище пройдешь, до самой калитки. Там калитка будет... Отопри и ступай с богом. Гляди, в ров не упади. А там за кладбищем иди все полем, полем, полем, пока не выйдешь на казенную дорогу.

— Дай бог здоровья, батюшка. Спаси, царица небесная, и помилуй. А то проводил бы, добрый человек! Будь милостив, проводи до калитки!

— Ну, есть мне время! Иди сам!

— Будь милостив, заставь бога молить. Не вижу ничего, не видать зги, ни синь-пороха, батюшка... Темень-то, темень! Проводи, сударик!

— Да, есть мне время провожаться! Ежели с каждым нянчиться, то этак не напровожаешься.

— Христа ради проводи. И не вижу и боюсь один кладбищем идтить. Жутко, батюшка, жутко, боюсь, жутко, добрый человек.

— Навязался ты на мою голову,— вздыхает сторож.— Ну ладно, пойдем!

Сторож и прохожий трогаются с места. Они идут рядом, плечо о плечо, и молчат. Сырой, пронзительный ветер бьет им прямо в лица, и невидимые деревья, шумя и потрескивая, сыплют на них крупные брызги. Аллея почти вплосную покрыта лужами.

— Одно мне невдомек,— говорит сторож после долгого молчания,— как ты сюда попал? Ведь ворота на замок закрыты. Через ограду перелез, что ли? Ежели через ограду, то старому человеку этакое занятие — последнее дело!

— Не знаю, батюшка, не знаю. Как сюда попал, и сам не знаю. Наваждение. Наказал господь. Истинно, наваждение, лукавый попутал. А ты, батюшка, стало быть, тут в сторожах?

— В сторожах.

— Один на все кладбище?

Напор ветра так силен, что оба на минуту останавливаются. Сторож, выждав, когда ослабеет порыв ветра, отвечает:

— Нас тут трое, да один в горячке лежит, а другой спит. Мы с ним чередуемся.

— Так, так, батюшка, так. Ветер-то, ветер какой! Чай, покойники слышат! Гудёт, словно зверь лютой... О-хо-хо-х...

— А ты сам откуда?

— Издалече, батюшка. Вологодский я, дальний. По святым местам хожу и за добрых людей молюсь. Спаси и помилуй, господи.

Сторож ненадолго останавливается, чтобы закутить трубку. Он приседает за спиной прохожего и сожигает несколько спичек. Свет первой спички, мелькнув, освещает на одно мгновение кусок аллеи справа, белый памятник с ангелом и темный крест; свет второй спички, сильно вспыхнувшей и потухшей от ветра, скользит, как молния, по левой стороне, и из потемок выделяется только угловая часть какой-то решетки; третья спичка освещает, и справа и слева, белый памятник, темный крест и решетку вокруг детской могилки.

— Спят покойнички, спят родимые! — бормочет прохожий, громко вздыхая. — Спят и богатые, и бед-

ные, и мудрые, и глупые, и добрые, и лютые. Всем им одна цена. И будут спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой.

— Теперь вот идем, а будет время, когда и сами лежать будем,— говорит сторож.

— Так, так. Все, все будем. Нет того человека, который не помрет. О-хо-хо-х. Дела наши лютые, помышления лукавые! Грехи, грехи! Душа моя окаянная, ненасытная, утроба чревоугодная! Прогневал господу, и не будет мне спасения ни на этом, ни на том свете. Завяз в грехи, как червяк в землю.

— Да, а умирать надо.

— То-то что надо.

— Страннику, чай, легче помирать, чем нашему брату...— говорит сторож.

— Странники разные бывают. Есть и настоящие, которые богоугодные, блюдут свою душу, а есть и такие, что по кладбищу ночью путаются, чертей тешат.. да-а! Иной, который странник, ежели пожелает, хватит тебя по башке топориком, а из тебя и дух вон.

— Зачем ты такие слова?

— А так... Ну вот, кажись, и калитка. Она и есть. Отвори-ка, любезный!

Сторож ощупью отворяет калитку, выводит странника за рукав и говорит:

— Тут и конец кладбищу. Теперь иди все полем и полем, покуда не упруешься в казенную дорогу. Только сейчас тут межевой ров будет, не упади... А выйдешь на дорогу, возьми вправо и так до самой мельницы...

— О-хо-хо-х-хх...— вздыхает странник, помолчав.— А я теперь так рассуждаю, что мне незачем на Митриевскую мельницу идтить... За каким лешим я туда пойду? Я лучше, сударик, здесь с тобой постою...

— Зачем тебе со мной стоять?

— А так... с тобой веселей...

— Тоже, нашел себе весельщика! Странник, ты, я вижу, любишь шутки шутить...

— Известно, люблю!— говорит прохожий, сипло хихикая.— Ах ты, милый мой, любезный! Чай, долго теперь будешь вспоминать странника!

— Зачем мне тебя вспоминать?

— Да так, обошел я тебя ловко... Нешто я странник? Я вовсе не странник.

— Кто же ты?

— Покойник... Из гроба только что встал... Помнишь слесаря Губарева, что на масляной завесился? Так вот я самый и есть Губарев...

— Ври больше!

Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый и холодный страх, что срывается с места и начинает быстро нащупывать калитку.

— Постой, куда ты? — говорит прохожий, хватая его за руку.— Э-э-э... ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь?

— Пусти! — кричит сторож, стараясь вырвать руку.

— Сто-ой! Велю стоять — и стой... Не рвись, пес поганый! Хочешь в живых быть, так стой и молчи, покуда велю... Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издох, паршивый... Стой!

У сторожа подгибаются колена. Он в страхе закрывает глаза и, дрожа всем телом, прижимается к ограде. Он хотел бы закричать, но знает, что его крик не долетит до жилья... Возле стоит прохожий и держит его за руку... Минуты три проходит в молчании.

— Один в горячке, другой спит, а третий странников провожает, — бормочет прохожий. — Хорошие сторожа, можно жалованье платить! Не-ет, брат, воры завсегда проворней сторожов были! Стой, стой, не шевелись...

Проходит в молчании пять, десять минут. Вдруг ветер доносит свист.

— Ну, теперь ступай, — говорит прохожий, отпуская руку. — Иди и бога моли, что жив остался.

Прохожий тоже свистит, отбегает от калитки, и слышно, как он прыгает через ров. Предчувствуя что-то очень недоброе и все еще дрожа от страха, сторож нерешительно отворяет калитку и, закрыв глаза, бежит назад. У поворота на большую аллею он слышит чьи-то торопливые шаги, и кто-то спрашивает его шипящим голосом:

— Это ты, Тимофей? А где Митька?

А пробежав всю большую аллею, он замечает в потемках маленький тусклый огонек. Чем ближе к огоньку, тем страшнее делается и тем сильнее предчувствие чего-то недоброго.

«Огонь, кажись, в церкви,— думает он.— Откуда ему быть там? Спаси и помилуй, владычица! Так оно и есть!»

Минуту сторож стоит перед выбитым окном и с ужасом глядит в алтарь... Маленькая восковая свечка, которую забыли потушить воры, мелькает от врывающегося в окно ветра и бросает тусклые красные пятна на разбросанные ризы, поваленный шкафчик, на многочисленные следы ног около престола и жертвенника...

Проходит еще немного времени, и воющий ветер разносит по кладбищу торопливые, неровные звуки набата...

ДОМА

— Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет дома. Почтальон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он, по обыкновению, заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос.

Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся.

— Сережа курит...— пожал он плечами.— Воображаю себе этого карапуза с папирсой! Да ему сколько лет?

— Семь лет. Вам кажется это несерьезным, но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале.

— Совершенно верно. А где он берет табак?

— У вас в столе.

— Да? В таком случае пришлите его ко мне.

По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной, аршинной папирсой, в облаках табачного дыма, и эта карикатура заставляла его

улыбаться; в то же время серьезное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспоминания о давно прошедшем, наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас. То был именно ужас. Ребят безжалостно пороли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один из педагогов и отцов не знал, в чем именно заключается вред и преступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, который так пугался, когда заставлял гимназиста с папироской, что бледнел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и приговаривал виновного к исключению. Уж таков, вероятно, закон общежития: чем непонятнее зло, тем ожесточеннее и грубее борются с ним.

Вспомнил прокурор двух-трех исключенных, их последующую жизнь и не мог не подумать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспособляться, привыкать и приноживаться к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность и как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, литературная...

И подобные мысли, легкие и расплывчатые, какие приходят только в утомленный, отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Петровича; являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении, такие вольные, домашние мысли составляют своего рода комфорт, приятное удобство.

Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще

выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа.

— Па-па приехал! — запел мальчик. — Папа приехал! Па! па! па!

— Votre père vous appelle, allez vite! ¹ — крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. — Вам говорят!

«Что же я ему, однако, скажу?» — подумал Евгений Петрович.

Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик семи лет. Это был человек, в котором только по одежде и можно было угадать его пол: тщедушный, белолицый, хрупкий... Он был вял телом, как парниковый овощ, и все у него казалось необыкновенно нежным и мягким: движения, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка.

— Здравствуй, папа! — сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. — Ты меня звал?

— Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньич, — ответил прокурор, отстраняя его от себя. — Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, и поговорить серьезно... Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец: я тебя не люблю, и ты мне не сын... Да.

Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами.

— Что же я тебе сделал? — спросил он в недоумении, моргая глазами. — Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал.

— Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь... Это правда? Ты куришь?

— Да, я раз курил... Это верно!..

¹ Отец вас зовет, идите скорее! (франц.)

— Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок,— сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку.— Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличен в трех нехороших поступках: куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины!

— Ах, да-а! — вспомнил Сережа, и глаза его улынулись.— Это верно, верно! Я два раз курил: сегодня и прежде.

— Вот видишь, значит не раз, а два раза... Я очень, очень тобой недоволен! Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим.

Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал: «Что же еще сказать ему?»

— Да, нехорошо,— продолжал он.— Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром, ежели же он берет чужое, то... он нехороший человек! («Не то я ему говорю!» — подумал Евгений Петрович.) Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

— Возьми, если хочешь! — сказал Сережа, подняв брови.— Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!

— Ты меня не понимаешь,— сказал Быковский.— Собачку ты мне подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней все, что хочу; но ведь табаку я не дарил тебе! Табак мой! («Не так я ему объясняю! — подумал прокурор.— Не то! Совсем не то!») Если мне хочется курить чужой табак, то я, прежде всего, должен попросить позволения...

Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал (он любил по вечерам бесе-

довать с отцом), потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гуммиарабиком.

— Папа, из чего делается клей? — вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.

Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал:

— Во-вторых, ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого еще не следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это не умно, браню и не люблю себя за это... («Хитрый я педагог!» — подумал прокурор.) Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до сегодня.

Сережа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и вздохнул.

— Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке! — сказал он. — Его скрипка теперь у Григорьевых!

Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или же следил за развитием собственных мыслей; печаль и что-то похожее на испуг показались в его больших немигающих глазах. Вероятно, он думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?

«Что я ему скажу? — думал Евгений Петрович. — Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих проступков, ни моих доводов. Как втолковать ему?»

Прокурор поднялся и заходил по кабинету.

«Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно просто, — размышлял он. — Всякого маль-

чугу, уличенного в курении, секли. Малодушные и трусы действительно бросали курить, кто же похрабрее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а курить в сарае. Когда его ловили в сарае и опять пороли, он уходил курить на реку... и так далее, до тех пор пока мальчик не вырос. Моя мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфетами. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно».

Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш.

— Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец,— сказал он, рисуя домик и двигая бровями.— Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню. Такая глупая! Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет... И как она может грязный палец брать в рот! Папа, ведь это неприлично!

Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку.

«У него свое течение мыслей! — думал прокурор.— У него в голове свой мирок и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал... Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?»

И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражняв-

шийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику.

— Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить,— сказал он.

— Че-естное слово! — запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку.— Че-естное сло-во! Во! во!

«А знает ли он, что значит честное слово? — спросил себя Быковский. — Нет, плохой я наставник! Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании... Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и усложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так и мои мысли не разбегались бы!..»

Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертухи; возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4.

— Человек не может быть выше дома,— сказал прокурор.— Погляди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней.

— Нет, папа! — сказал он, посмотрев на свой рисунок.— Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз.

Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов,

передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звук оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист — в виде спиральной нити... В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М — в красный, А — в черный и т. д.

Бросив рисунок, Сережа еще раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил ее, потом раздвоил и стал зачесывать ее в виде бакенов.

— Теперь ты похож на Ивана Степановича, — бормотал он, — а вот сейчас будешь похож... на нашего швейцара. Папа, зачем это швейцары стоят около дверей? Чтоб воров не пускать?

Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Сережиной куртки. Он заглядывал в большие темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо.

«Вот тут и пори его... — думал он. — Вот тут и изволь измышлять наказания. Нет, куда уж нам в воспитатели лезть. Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела... Чем развитее человек, чем больше он размышляет и вдается в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее и тем с большею робостью приступает к делу. В самом деле, если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу...»

Пробило десять часов.

— Ну, мальчик, спать пора, — сказал прокурор. — Прощайся и иди.

— Нет, папа, — поморщился Сережа, — я еще посижу. Расскажи мне что-нибудь! Расскажи сказку.

— Изволь, только после сказки — сейчас же спать.

В свободные вечера Евгений Петрович имел обык-

новение рассказывать Сереже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона «в некотором царстве, в некотором государстве», далее громоздил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец. Картины, лица и положения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой, помимо воли рассказчика. Сережа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

— Слушай,— начал он, поднимая глаза к потолку.— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь с длинной седой бородой и... и с такими усищами. Ну-с, жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы... Да... На деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий и нежный звук, чем металл... Ну-с, что же еще? В саду били фонтаны... Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан? Вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

— У старого царя был единственный сын и наследник царства — мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и... и вообще был умница. Один только был у него недостаток — он курил...

Сережа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал: «Что же

дальше?» Он долго, как говорится, размазывал да жевал и кончил так:

— От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было двадцать лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольников... Так-то, братец...

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза подернулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел задумчиво на темное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом:

— Не буду я больше курить...

Когда он простился и ушел спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался.

«Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма,— размышлял он,— пусть так, но это не утешительно. Все-таки это не настоящее средство... Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально... Фальсификация, обман... фокусы...»

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить «речь», публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...

«Лекарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь напустил на себя человек со времен Адама... Впрочем... быть может, все это естественно и так и быть должно... Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий...»

Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго еще бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа все еще шагал из угла в угол...

ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ

Иван Дмитрич, человек средний, проживающий с семьей тысячу двести рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету.

— Забыла я сегодня в газету поглядеть,— сказала его жена, убирая со стола.— Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?

— Да, есть,— ответил Иван Дмитрич.— А разве твой билет не пропал в залоге?

— Нет, я во вторник носила проценты.

— Какой номер?

— Серия девять тысяч четыреста девяносто девять, билет двадцать шесть.

— Так-с... Посмотрим-с... девять тысяч четыреста девяносто девять и двадцать шесть.

Иван Дмитрич не верил в лотерейное счастье и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать и — благо, газета была перед глазами — он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше как во второй строке сверху, резко бросилась в глаза цифра 9499! Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок; и щекотно, и страшно, и сладко!

— Маша, девять тысяч четыреста девяносто девять есть! — сказал он глухо.

Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит.

— Девять тысяч четыреста девяносто девять? — спросила она, бледнея и опуская на стол сложенную скатерть.

— Да, да... Серьезно есть!

— А номер билета?

— Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой... погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь...

Иван Дмитрич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастье — это так сладко, жутко!

— Наша серия есть, — сказал Иван Дмитрич после долгого молчания. — Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть!

— Ну, теперь взгляни.

— Постой. Еще успею разочароваться. Это во второй строке сверху, значит, выигрыш в семьдесят пять тысяч. Это не деньги, а сила, капитал! И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там — двадцать шесть! А? Послушай, а что, если мы в самом деле выиграли?

Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья оуманила их, они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 000, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75 000, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось.

Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать.

— А что, если мы выиграли? — сказал он. — Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой, но если

бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы тысяч за двадцать пять какую-нибудь недвижность вроде имения; тысяч десять на единовременные расходы: новая обстановка... путешествие, долги заплатить и прочее. Остальные сорок тысяч в банк под проценты...

— Да, имение — это хорошо, — сказала жена, садясь и опуская на колени руки.

— Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии... Во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход.

И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковей, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лед, крошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой... Жарко... Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос, или в лес за грибами, или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купанья чай со сливками и со сдобными кренделями... Вечером прогулка или винт с соседями.

— Да, хорошо бы купить имение, — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями.

Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и — выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку,

от которой пахнет свежей землей... А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте...

За бабьим летом следует хмурое. ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно!

Иван Дмитрич остановился и посмотрел на жену.

— Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы,— сказал он.

И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в южную Францию, Италию... Индию!

— Я тоже непременно бы за границу поехала,— сказала жена.— Ну, посмотри номер билета!

— Постой! Погоди...

Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль: а что, если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копеейкой. Иван Дмитрич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков; она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег; то и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой... Обедать она не может, потому что это дорого...

«А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала,— подумал он, взглянув на жену.— Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя... Знаю!»

И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь про-

пахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз.

«Конечно, все это пустяки и глупости,— думал он,— но... зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы... Воображаю... А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин — все едино. Только бы мне помешала. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по-бабьи под шесть замков... От меня будет прятать... Родне своей будет благодотворить, а меня в каждой копейке усчитает».

Вспомнил Иван Дмитрич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски кланяться, маслено улыбаются, лицемерить. Противные, жалкие люди! Если им дать, то они еще попросят; а отказать — будут клаять, сплетничать, желать всяких напастей.

Иван Дмитрич припоминал своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными.

«Это такие гадины!» — думал он.

И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злоба, и он со злорадством думал:

«Ничего не смылит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные — под замок».

И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения; она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу.

«На чужой-то счет хорошо мечтать! — говорил ее взгляд. — Нет, ты не смеешь!»

Муж понял ее взгляд; ненависть заворочалась у него в груди и, чтобы досадить своей жене, он на зло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством:

— Серия девять тысяч четыреста девяносто девять, билет сорок шесть! Но не двадцать шесть!

Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны...

— Черт знает что,— сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать.— Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах! Придется из дому уходить, черт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине.

В селе Шальнове звонят к заутрене. Солнце на горизонте уже целуется с землей, побагровело и скоро спрячется. В кабаке Семена, переименованном недавно в трактир — титул, совсем не идущий избенке с ошипанной крышей и с парой тусклых окошек, — сидят двое охотников-мужиков. Одного из них зовут Филимоном Слюнкой. Это старик лет шестидесяти, бывший дворовый графов Завалиных, по профессии слесарь, служивший когда-то на гвоздильной фабрике, прогнанный за пьянство и лень и ныне живущий на иждивении своей жены-старухи, просящей милостыню. Он тощ, хил, с облезлой бороденкой, говорит с присвистом и после каждого слова моргает правой стороной лица и судорожно подергивает правым плечом. Другой, Игнат Рябов, здоровенный, плечистый мужик, никогда ничего не делающий и вечно молчащий, сидит в углу под большой вязкой баранок. Дверь, открытая во внутрь, бросает на него густую тень, так что Слюнке и кабатчику Семену видны только его латаные колени, длинный мясистый нос и большой чуб, выбившийся на волю из густой нечесаной путаницы, покрывающей его голову. Семен, маленький, болезненный человечек с длинной жилистой шеей и с бледным лицом, стоит за прилавком, печально смотрит на вязку баранок и смиренно покашливает.

— Ты таперича рассуди в своей голове, ежели в

тебе есть ум,— говорит ему Слюнка, моргая щекой.— Вещь лежит у тебя без всякого действия, и нет тебе никакой пользы, а нам она надобна. Охотник без ружья все равно, что пономарь без голоса. Это понимать надо в уме, а ты вот, вижу, не понимаешь, стало быть в тебе настоящего ума-то и нету... Отдай!

— Ведь ты же заложил у меня ружье! — говорит тоненьким, бабьим голоском Семен, глубоко вздыхая и не отрывая глаз от вязки баранок.— Отдай рубль, что взял, тогда и бери ружье.

— Нету у меня рубля. Я тебе, Семен Митрич, как перед богом: дай ты мне ружье, похожу пынче с Игнашкой и опять тебе его принесу. Накажи меня бог, принесу. Ежели не принесу, чтобы мне ни на том, ни на этом свете счастья не было.

— Семен Митрич, дай! — говорит басом Игнат Рябов, и в голосе его слышится страстное желание получить просимое.

— Да зачем вам ружье? — вздыхает Семен, печально покачивая головой.— Какая теперь охота? На дворе еще зима и акроме ворон да галок никакой твари.

— Какая ж зима? Нешто это зима? — говорит Слюнка, выковыривая пальцем из трубки пепел.— Оно, конечно, рано еще, да ведь вальшнепа не угадешь. Вальшнеп такая птица, что его сторожить нужно. Неровен час, просидишь дома поджидаячи, аи перелет-то и прозевал, жди до осени... Такое дело! Вальшнеп не грач... В прошлом годе на страстной уж он летел, а в третьем годе до фоминой ждать пришлось. Нет, уж ты сделай милость, Семен Митрич, дай нам ружье! Заставь вечно бога молить. Словно на грех, и Игнашка свое ружье пропил. Эх, когда пьешь, не чувствуешь, а таперя... Эх, глядеть бы на нее, на водку проклятую, не хотел! Истинно, кровь сатанинская! Дай, Семен Митрич!

— Не дам! — говорит Семен, складывая на груди свои желтые ручки, как перед молитвой.— Надо по совести, Филимонушка... Из заклада вещь зря не берется, надо деньги платить... Да и то рассуди, к чему птицу бить? Зачем? Таперя пост, не станешь есть,

Слюнка конфузливо переглядывается с Рябовым, вздыхает и говорит:

— Нам бы только на тяге постоять.

— А зачем? Все глупости... Не такой ты комплекции, чтоб глупостями заниматься... Игнашка, так и быть уж, человек не понимающий, его бог обидел, а ты, слава тебе господи, старик, умирать пора. Вот ко всенощной бы шел.

Напоминание о старости, видимо, корбит Слюнку. Он крикает, морщит лоб и молчит целую минуту.

— Послушай ты меня, Семен Митрич! — говорит он горячо, поднимаясь и уже моргая не одной правой щекой, а всем лицом.— Истинно, как перед богом... разрази меня создатель, после святой получу от Степана Кузьмича за оси и отдам тебе не руб, а два! Накажи меня бог! Перед образом тебе говорю, только дай ты мне ружье!

— Да-ай! — говорит воющим басом Рябов; слышно, как теснится его дыхание, и чувствуется, что он хотел бы сказать многое, но не находит слов.— Да-ай!

— Нет, братцы, и не просите,— вздыхает Семен, печально покачивая головой.— Не вводите в грех. Не дам я вам ружья. Нет такой моды, чтобы вещь из залога вынимать и денег не платить. Да и к чему ба-ловство? Идите себе с богом!

Слюнка утирает рукавом вспотевшее лицо и начинает горячо клясться и просить. Он крестится, протягивает в образе руки, призывает в свидетели своих покойных отца и мать, но Семен по-прежнему смотрит смиренно на вязку баранок и вздыхает. В конце концов Игнашка Рябов, дотоле не двигавшийся, порывисто поднимается и бухает перед кабатчиком земной поклон, но и это не действует!

— Подавись же ты моим ружьем, сатана! — говорит Слюнка, моргая лицом и дергая плечами.— Подавись, холера, разбойницкая душа!

Бранясь и потрясая кулаками, он выходит с Рябовым из кабака и останавливается среди дороги.

— Не дал, проклятый! — говорит он плачущим голосом, обиженно глядя в лицо Рябова.

— Не дал! — басит Рябов.

Окошки крайних изб, скворечня на кабаке, верхушки тополей и церковный крест горят ярким золотым пламенем. Видна уже только половина солнца, которое, уходя на ночлег, мигает, переливает багрянцем и, кажется, радостно смеется. Слюнке и Рябову видно, как направо от солнца, в двух верстах от села темнеет лес, как по ясному небу бегут куда-то мелкие облачки, и они чувствуют, что вечер будет ясным, тихим.

— Самая пора таперя,— говорит Слюнка, моргнув лицом.— Хорошо бы постоять часок-другой. Не дал проклятый, чтоб ему...

— Ежели для тяги, то самое таперя и время...— выговаривает, заикаясь, как бы через силу, Рябов.

Постояв немного, они, ни слова не говоря друг другу, выходят из села и глядят на темную полосу леса. Все небо над лесом усеяно движущимися черными точками— это грачи летят на ночлег... Снег, кое-где белеющий на темно-бурой пашне, слегка золотится от солнца.

— В прошлом годе в эту пору я в Живках стоял,— говорит после долгого молчания Слюнка.— Трех вальшнепов принес.

Опять наступает молчание. Оба долго стоят и глядят на лес, потом лениво трогаются с места и идут от села по грязной дороге.

— Надо думать, вальшнепа еще не прилетали,— говорит Слюнка.— А может, уж и есть.

— Костька сказывал, что еще нету.

— Может, и нету... Кто их знает! Год в год не приходится. Одначе грязь!

— А постоять надо бы.

— Стало быть, надо! Отчего не постоять? Постоять можно. Оно бы не мешало пойти в лес поглядеть. Ежели есть, Костьке скажем, а то и сами, может, достанем ружье и завтра выйдем. Эка напасть, прости господи, надумил же меня нечистый ружье в кабак снести! Этакое горе, что и сказать тебе, Игнаша, не умею!

Беседуя таким образом, охотники подходят к лесу. Солнце уже село и оставило после себя красную, как

пожарное зарево, полосу, перерезанную кое-где облаками; цвет этих облаков не поймешь: края их красны, но сами они то серы, то лиловы, то пепельны. В лесу между густыми ветвями елей и под кустами березняка темно, и в воздухе ясно вырисовываются только крайние, обращенные к солнцу ветки с их пузатыми почками и лоснящейся корой. Пахнет тающим снегом и перегнивающими листьями. Тихо, ничто не шевелится. Издали доносится утихающий крик грачей.

— Теперь бы в Живках постоять,— шепчет Слюнка, с ужасом глядя на Рябова.— Там важная тяга.

Рябов тоже с ужасом глядит на Слюнку, не мигая и раскрыв рот.

— Славное время,— говорит дрожащим шепотом Слюнка.— Хорошую весну господь посылает... А надо думать, вальшнепа уже есть... Отчего им не быть... День теперь стоит теплый... Поутру журавли летели — видимо-невидимо!

Слюнка и Рябов, осторожно шлепая по талому снегу и увязая в грязи, проходят по краю леса шагов двести и останавливаются. Лица их выражают испуг и ожидание чего-то страшного, необыкновенного. Они стоят как вкопанные, молчат, не шевелятся, и руки их постепенно принимают такое положение, как будто они держат ружья с взведенными курками.

Большая тень ползет слева и заволакивает землю. Наступают вечерние сумерки. Если поглядеть направо, то сквозь кусты и стволы деревьев видны багровые пятна зари. Тихо и сыро...

— Не слышать,— шепчет Слюнка, пожимаясь от холода и всхлипывая своим озябшим носиком.

Но, испугавшись своего шепота, он грозит кому-то пальцем, делает большие глаза и сжимает губы. Слышится легкий треск. Охотники значительно переглядываются и взглядами сообщают друг другу, что это пустяки, трещит сухая веточка или кора. Вечерняя тень все растет и растет, багряные пятна мало-помалу тускнеют, и сырость становится неприятною. Долго стоят охотники, но ничего они не слышат и не видят. Каждое мгновение ждут они, что вот-вот пронесется в воздухе тонкий свист, послышится торопли-

вое карканье, похожее на кашель осипшего детского горла, хлопанье крыльев.

— Нет, не слышать! — говорит вслух Слюнка, опускающая руки и начиная мигать глазами.— Знать, не прилетали еще.

— Рано!

— То-то, что рано...

Охотники не видят лиц друг друга. Воздух темнеет быстро.

— Деньков пять еще подождать,— говорит Слюнка, выходя с Рябовым из-за куста.— Рано!

Оба идут домой и молчат всю дорогу.

ВСТРЕЧА

А зачем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных?

Максимов

Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога отлого спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдаль с синевой неба, и виден был только ленивый полет птиц да дрожание воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес гроздился террасами, уходя вдаль все выше и выше, и казалось, что у этого страшного, зеленого чудовища нет конца.

Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ Казанской божией матери, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к задку телеги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах «по произволу господа пламенем пожара истребило храм» и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать «доброхотных желателей» за сбором подаяния на по-

строение храма. Сбоку телеги на перекладинке висел двадцатифунтовый колокол.

Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня.

В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров да глухие шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся на темную землю, вслошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати.

Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадь. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее змеей через дорогу, жалобно позвякивал, как будто и ему хотелось на покой.

— Здорово, папаша! — услышал вдруг Ефрем резкий, крикливый голос. — Путь-дорога!

У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет тридцати, в ситцевой рубаше и в узких, не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемуся после кокарды, и можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик непокойно: все время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами, точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движения, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не видал таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц; нос и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и,

в довершение странности лица, вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом.

— Православный,— обратился к нему Ефрем,— далече ли тут до деревни?

— Нет, не далече. До села Малого верст пять осталось.

— Беда как пить хочется!

— Как не хотеть!— сказал странный мужик и усмехнулся.— Жарит не приведи бог как! Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше... Тебя как звать?

— Ефрем, парень...

— Ну, а меня — Кузьма... Чай, слышал, как свахи говорят: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу.

— А далече едешь?— спросил он.

— Далече, православный! был и в Курском и в самой Москве был, а таперя поспешаю в Нижний на ярманку.

— На храм собираешь?

— На храм, парень... Царице небесной Казанской... Погорел храм-то!

— Отчего погорел?

Лениво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день молния ударила в церковь. Мужики и причт, как нарочно, были в поле.

— Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить, да, зная, прогневался Илья-пророк, церковь была заперши, и колокольню всю как есть полымем обхватило, так что и не достанешь того набата... Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и пышет— подступиться страшно!

Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...

— Ну, а ты как? На жаловании, что ли?— спросил он.



К рассказу «Накануне поста».

Художники Кукрыниксы. 1941.

— Какое наше жалование! За спасение души ездим, мир послал...

— Так задаром и ездись?

— А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности справит... Стало быть, не задаром!

— А живешь чем?

— Христа ради.

— Меринок-то у тебя мирской?

— Мирской...

— Та-ак, братец ты мой... Покурить у тебя нету?

— Не курю, парень.

— А ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?

— Зачем ей дохнуть? Не надо дохнуть...

— Ну, а ежели... разбойники на тебя нападут?

И болтливый Кузьма спросил еще: куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника.

— Какая она у тебя пузатая! — болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. — Ого, тяжелая! Небось и серебра пропасть, а? А что, ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу?

— Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько — мне не видеть.

— А бумажки кладут?

— Которые поблагородней, господа или купцы, те и бумажки подают.

— Что ж? И бумажки в кружке держишь?

— Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется...

На грудях держу.

— А много насбирал бумажками?

— Да рублей с двадцать шесть насбирал.

— Двадцать шесть целковых! — сказал Кузьма и пожал плечами. — У нас в Качаброве, спроси кого хочешь, строили церкву, так за одни планты было

дадено три тыщи — во! Твоих денег и на гвозди не хватит. По нынешнему времю двадцать шесть целковых — раз плюнуть!.. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь... Сейчас вот, гляди, я курю табак.. Мне он годится, потому я мужик, простой человек, а ежели какому офицеру или студенту...

Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь:

— С нами в арестантской сидел немец с железной дороги, так тот, братец ты мой, курил цыгары по десяти копеек штука! А-а? По десяти копеек! Ведь этак, дед, гляди, на сто целковых в месяц выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали.

— А нешто ты был в арестантской? — спросил Ефрем.

— Был, — ответил Кузьма и поглядел на небо. — Второй день, как выпустили. Целый месяц сидел.

Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но вот наконец встретился мужик, который сказал, что до Малого осталась одна верста; еще немного — и телега выехала из леса, открылась большая поляна, и перед путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров, овец и спутанных лошадей. За стадом зеленели луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там дальше видно было Малое с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным.

— Вот и Малое! — сказал Кузьма. — Мужики хорошо живут, но разбойники.

Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодезя, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы: куда едешь? откуда?

— Ну, родня, давай божьему человеку пить! — за-

болтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого.— Поворачивайся!

— Какая я тебе родня? По какому случаю?

— Хо-хо-хо! Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села за чуб вела!

Все время, пока телега ехала по деревне, Кузьма неумоимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он милыми, душеньками, мамашами, а мужиков, соображаясь с особыми приметами, рыжими, гнедыми, носастыми, кривыми и т. п. Все это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы: «А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вешаный! Давно ли из острога вернулся?»

— Эй вы, подавайте божьему человеку! — болтал Кузьма, размахивая руками.— Поворачивайся! Живо!

И он держался важно и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство или же был его проводником.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем не спеша распряг коня и сводил его на водопой к колодезю, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма.

— А, пришел! — обрадовался странный мужик.— Пойдешь в трактир чай пить?

— Чайку попить... оно бы ничего, — сказал Ефрем, почесываясь, — оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нешто?

— Угостишь... А на какие деньги?

Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образа, разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку, опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду.

— Бедность наша! — вздохнул Кузьма. — Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходящих на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели; церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в землю... Слабый красный свет, должно быть отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоники, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает тихий деревенский вечер на чужой стороне.

Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя:

— Несообразный ты... Какой-то ты такой, бог тебя знает...

— А что?

— А то... На настоящего человека не похож... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вот из арестантской идешь...

— Легко ли дело! В арестантской, бывает, и хорошие господа сидят... Арестантская, брат, это ничего, пустяковое дело, хоть целый год сидеть могу, а вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в остроге сидел, и нет той недели, чтоб меня в волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество в Сибирь сослать. Уж и приговор такой составили.

— Стало быть, хорош!

— А мне что? И в Сибири люди живут.

— Отец и мать-то у тебя есть?

— Ну их! Живы еще, не поколели...

— А чти отца твоего и мать твою?

— Пушай... Я так понимаю, что они первые мне

злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше никому.

— Много ты знаешь, дурак... Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А за что это тебя здешние мужики вешаным зовут?

— А когда я мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили...

— Вредный член общества!..— проговорил Ефрем и вздохнул.

Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел.

Когда он проснулся среди ночи, чтобы поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой настежь двери стояла белая корова, заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали... В воздухе было тихо и спокойно... Где-то далеко, за теньями, в ночной тишине кричал дергач да протяжно всхлипывала сова.

А когда он проснулся в другой раз на рассвете, Кузьма сидел на скамье за столом и о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная, блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его; он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору.

— А, божий человек! — сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и ухмыльнулся.— Хочешь белой булки?

— Ты где был? — спросил Ефрем.

— Гы-ы! — засмеялся Кузьма.— Гы-ы!

Раз десять со своею странною, неподвижною улыбкой произнес он это «Гы-ы!» и, наконец, затрясся от судорожного смеха.

— Чай... чай пил,— выговорил он сквозь смех.— Во... водку пил!

И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурщиками пил чай и водку, и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки...

— Чведские спички — во! Пшш! — говорил он,

сожигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу.— Чведские, настоящие! Погляди!

Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точно его что-то больно укусило, он вскочил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь; потом, топчась около скамьи, как медведь, он перебрал и переглядел все свое тряпье, заглянул под скамью, опять ощупал грудь

— Деньги пропали! — сказал он.

Полминуты Ефрем стоял, не шевелясь, и тупо глядел на скамью, потом опять принялся искать.

— Мать пречистая, деньги пропали! Слышишь? — обратился он к Кузьме.— Деньги пропали!

Кузьма внимательно рассматривал рисунок на коробке со спичками и молчал.

— Где деньги? — спросил Ефрем, делая шаг к нему.

— Какие деньги? — небрежно, сквозь зубы, процедил Кузьма, не отрывая глаз от коробки.

— А те деньги... эти самые, что у меня на грудях были!..

— Чего пристал? Потерял, так ищи!

— Да где ищи? Где они?

Кузьма поглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел.

— Какие деньги? — закричал он, вскакивая.

— Деньги! Двадцать шесть рублей!

— Я их взял, что ли? Пристает, сволочь!

— Да что сволочь! Ты скажи, где деньги?

— А я их брал, твои деньги? Брали? Ты говори: брал? Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

— Ежели ты не брал, зачем же ты харю воротишь? Стало быть, ты взял! Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал? Глупый ты человек, несообразный! Нешто ты меня обидел? Ты бога обидел!

— Я... я брал? Когда я брал? — закричал высоким, визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема.— Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек!

Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обустраиваться.

— Ишь жулик! — продолжал кричать Кузьма, все более возбуждаясь. — Сам пропилил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор ты у меня насидишься в остроге!

— Ты не брал, ну и молчи, — покойно ответил Ефрем.

— На, обыскивай!

— Ежели ты не брал, зачем же мне... тебя обыскивать? Не брал, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь бога-то...

Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма, все еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу.

— Старый черт, — ворчал он. — Много вас тут ездит, людей морочит. Не на такого наскочил, брат. Меня не обжулишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старостой!

— Зачем это?

— Протокол составить! Пущай нас в волостном рассудят!

— Нас нечего судить. Не мои деньги, божья... Ужо бог рассудит.

Ефрем помолился и, взявши кружку и образ, вышел из избы.

Час спустя телега уже въезжала в лес. Малое с приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу.

Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем.

— Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, — проговорил он как бы про себя. — Я бы тебе показал, как на людей путать, черт лысый...

Прошло в молчании еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом,

— Вот в Телибеево приедем,— начал Кузьма,— там наш мировой живет. Подавай прошение!

— Зря болтаешь. Какая надобность мировому? Нешто его деньги? Деньги божьи. Перед богом ты ответчик.

— Зарядил: божьи! божьи! словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то пушай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор.

— Есть мне время по судам ходить!

— Стало быть, тебе денег не жалко?

— Что мне жалеть? Деньги не мои, божьи..

Ефрем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собою борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного. Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил «доказать нет», Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает.

— Я не брал у тебя денег! — сказал он.

— Не брал, ну и ладно.

— Доедем до Телибеева, я кликну старосту. Пушай... он разберет...

— Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой! Опостылел!

Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает, какой страшный замысел таится в его душе, и наконец решился заговорить по-иному.

— Эх ты, пава, и посмеяться с тобой нельзя, сейчас и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я в шутку.

Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не об-

радовался, а как будто ждал этого, взял деньги и, ни слова не говоря, сунул их в карман.

— Я посмеяться хотел,— продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо.— Попужать пришла охота. Думал так, попужаю и отдам поутру... Всех денег было двадцать шесть целковых, а тут десять, не то девять... Фуршики у меня отняли... Ты не серчай, дед... Не я пропил, фуршики... Ей-богу!

— Что мне серчать? Деньги божьи... Не меня ты обидел, а царицу небесную...

— Я, может, только целковый и пропил.

— Мне-то что? Хоть все возьми да пропей... Целковый ли ты, копейку ли, для бога все единственно. Один ответ.

— А ты не серчай, дед. Право, не серчай. Чего там!

Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детски-плачущее выражение.

— Прости Христа ради!— сказал он, умоляюще глядя Ефрему в затылок.— Ты, дед, не обижайся... Я это в шутку.

— Э, пристал!— сказал раздраженно Ефрем.— Говорю тебе: не мои деньги! Проси у бога, чтоб простил, а мое дело сторона!

Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного, гневного бога. Он забежал вперед Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один.

— Прости Христа ради!— сказал он, начиная дрожать всем телом.— Дед, прости!

— Отстань!

Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал несвязные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок.

— Дедушка, родненький! Дяденька! Божий человек!

Ефрем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору.

— Постой, парень, слушай! — начал он убеждать Кузьму. — Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку! Э, ревет, словно баба! Слушай, хочешь, чтоб бог простил, — так, как придешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай... Слышишь?

Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу, наложить на себя эпитимию, потом собрать и выслать в Малиновцы украденные и пропитые деньги и в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, похристиански. Кузьма выслушал его и мало-помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе, дразнил Ефрема, болтал... Ни на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про острог, одним словом, про все то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговейно пятился, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал!

В полдень, когда телега остановилась в Телибееве, Кузьма пошел в кабак. Часа два отдыхал Ефрем, а он все не выходил из кабака. Слышно было, как он бранился там, хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Телибеева, в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет за урядником.

В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям, зажигочный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему:

— Га, вы офицер! У меня тоже брат офицер, но только он морьяк... Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?

— Я там служу.

— Га! А вы семейный?

— Нет, я живу с теткой и сестрой.

— Мой брат тоже офицер, морьяк, но он семейный, имеет жена и три ребенка. Га!

Чухонец чему-то удивлялся, идиотски-широко улыбался, когда восклицал «га!», и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому нездоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон.

«Противный народ эти чухонцы и... греки,— думал он.— Совсем лишний, ни к чему не пужный, противный народ. Запимают только на земном шаре место. К чему они?»

И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом.

Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышался бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки, кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса:

— Готова почта?

— Готова!

Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр, что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым — все это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился, и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался удобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим «га!» и вновь засыпал, а ноги поручика все никак не укладывались на диване и грозящие образы все стояли перед глазами.

В Спирове он вышел на станцию, чтобы выпить

воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть.

«И как они могут есть!» — думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнувшего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, — то и другое казалось ему противным до тошноты.

Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.

Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калаша в сырую погоду.

— Га! — удивился он, — Это какая станция?

— Не знаю, — ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.

— А в Твери когда мы будем?

— Не знаю. Извините, я... я не могу отвечать. Я болен, простудился сегодня.

Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уж более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.

— Почта готова? — донесся издали глухой голос.

— Готова! — ответил бас почти у самого окна.

Это была уже вторая или третья станция от Спирова.

Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана,

обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, в спину дуло от окна, но, как ни мучительно было, ему уж не хотелось переменять свое положение... Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.

Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло. Пассажиры надевали шубы и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых фартуках и с бляхами суетились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально он получил багаж и нанял извозчика. Извозчик запросил с него до Поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно, послушно сел в сани. Разницу в числах он еще понимал, но деньги для него уже не имели никакой цены.

Дома Климова встретили тетка и сестра Катя, семнадцатилетняя девушка. В руках Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов.

Очнувшись, он увидел себя в своей постели, раздетым, увидел графин с водой и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки по-прежнему не укладывались, язык прилипал к нёбу и слышалось всхлипывание чухонской трубки... Возле кровати, толкая своей широкой

спиной Павла, суетился плотный, чернобородый доктор.

— Ничего, ничего, юноша! — бормотал он. — Отлично, отлично... Тэк, тэк...

Доктор называл Климова юношей, вместо «так» говорил «тэк», вместо «да» — «дэ»...

— Дэ, дэ, дэ, — сыпал он. — Тэк, тэк... Отлично, юноша... Не надо унывать!

Быстрая, небрежная речь доктора, его сытая физиономия и снисходительное «юноша» раздражили Климова.

— Зачем вы зовете меня юношей? — простонал он. — Что за фамильярность? К черту!

И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать.

— Отлично, отлично, — забормотал доктор, нисколько не обижаясь. — Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне... Дневной свет в спальней то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не уходил от кровати, и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Через спальную непрерывно тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов видел своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с трещником в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик вспомнил, что о. Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал «ляхами», и, желая посмешить его, крикнул:

— Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!

Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз за разом бесшумно входили и выходили две тени. То были тетка и сестра. Тень сестры становилась на колени и молилась: она кланялась образу, кланялась на стене и ее серая тень, так что богу молились две тени. Все время пахло жареным мясом и трубкой

чухонца, но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты и стал кричать:

— Ладан! Унесите ладан!

Ответа не было. Слышно было только, как где-то негромко пели священники и как кто-то бегал по лестнице.

Когда Климов очнулся от забытья, в спальне не было ни души. Утреннее солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес — значит, снега уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого и щекочущего смеха. Всем его существом, от головы до ног, овладело ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир. Климов страстно захотел движения, людей, речей. Тело его лежало неподвижным пластом, шевелились одни только руки, но он это едва заметил и все внимание свое устремил на мелочи. Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина, как мил и симпатичен доктор, как вообще хороши и интересны люди.

— Дэ, дэ, дэ... — сыпал доктор. — Отлично, отлично... Теперь уж мы здоровы... Тэк, тэк.

Поручик слушал и радостно смеялся. Вспомнил он чухонца, дэму с белыми зубами, окорок, и ему захотелось курить, есть.

— Доктор, — сказал он, — прикажите дать мне корочку ржаного хлеба с солью и... и сардин.

Доктор отказал, Павел не послушался приказания и не пошел за хлебом. Поручик не вынес этого и заплакал, как капризный ребенок.

— Малюточка! — засмеялся доктор. — Мама, бай, а-а!

Климов тоже засмеялся и, по уходе доктора, крепко уснул. Проснулся он с тою же радостью и с ощущением счастья. Возле постели сидела тетка.

— А, тетя! — обрадовался он. — Что у меня было?

— Сыпной тиф.

— Вот что. А теперь мне хорошо, очень хорошо! Где Катя?

— Дома нет. Вероятно, зашла куда-нибудь с экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась к чулку; губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение доктора, она проговорила:

— Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!

Она уронила чулок и нагнулась за ним, и в это время с головы ее свалился чепец. Взглянув на ее седую голову и ничего не понимая, Климов испугался за Катю и спросил:

— Где же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

— Заразилась от тебя тифом и... и умерла. Третьего дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость целиком вошла в сознание Климова, но как ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть.

Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо и прислушался к неприятному стуку старых рельсов, которые провозили мимо, сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме.

— Какой я несчастный! — забормотал он. — Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери.

ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ

Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни, потянул к себе счета и стал считать снова. Месяц тому назад он приобрел в банкирской конторе Кошкера выигрышный билет 1-го займа на условиях погашения ссуды частями в виде ежемесячных взносов и теперь высчитывал, сколько ему придется заплатить за все время погашения и когда билет станет его полною собственностью.

— Билет стоит по курсу 246 рублей,— считал он.— Дал я задатку 10 руб., значит осталось 236. Хорошо-с... К этой сумме нужно прибавить проценты за 1 месяц в размере 7% годовых и $\frac{1}{4}\%$ комиссионных, гербовый сбор, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанции 21 коп., страхование билета 1 руб. 10 коп., за транзит 1 руб. 22 коп., за элеватор 74 коп., пени 18 коп. ...

За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, приехавшая к мужу из Мценска просить отдельного вида на жительство. В дороге она простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолком какой-то энергичский мужчина, вероятно ученик консерватории, разучивал на рояли рапсодию Листа с таким усердием, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд. Направо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол и зубрил густым семинарским басом:

— Хронический катар желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор, вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни...

В номере стоял удушливый запах гвоздики, креозота, йода, карболки и других вонючих веществ, которые Софья Саввишна употребляла против своей зубной боли.

— Хорошо-с,— продолжал считать Попов.— К 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого к этому месяцу остается 250 руб. 81 коп. Теперь, если я в марте уплачу 5 руб., то, значит, останется 240 руб. 81 коп. Хорошо-с. Теперь, считая за 1 месяц вперед 7% годовых и $\frac{1}{4}\%$ комиссионных...

— Ах-х! — застонала жена.— Да помоги же мне, Лев Иваныч! Умира-аю!

— Что же я, матушка, сделаю? Я не доктор... $\frac{1}{4}\%$ комиссионных, $\frac{1}{5}\%$ куртажа, на каботаж 1 руб. 22 коп., за транзит 74 коп. ...

— Бесчувственный! — заплакала Софья Саввишна, высовывая свою опухшую физиономию из-за ширмы.— Ты никогда мне не сочувствовал, мучитель! Слушай, когда я тебе говорю! Невежа!

— Стало быть, $\frac{1}{4}\%$ комиссионных... за транзит 74 коп., за элеватор 18 коп., за упаковку 32 коп.— итого 17 руб. 12 коп.

— Хронический катар желудка,— зубрил студент, шагая из угла в угол,— наблюдается также у привычных пьяниц, обжор...

Попов встряхнул счета, мотнул угоревшей головой и стал считать снова. Через час он сидел все на том же месте, тарашил глаза в залоговую квитанцию и бормотал:

— Значит, в апреле 1896 года останется 228 руб. 67 коп. Хорошо-с... В сентябре я взношу 5 руб., останется 223 руб. 67 коп. Ну-с, прибавляя за 1 месяц вперед 7% годовых, $\frac{1}{4}\%$ комиссионных...

— Варвар, подай нашатырный спирт! — взвизгнула Софья Саввишна.— Тиран! Убийца!

— Хронический катар желудка наблюдается также при стррраданиях печени..

Попов подал жене спирт и продолжал:

— $\frac{1}{4}\%$ комиссионных, за транзит 74 коп., издержки по аберрации 18 коп., пени 32 коп.

Наверху музыка было утихла, но через минугу пианист заиграл снова и с таким ожесточением, что в матрасе под Софьей Саввишной задвигалась пружина. Попов ошалело поглядел на потолок и начал считать опять с августа 1896 года. Он глядел на бумаги с цифрами, на счета и видел что-то вроде морской зыби; в глазах его рябило, мозги путались, во рту пересохло и на лбу выступил холодный пот, но он решил не вставать, пока окончательно не уразумеет своих денежных отношений к банкирской конторе Кошкера.

— А-ах! — мучилась Софья Саввишна. — Всю правую сторону рвет. Владычица! О-ох, моченьки моей нет! А ему, аспиду, хоть трава не расти! Хоть умри я, ему все равно! Несчастливая я, страдальца! Вышла за идола, мученица!

— Но что же я могу сделать? Значит, в феврале 1903 года я буду должен 208 руб. 7 коп. Хорошо-с. Теперь, прибавляя 7% годовых и $\frac{1}{4}\%$ комиссионных, куртажа 74 коп.

— Хррронический катар желудка наблюдается и при страданиях легких...

— Не муж ты, не отец своих детей, а тиран и мучитель! Подай скорей хоть гвоздичку, бесчувственный!

— Тьфу! $\frac{1}{4}\%$ комиссионных... то есть что же я? За вычетом прибыли от купонов, с прибавлением 7% годовых за месяц вперед, $\frac{1}{4}\%$ комиссионных...

— Хррронический катар желудка наблюдается и при страданиях легких...

Часа три спустя Попов подвел последний итог. Оказалось, что за все время погашения придется заплатить банкирской конторе Кошкера 1 347 821 руб. 92 коп. и что если вычесть отсюда выигрыш в двести тысяч, то все же останется убытку больше миллиона. Увидев такие цифры, Лев Иванович медленно поднялся, походилел... На лице у него выступило выражение ужаса, недоумения и оторопи, как будто у него выстрелили под самым ухом. В это время наверху за потолком к пианисту подсел товарищ, и четыре руки, дружно уда-

рив по клавишам, стали нажаривать рапсодию Листа. Студент-медик быстрее зашагал, прокашлялся и загудел:

— Хррронический катар желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжоррр...

Софья Саввишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами... Боль ее, по-видимому, только что начинала разыгрываться...

Попов вытер холодный пот, опять сел за стол и, встряхнув счеты, сказал:

— Надо проверить... Очень возможно, что я немножко ошибся...

И он принялся опять за квитанцию и начал снова считать:

— Билет стоит по курсу 246 руб. Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236...

А в ушах у него стучало:

«Дыр... дыр... дыр...»

И уже слышались выстрелы, свист, хлопанье бичей, рев львов и леопардов.

— Осталось 236! — кричал он, стараясь перекрыть этот шум.— В июне я взношу 5 рублей! Черт возьми, 5 рублей! Черт вас дери, в рот вам дышло, 5 рублей! Vive la France! ¹ Да здравствует Дерулед!

Наутро его свезли в больницу.

¹ Да здравствует Франция! (франц.)

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

— Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? — думаю я.— Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то бог сжалятся над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его божия мать и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия мать с Иоанном Богословом кажутся мне одиночками.

За свечным шкафом стоит Прокофий Игнатъич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полупшепотом какой-то старухе:

— Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик

с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватаящий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадную на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то выходя, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? — думаю я, благоговейно поглядывая на ее кроткое красивое лицо.— Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

— И аз, недостойной иерей...— слышится его голос...— властью его, мне данною, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива,— думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи.— Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство несправедливости к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

— И аз, недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

— Как тебя зовут? — спрашивает дьякон.

— Федя.

— А по отчеству?

— Не знаю.

— Как зовут твоего папашу?

— Иван Петрович.

— Фамилия?

Я молчу.

— Сколько тебе лет?

— Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол — это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укрываясь с головой. — Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубашка, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если б ты не был так бедно одет, то

все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полый кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться — стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

Вечером первого дня пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив сельтерской, он уселся поудобней на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами.

— Опять! — сказал он, хлопнув себя по колену.— Это удивительно! Опять! Опять расписался этот, черт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков,— Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же всего было то, что этот incognito¹ Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое рождество и пасху. Кто он, откуда и каков он из себя,— не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

— Удивительно! — изумлялся Навагин, шагая по кабинету.— Странно и непонятно! Какая-то каббали-

¹ неизвестный (лат.).

стика! Позвать сюда швейцара! — крикнул он. — Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю, кто он! Послушай, Григорий, — обратился он к вошедшему швейцару, — опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

— Никак нет...

— Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?

— Никак нет, не был.

— Как же он мог расписаться, если он не был?

— Не могу знать.

— Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!

— Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не было...

— Что ж, он невидимкой расписался, что ли?

— Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это я хоть перед образом...

— Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но! — задумался Навагин. — Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?

И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человека, который наверное умер бы с перепуга, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.

— Опять таинственный Федюков расписался! — сказал Навагин, входя к жене. — Опять я не добился, кто это такой!

М-те Навагина была спириткой, а потому все понятные и непонятные явления в природе объясняла очень просто.

— Ничего тут нет удивительного,— сказала она.— Ты вот не веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум! Я уверена, что этот Федюков — дух, который тебе симпатизирует... На твоём месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздор, вздор!

Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что *incognito* Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им...

Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом вицмундире, с желто-лимонным лицом, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем.

У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. Две недели он молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:

— Зина, вызови Федюкова!

Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя...

— Что тебе нужно? — спросил Навагин.

— Кайся...— ответило блюдечко.

— Кем ты был на земле?

— Заблуждающийся...

— Вот видишь! — шепнула жена.— А ты не верил!

Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызывал Наполеона, Ганнибала, Аскоченского, свою тетку Клавдию Захаровну, и все они давали ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него, таин-

ственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм, спиритизм, четвертое измерение и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».

Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять месяцев он сидел и сочинял и в конце концов написал громадный реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал.

День, в который предположено было отправить статью, ему очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю:

— Я полагаю, Филипп Сергеич, заказным отправить. Этак вернее.— И, подняв глаза на дьячка, он сказал:— Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли поскорее.

— Очень хорошо-с, ваше превосходительство!— сказал дьячок, кланяясь.— Очень хорошо-с. Понимаю-с...

— Нельзя ли к завтраму приготовить?

— Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с! Завтра же будет готово! Извольте завтра при-

слать кого-нибудь в церковь перед вечерней. Я там буду. Прикажите спросить Федюкова, я всегда там...

— Как?! — крикнул генерал бледнея.

— Федюкова-с.

— Вы... вы Федюков? — спросил Навагин, тараща на него глаза.

— Точно так, Федюков.

— Вы... вы расписывались у меня в передней?

— Точно так,— сознался дьячок и сконфузился.— Я, ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим, всегда у вельможных особ расписуюсь... Люблю это самое... Как увижу, извините, лист в передней, так и тянет меня имя свое записать...

В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный жеппе ргемиг¹, видящий *ее*, посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем.

— Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство,— сказал секретарь.

Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой, крикнул дребезжащим, высоким тенором:

— Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое, говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?

Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице, а он все еще топал ногами и кричал:

— Аставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не понимаю? А-ас-тавь-те меня в покое!

¹ Театральное амплуа первого любовника (франц.).

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо... Перепел кричал свои «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; глядел он на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее...

— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

— Оно не живое,— заметила жена.

— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков.— Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Прав-во... А может, ученые и брешут, нечистый их знает! По-стой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.

— Воистину воскрес,— ответил казак, не поднимая головы.

— Куда едешь?

— Домой, на льготу.

— Зачем же тут сидишь?

— Да так... захворал... Нет мочи ехать.

— Что ж у тебя болит?

— Весь болю.

— Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хво-раешь! Да ты бы в деревню или на постоянный ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными, боль-ными глазами Максима, его жену, лошадь.

— Вы это из церкви? — спросил он.

— Из церкви.

— А меня праздник в дороге застал. Не привел бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасоч-ки¹ разговеться!

— Пасочки? — спросил Торчаков.— Оно можно, ничего... Пстой, сейчас...

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взгля-нул на жену и сказал:

— Нету у меня, ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю паску испоргишь, Вот задача! Пои-щи-ка, нет ли у тебя ножика?

¹ На юге кулич называют «пасхой» или «паской». (Прим. А. П. Чехова.)

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело — в степи разговляться. Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:

— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченная паска, и грех ее без толку кромсать.

— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — грех и не порядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве закричали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

— Не бидать казака... — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться,

— Чудной ты, ей-богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами.— Где ты взял такую моду, чтобы свяченную паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пушай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.

После розговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

— Ты уже встал? — спросила жена.

— Не спится что-то... Эх, Лизавета,— вздохнул он,— обидели мы с тобой казака!

— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

— Он царю служил, может кровь проливал, а мы с ним, как с свиньей обошлись. Надо бы его большого домой привести, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченную! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

— Кузьма, брось гармонию,— обратился он к одному из них.— Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадыю, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.

— Ну что? Видал казака?

— Нигде нету. Должно, уехал.

— Гм... история!

Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:

— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадыю? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.

— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой — такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он жене. — Не дает покою. Я все думаю: а что, ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал. Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. — Пристал, как смола!

— А ты, знаешь, не добрая... — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена не добрая.

— Пушай я не добрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — а только не стану я всяким пьяницам свяченную паску раздавать!

— А нешто казак пьяный?

— Пьяный!

— Почем ты знаешь?

— Пьяный!

— Ну, и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак все не выходил из головы, и Максиму мерещились то его большие глаза, то голос, то походка...

— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. — Обидели!

Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену... за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак...

ПИСЬМО

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда наконец уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость о. Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик шестидесяти пяти

лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески-темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовую одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность — в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованны и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

— Значит, вы нынче не поедете к себе домой? — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

Отец Анастасий встrepенулcя, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

— Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

— Так...— зевнул благочинный.— А вы где остановились?

— У Зявкина.

Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

— Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне... рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку,—строго сказал благочинный.— Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустил на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

— Бог даст, завтра выпьем,—сказал он, желая смягчить свой строгий отказ.— Все хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он

нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полаты у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это — как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

— Отец Федор, вы не отдыхаете? — спросил из передней бас.

— Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во все темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

— Что скажешь хорошего? — спросил благочинный.

— Да что хорошего? — ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: — Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе. Гут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

— Ныпче Николай Матвейч из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

— Что же он тебе рассказывал?

— Встревожил, бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться... «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну, и слава богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно

как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?

— Удивительного мало, — сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.

И, заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон божий:

— Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:

— Дальше — больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире вместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчанная. Уже третий год, как с этой гадюкой хорождается. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

— Стало быть, в целомудрии живут! — захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. — Есть дети. отец дьякон, есть, да дома не держат! В воспитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе... (Анастасий закашлялся.)

— Не суйтесь, отец Анастасий, — строго сказал благочинный.

— Николай Матвееч и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? — продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. — А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен, как человек вообще. Отец Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо,

потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

— Что же ты хочешь? — спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. — Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посеял, отец Федор? — тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

— А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твоё чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

— Да разве я не наставлял, отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему напимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, отец Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «Ходи в церковь», а он: «Зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: почему? зачем? Или похлопает меня по плечу и скажет: «Все на этом свете относительно, приблизи-

тельно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего не знаете, папаша».

Отец Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благодичный взглянул на него и сказал строго:

— Не суйтесь, отец Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренне, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.

— Виноват ты, дьякон, виноват,— сказал он, но уже не так строго и горячо.— Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

— А ведь мне же за него отвечать придется!

— То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благодичный и зевнул и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

— Кто «Деяния» читает?

— Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благодичного, спросил:

— Отец Федор, что же мне теперь делать?

— Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

— Ничего я не знаю, отец Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься,

— Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «Почему? зачем? почему это грех?»

Отец Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

— Почему? Зачем? Почему это грех? — визгливо заговорил он.— Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут,— Анастасий хлопнул себя по лбу,— а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасия, его сиплый, дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

— Не могу я ему писать! — вздохнул дьякон.

— Ты не можешь, так кто же может?

— Отец Федор! — сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу.— Я человек необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что...

— Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

— Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое впору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

— Ну, пиши... Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское

великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей гибели вижу я в твоём неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо...

Все письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

— Дар, истинно дар! — сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. — Пошлет же господь такое дарование! А? Мать царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас господи!

Отец Анастасий тоже пришел в восторг.

— Без дара так не напишешь! — сказал он, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, отец Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему:

— Ну, дьякон, ступай с богом. Я с полчаса на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне светлого дня, на улице было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звездами. В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

— Сколько времени он диктовал? — изумлялся дьякон. — Минут десять, не больше! Другой бы и в

месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

— Образование! — вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы.— Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

— А вы послушайте, как он нынче в обедне евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает и по-гречески знает... А Петруха, Петруха! — вдруг вспомнил дьякон.— Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.

— Петр в переводе значит камень,— говорил он, подходя к своему дому.— Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит... к шутам ее на пасеку!

— А может, не она его держит, а он ее?

— Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

— Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отец дьякон! Бог с ним!

— А что? — испугался дьякон.

— Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

— Как же так прощать? — спросил он.— Ведь я же за него богу отвечать буду!

— Хоть и так, а все же прости. Право! А бог за твою доброту и тебя простит.

— Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно...

Дьякон был вдов и жил в маленьком трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходявшая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

— Да, скоро разговляться,— сказал он.— Да.. Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало.. рюмочку выпить. Можно? Я так выпью,— зашептал он, косясь на дверь,— что старушка... не услышит... ни-ни...

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

— Ну, письмо-о! — сказал он.— И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило... во!

— Знаешь, дьякон? Не посылай! — сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку.— Прости, бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я... я, братушка, выпью... Последняя... Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почувствует! Я, брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда

жил, как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

— Беда, дьякон,— вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить.— Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру... Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то, чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью... Я...

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: все это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

— Не посылай! — сказал тот, махнув кистью руки.

— Нет, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на ум наставит. Не лишнее...

Дьякон достал из стола конверт, но прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говорювские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» — и очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

УДАВ И КРОЛИК

Петр Семеныч, истасканный и плешивый субъект в бархатном халате с малиновыми кистями, погладил свои пушистые бакены и продолжал:

— А вот, *mon cher*¹, если хотите, еще один способ. Этот способ самый тонкий, умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. При нем *conditio sine qua* поп:² терпение, терпение и терпение. Кто не умеет ждать и терпеть, для того он не годится. По этому способу вы, покоря чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком, причем отказываете себе в удовольствии беседовать с ней. Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж.

Например, я влюблен в особу N. N. и хочу покорить ее. Где-нибудь в клубе или в театре я встречаю ее мужа,

— А как поживает ваша супруга? — спрашиваю я его между прочим.— Милейшая женщина, доложу я

¹ мой милый (франц.).

² неперемное условие (лат).

вам! Ужасно она мне нравится! То есть черт знает, как нравится!

— Гм... Чем же это она вам так понравилась? — спрашивает довольный супруг.

— Прелестнейшее, поэтическое создание, которое может тронуть и влюбить в себя даже камень! Впрочем, вы, мужья, прозаики и понимаете своих жен только в первый месяц после свадьбы... Поймите, что ваша жена идеальнейшая женщина! Поймите и радуйтесь, что судьба послала вам такую жену! Таких-то именно в наше время и нужно женщин... именно таких!

— Что же в ней такого особенного? — недоумевает супруг.

— Помилуйте, красавица, полная грации, жизни и правды, поэтичная, искренняя и в то же время загадочная! Такие женщины если раз полюбят, то любят сильно, всем пылом...

И прочее в таком роде. Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

— Видал я Петра Семеныча. Ужасно тебя расхваливал. В восторге... И красавица ты, и грациозная, и загадочная... и будто любить ты способна как-то особенно. С три короба наговорил... Ха-ха...

После этого, не выдаясь *с нею*, я опять норовлю встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой...— говорю я ему.— Заезжал вчера ко мне один художник. Получил от какого-то князя заказ: написать за две тысячи рублей головку типичной русской красавицы. Просил меня поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся. А ваша жена как раз бы подошла! Прелестная головка! Мне чертовски обидно, что эта чудная модель не попадает на глаза художников! Чертовски обидно!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз уж думает обо мне. Между тем нечаянные встречи

мои с ее мужем продолжают. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

— Что ты так вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Семеныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу. Она долго оглядывает себя и думает:

«Да, кажется, левый глаз несколько темнее правого... Нет, кажется, правый темнее левого... Впрочем, быть может, это ему так показалось!»

После восьмой или девятой встречи муж говорит жене:

— Видал в театре Петра Семеныча. Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Говорит, что очень занят. Кажется, уж месяца четыре он у нас не был... Я его распекать стал за это, а он извиняется и говорит, что не придет к нам, пока не кончит какой-то работы.

— А когда же он кончит? — спрашивает жена.

— Говорит, что не раньше, как через год или два. А какая такая работа у этого свистуна, черт его знает. Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, благодарной наружностью, с таким развитием и умением чувствовать грешно жить дома. Она, говорит, должна бросить все и идти туда, куда зовет ее внутренний голос. Житейские рамки созданы не для нее. Такие, говорит, натуры, как она, должны находиться вне времени и пространства.

Жена, конечно, смутно понимает это витийство, но все-таки тает и захлебывается от восторга.

— Какой вздор! — говорит она, стараясь казаться равнодушной. — А еще что он говорил?

— Не будь, говорит, занят, отбил бы я у вас ее. Что ж, говорю, отбивайте, на дуэли драться не буду. Вы, кричит, не понимаете ее! Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, могучая, ищущая выхода! Жалею, говорит, что я не Тургенев, а то давно бы я ее описал. Ха-ха... Далась ты ему! Ну, думаю,

братец, пожил бы ты с ней годика два-три, так другое бы запел... Чудак!

И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи со мной. Я единственный человек, который понял ее, и только мне она может рассказать многое! Но я упорно не еду и не попадаюсь ей на глаза. Не видела она меня давно, но мой мучительно-сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей мои слова, а ей кажется, что она слышит мой голос, видит блеск моих глаз.

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит:

— Встретил я сейчас Петра Семеныча. Скучный такой, грустный, нос повесил.

— Отчего? Что с ним?

— Не разберешь. Жалуется, что тоска одолела. Я, говорит, одинок; нет, говорит, у меня ни близких, ни друзей, нет той души, которая поняла бы меня и слилась бы с моей душой. Меня, говорит, никто не понимает, и я хочу теперь только одного: смерти...

— Какие глупости! — говорит жена, а сама думает: «Бедный! Я его отлично понимаю! Я тоже одинок, меня никто не понимает, кроме него, кому же, как не мне, понять состояние его души?»

— Да, большой чудак... — продолжает муж. — С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю.

Жена вся в жару. Ей страстно хочется пойти на N-ский бульвар и взглянуть хотя одним глазом на человека, который сумел понять ее и который теперь в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать. Скажи она, что у него есть друг, который понимает его и ценит, он воскрес бы душой.

«Но это невозможно... дико, — думает она. — Об этом и думать даже не следует. Пожалуй, еще влюбишься чего доброго, а это дико... глупо».

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает: что, если она рискнет выйти сейчас из дому?

После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу.

«Пойду!» — решает она.

План у нее уже готов: из дома по черной лестнице, до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа.

И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно. Голые деревья спят. Никого нет. Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, он. Дрожа всем телом, не помня себя, медленно приближается она ко мне... я иду к ней. Минуту мы стоим молча и глядим друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания и... кролик беззаветно падает в пасть удава.

Старый и сгорбленный «благородный отец» с кривым подбородком и малиновым носом встречается в буфете одного из частных театров со своим старинным приятелем-газетчиком. После обычных приветствий, расспросов и вздохов благородный отец предлагает газетчику выпить по маленькой.

— Стоит ли? — морщится газетчик.

— Ничего, пойдем выпьем. Я и сам, брат, не пью, да тут нашему брату актеру скидка, почти полцены — не хочешь, так выпьешь. Пойдем!

Приятели подходят к буфету и выпивают.

— Нагляделся я на ваши театры. Хороши, нечего сказать, — ворчит благородный отец, сардонически улыбаясь. — Мерси, не ожидал. А еще тоже столица, центр искусства! Глядеть стыдно.

— В Александринке был? — спрашивает газетчик.

Благородный отец презрительно машет рукой и ухмыляется. Малиновый нос его морщится и издает смеющийся звук.

— Был! — отвечает он как бы нехотя.

— Что ж? Нравится?

— Да, постройка нравится. Снаружи хорош театр, не стану спорить, но насчет самих артистов — извини. Может быть, они и хорошие люди, гении, Дидероты, но с моей точки зрения они для искусства убийцы, и больше ничего. Ежели б в моей власти, я бы их из Петербурга выслал. Кто над ними у вас главный?

— Потехин.

— Гм... Потехин. Какой же он антрепренер? Ни фигуры, ни вида наружности, ни голоса. Антрепренер или директор, который настоящий, должен иметь вид, солидность, внушительность, чтоб вся труппа чувствовала! Труппу надо держать в ежовых, во как!

Благородный отец протягивает вперед сжатый кулак и издает губами звук, всхлипывающий, как масло на сковороде.

— Во как! А ты думал, как? Нашему брату актеру, особливо которому молодому, нельзя давать волю. Нужно, чтоб он понимал и чувствовал, какой он человек есть. Ежели антрепренер начнет ему «вы» говорить да по головке гладить, так он на антрепренера верхом сядет. Покойный Савва Трифонович, может быть помнишь, бывало, с тобой запанибрата, как с ровней, а где касалось искусства, там он — гром и молния!! Бывало, или оштрафует, осрамит при всей публике, или так тебя выругает, что потом три дня плюешь. А нешто Потехин может так? Ни силы у него, ни настоящего голоса. Не то что трагик или резонер, а самый последний пискун из свиты Фортинбраса его не испужается. Нешто еще по одной нам выпить, а?

— Стоит ли? — морщится газетчик.

— Оно, пожалуй, пить к ночи глядя не совсем того... но нашему брату скидка — грех не выпить.

Приятели выпивают.

— Все-таки, если беспристрастно рассуждать, то труппа у нас приличная, — говорит газетчик, закусывая красной капустой.

— Труппа? Гм... Приличная, нечего сказать... Нет, брат, перевелись нынче в России хорошие актеры! Ни одного не осталось!

— Ну, так уж и ни одного! Не то что во всей России, но даже у нас в Питере хорошие найдутся. Например, Свободин...

— Сво-бо-дин? — говорит благородный отец, в ужасе отступая назад и всплескивая руками. — Да нешто это актер? Побойся ты бога, нешто этакие актеры бывают? Это дилетант!

— Но все-таки...

— Что все-таки? Коли б моя власть, я б этого твоего Свободина из Петербурга выслал! Разве так можно играть, а? Разве можно? Холоден, сух, ни капли чувства, однообразен, без всякой экспрессии... нет, пойдем еще выпьем! Не могу! Душно!

— Нет, брат, избавь... не могу больше пить!

— Я угощаю! Нашему брату скидка — мертвец и тот выпьет! Люди по гривеннику платят, а мы по пятаку. Дешевле грибов!

Приятели выпивают, причем газетчик мотает головой и крикает так решительно, точно решил идти умереть за правду.

— Играет он не сердцем, а умом! — продолжает благородный отец.— Настоящий актер играет нервами и поджилками, а этот лупит тебе, точно по грамматике или прописи... А потому и однообразен. Во всех ролях он одинаков! Под какими ты соусами ни подавай щуку, а она все щука! Так-то, брат... Пусты его в мелодраму или трагедию, так и увидишь, как он съежится... В комедии всякий сыграет, нет, ты в мелодраме или в трагедии сыграй! Почему у вас мелодрам не ставят? Боятся! Людей нет! Ваш актер не умеет ни одеться, ни крикнуть, ни позу принять.

— Поймай, мне все-таки странно... Если Свободин не талант, то, кроме его, у нас есть Сазонов, Далматов, был Петипа, да в Москве есть Киселевский, Градов-Соколов, а в провинции Андреев-Бурлак...

— Послушай, я с тобой серьезно говорю, а ты шуточки шутишь,— сбижается благородный отец.— Если, по-твоему, всё это артисты, то я не знаю, как и говорить с тобой. Разве это актеры? Самые настоящие посредственники! Шарж, утрировка, нытье и больше ничего! Я бы их всех, ежели бы моя власть, к театру на пушечный выстрел не подпускал! Так они мою душу воротят, что на дуэль готов их вызвать! Помилуй, разве это актеры? Они умирать на сцене будут, а такую гримасу скорчат, что в райке все животы порвут. Намедни предлагали познакомиться с Варламовым — ни за что!

Благородный отец злобно таращит глаза на газетчика, делает негодующий жест и говорит тоном презирающего трагика:

— Как хочешь, а я еще выпью!

— Ах... ну, к чему! Уж довольно пил!

— Да что ты морщишься? Ведь скидка! Я сам не пью, да как не выпить, ежели...

Приятели выпивают и минуту тупо глядят друг на друга, вспоминая тему разговора.

— Конечно, у всякого свой взгляд,— бормочет газетчик,— но надо быть очень пристрастным и предубежденным, чтобы не согласиться, что, например, Горева...

— Раздули! — перебивает благородный отец.— Кусок льда! Талантливая рыба! Цирлих-манирлих! Талантишка есть, не спорю, но нет огня, силы, нет этого, понимаешь ты, перцу! Что такое ее игра! Порция фисташкового мороженого! Лимонадная водица! Когда она играет, у хорошего, понимающего зрителя на усах и бороде изморозь садится! Да и вообще в России нет уж настоящих актрис... нет! Днем с огнем не найдешь... Ежели и бывают талантишки, то скоро мельчают и погибают от нынешнего направления... И актеров нет... Например, взять хоть вашего Писарева... Что это такое?

Благородный отец отступает шаг назад и изумленно таращит глаза.

— Что это такое?! Разве это актер? Нет, ты мне по совести скажи: разве это актер? Разве его можно пускать на сцену? Кричит каким-то диким голосом, стучит, руками без пути махает... Ему не людей играть, а ихтиозавров и мамонтов допотопных... Да!

Благородный отец стучит кулаком по столу и кричит:

— Да!

— Ну, ну... тише — успокоивает его газетчик.— Неловко, публика глядит...

— Так нельзя, братец ты мой! Это не игра, не искусство! Это значит губить, резать искусство! Погляди ты на Савину... Что это такое?! Таланта — ни боже мой, одна только напускная бойкость и игри-

вость, которую нельзя допускать на серьезную сцену! Глядишь на нее и просто, понимаешь ли ты, ужасаешься: где мы? куда идем? к чему стремимся? Пра-а-пало искусство!

Приятели молча, поняв друг друга, вероятно, бишопизмом, подходят к буфету и выпивают.

— Ты... ты уж очень стр...рого,— заикается газетчик.

— Н-не могу иначе! Я классик, Гамлета играл и требую, чтоб святое искусство было искусством... Я старик... В сравнении со мной они все ма...мальчишки... Да... Погубили русское искусство! Например, московская Федотова или Ермолова... Юбилей справляют, а что они путного сделали для искусства? Что? Вкус у публики испортили только! Или, положим, хваленые московский Ленский и Иванов-Козельский... Какие у них таланты? Напускное... И как они понимают, ей-богу! Ведь для того, чтоб играть, мало одного же...желания, тут нужен еще и дар, искра! Разве по последней выпить, а?

— Да ведь только что пи...пили!

— Ну! Все равно... я угощаю... Нашему брату скидка, не пропьешь много...

Приятели еще выпивают. Они уже чувствуют, что сидеть гораздо удобнее, чем стоять, и садятся за столик.

— Или взять остальных прочих...— бормочет благородный отец.— Одно голько несчастье и срам роду человеческому... Иному еще и двадцати лет нет, а он уж испорчен до мозга костей... Человек молодой, здоровый, красивый, а норовит играть какого-нибудь Свистюлькина или Пищалочкина, что полегче и райку нравится, а чтоб за классические роли браться, того и в мечтах нет. В наше же, брат, время Гамлета всякий актер играл... Помню, в Смоленске покойник суфлер Васька по болезни актера взялся герцога Ришелье играть... Мы серьезно на искусство глядели, не то, что нынешние... Трудились мы... Бывало, в праздники утром короля Лира канифолишь, а вечером Коверлея раздракониваешь, да так, что театр трещит от аплодисментов..,

— Нет, и теперь попадают хорошие актеры. Например, в Москве у Корша Давыдов — мое почтение! Видал? Гигант! Ко...колосс!

— Пссс... Впрочем, ничего... полезный актер... Только, брат, выправки нет, школы... Его бы к хорошему антрепренеру, да пустить в настоящую выучку — ух, какой бы актер вышел! А теперь бесцветен... ни то ни се... Даже кажется мне, что и таланта-то у него нет. Так, ра...раздули, преувеличили. Че-эк! Дайка сюда две рюмки очищенной! Живо!

Долго еще бормочет благородный отец. Скидкой буфетной он пользуется до тех пор, пока малиновая краска не расплывается с его носа по всему лицу и пока у газетчика сам собою не закрывается левый глаз. Лицо его по-прежнему строго и сковано сардонической улыбкой, голос глух, как голос из могилы, и глаза глядят неумолимо злобно. Но вдруг лицо, шея и даже кулаки благородного отца озаряются блаженнейшей и нежнейшей, как пух, улыбкой. Таинственно подмигивая глазом, он нагибается к уху газетчика и шепчет:

— А вот ежели бы выкурить из вашей Александринки Потехина да всю бы его труппу — фюить! Да набрать бы новую труппу, настоящую, неизбалованную, да поискать бы в Рязанях да Казанях такого антрепренера, чтоб, знаешь, в ежах держать умел.

Благородный отец захлебывается и продолжает, мечтательно глядя на газетчика:

— Да поставь бы «Смерть Уголино» и «Велизария» да отжарить какого ни на есть разанафемского Отеллу или раздраконить, понимаешь ли ты, «Ограбленную почту», поглядел бы ты тогда, какие бы у меня сборы были! Увидал бы ты, что значит настоящая игра и таланты!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ ящика

Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история. Мой покойный батенька, царство им небесное, везли к барину пятьсот целковых денег; тогда наши и шепелевские мужики снимали у барина землю в аренду, так батенька везли деньги за полгода. Человек они были богобоязненный, писание читали, и чтобы обсчитать кого, или обидеть, или, скажем, не ровен час, обжулить — это не дай бог, и мужики их очень обожали, и когда нужно было кого в город послать — по начальству или с деньгами, то их посылали. Были они выделяющее из обыкновенного, но, не в обиду будь сказано, сидела в них малодушная фантазия. Любили они муху зашибить. Бывало, мимо кабака проехать нет возможности: зайдут, выпьют стаканчик — и унеси ты мое горе! Знали они за собой эту слабость, и когда общественные деньги возили, то, чтоб не заснуть или случаем не обронить, завсегда брали с собой меня или сестрицу Анютку.

По совести сказать, все наше семейство до водки очень охотники. Я грамотный, в городе в табачном магазине служил шесть лет и могу поговорить со всяким образованным господином, и разные хорошие слова могу говорить, но как я читал в одной книжке, что водка есть кровь сатаны, так это допод-

линно верно, сударь. От водки я потемнел с лица, и нет во мне никакой сообразности, и вот, извольте видеть, служу в ямщиках, как неграмотный мужик, как невежа.

Так вот, рассказываю я вам, везли батенька деньги к барину, с ними Анютка ехала, а в те поры Анютке было семь годочков, не то восемь — дура душой, от земли не видать. До Каланчика проехали благополучно, тверезы были, а как доехали до Каланчика да зашли к Мойсейке в кабак, началась у них фантазия эта самая. Выпили они три стаканчика и давай похваляться при народе:

— Человек, говорят, я небольшой, простой, а в кармане пятьсот целковых; захочу, говорят, так и кабак, и всю посуду, и Мойсейку с его жидовкой и жиденятами куплю. Все, говорят, могу купить и выкупить.

Этаким, значит, манером пошутили, а потом этого стали жаловаться:

— Беда, говорят, православные, быть богатым человеком, купцом или вроде. Нет денег, нет и заботы, есть деньги, держись все время за карман, чтоб злые люди не украли. Страшно жить на свете, у которого денег много.

Пьяный народ, конечно, слушал, смекал и на ус себе мотал. А тогда тут на Каланчике чугунку строили и всякой швали и босоногой команды было видимо-невидимо, словно саранчи. Батенька потом спохватились, да уж поздно было. Слово не воробей, вылетит — не поймашь. Едут они, сударь, лесочком, и вдруг это самое, кто-то сзади верхом скачет. Батенька был не робкого десятка,— этого нельзя сказать, но усумнились; там, в лесочке, дорога непроезжая, только сено да дрова возят, и скакать там некому и незачем, особливо в рабочую пору. За хорошим делом не поскачешь.

— Как будто погоня,— говорят батенька Анютке,— уж больно шибко скачут. В кабаке-то надо было мне молчать, типун мне на язык. Ой, дочка, чует мое сердце, тут что-то недоброе!

Пораздумались они малое время насчет своего опасного положения и говорят сестрице моей Анютке:

— Дело выходит неосновательное, может, и в самом деле погоня. Как-никак, милая Аннушка, возьми-ка ты, брат, деньги, схорони их себе в подол и поди за куст, спрячься. Не ровен час, если нападут, проклятые, так ты беги к матери и отдай ей деньги, пускай она их старшине снесет. Только ты, гляди, никому на глаза не попадайся, беги где лесом, где балочкой, чтоб тебя никто не увидел. Беги себе да бога милосердного призывай. Христос с тобой!

Батенька сунули Анютке узелок с деньгами, а она выглядела куст, какой погуще, и спряталась. Погодя немного подскочили к батеньке трое верховых; один здоровый, мордастый, в кумачовой рубахе и больших сапогах, и другие два оборванные, ошарпанные, звать с чугулки. Как батенька сумневались, так и вышло, сударь, действительно. Тот, что в кумачовой рубахе, мужик здоровый, сильный, выделяющее из обыкновенного, лошадь остановил, и все трое принялись за батеньку.

— Стой, такой-сякой! Где деньги?

— Какие такие деньги? Пошел к лешему!

— А те деньги, что барину везешь за аренду! Давай, такой-сякой, черт лысый, а то душу загубим, пропадешь без покаяния!

И начали они над батенькой свою подлость показывать, а батенька вместо того, чтоб просить их, плакать или что, рассердились и начали их отделывать по всей, значит, строгости.

— Что вы, говорят, окаянные, пристали? Сволочной вы народ, бога в вас нет, нет на вас холеры! Не денег вам надо, а розог, чтоб потом года три спина чесалась. Уходите, болваны, а то обороняться стану! У меня пистолет шестистволка за пазухой есть!

А разбойники от таких слов еще пуще, и стали бить батеньку чем попадя.

Обыскали они всю повозку, обшарили всего батеньку и даже сапоги с него сняли; когда увидели, что от битья батенька только пуще ругаются, стали они его на разные манеры мучить. Анютка тем вре-



К рассказу «Счастье».
Художник А. Могилевский, 1954.

менем сидела за кустом и, сердечная, все видела. Когда уж увидела, что батенька лежат на земле и храпят, схватилась она с места и что есть духу побегала где кустиком, где балочкой, назад к дому. Девчонка она была малая, без всякого понятия, дороги не знала и бежала так, куда глаза глядят. До дому было верст девять. Другой бы в один час добежал, а малое дитя, известно, шаг вперед, два в сторону, да и не всякое тебе может босыми ногами по лесным колючкам; тоже надо привычку иметь, а наши девчонки все, бывало, на печке гомозятся или на дворе, а в лес боялись бегать.

К вечеру Анютка кое-как добежала до жилья, глядит — чья-то изба. А то была изба лесничего за Сухоруковым, в казенном лесу, купцы тогда арендовали, уголь жгли. Постучалась. Выходит к ней баба, жена лесника. Анютка сейчас, первое дело, в слезы и объяснила ей все, как есть, все начистоту, и даже про деньги объяснила. Лесничиха разжалобилась.

— Сердечная ты моя! Ягодка! Это тебя, такую махонькую, бог сохранил! Деточка моя родная! Пойдем в избу, я тебе хоть поесть дам!

Значит, стала подъезжать к Анютке, покормила ее, напоила и даже поплакала с ей вместе и так ее разуважила, что девчонка даже, подумай, узелок ей с деньгами отдала.

— Я, ясочка, спрячу, а завтра, говорит, поутру отдам и до дому тебя провожу, касатка.

Взяла баба деньги, а Анютку уложила спать на печке, где о ту пору сушились веники. И на этой самой печке, на вениках, спала дочка лесника, такая же махонькая, как и наша Анютка. И потом Анютка нам рассказывала, дух такой от веников был, медом пахло! Легла Анютка, а спать не может, потихоньку плачет: батеньку жалко и страшно. Только, сударь, проходит час-другой, и видит она, в избу входят те три разбойника, что батеньку мучили. Вот тот, что мордастый в кумачовой рубахе, атаман ихний, подходит к бабе и говорит:

— Ну, жена, только даром душу загубили. Нынче, говорит, в обед мы человека убили. Убить-то убили, а денег ни гроша не нашли.

Стало быть, этот-то, в кумачовой рубаше, лесничихин муж выходит.

— Пропал задаром человек,— говорят его товарищи, оборванные,— понапрасну мы грех на душу приняли.

Лесничиха поглядела на всех трех и усмехается.

— Чего, дура, смеешься?

— А то смеюсь, что вот я и души не сгубила и греха на душеньку свою не принимала, а деньги нашла.

— Какие деньги? Что брешешь?

— А вот погляди, как я брешу.

Лесничиха развязала узелок и показала им, окаянная, деньги, потом рассказала все, как пришла к ей Анютка, как говорила Анютка, и прочее. Душегубы обрадовались, стали делиться промеж себя, чуть не подрались, потом, значит, сели за стол трескать. А Анютка лежит, бедная, слышит все ихние слова и трясется, как жид на сковороде. Что тут делать? И из ихних слов она узнала, что батенька померли и лежат поперек дороги, и мерещится ей, глупенькой, будто бедного батеньку едят волки и собаки, будто лошадь наша ушла далеко в лес и ее тоже волки съели, и будто саму Анютку за то, что денег не уберегла, в острог посадят, бить будут.

А разбойники налопались и послали бабу за водкой. Пять рублей ей дали, чтобы и водки купила и сладкого вина. Пошло у них на чужие деньги и пьянство и песни. Пили, пили, собаки, и опять бабу послали, чтоб, значит, пить без конца краю.

— Будем до утра гулять! — кричат.— Денег у нас теперь много, жалеть нечего! Пей, да ума не пропивай!

Этак, к полночи, когда все были здорово урезавши, баба побежала за водкой третий раз, а лесник прошелся раза два по избе, а сам шатается.

— А что, говорит, братцы, ведь девчонку прибрать

надо! Ежели мы ее так оставим, так она на нас будет первая доказчица.

Посудили, порядили и так решили: не быть Анютке живой — зарезать. Известно, зарезать невинного младенца страшно, за такое дело нешто пьяный возьмется или угорелый. Может, с час спорили, кому убивать, друг дружку нанимали, чуть не подрались опять и — никто не согласен; тогда и бросили жребий. Леснику досталось. Выпил он еще полный стакан, крикнул и пошел в сени за топором.

А Анютка девка не промах. Даром, что дура, а надумала, скажи на милость, такое, что не всякому и грамотному на ум вскочит. Может, господь над ней сжалился и на это время рассудок ей послал, а может, поумнела от страха, а только на поверку вышло, что она хитрей всех. Встала потихоньку, богу помолилась, взяла тулупчик тот самый, что ее лесничиха укрыла; и, понимаешь, с ней на печке лесникова девочка лежала, одних годочков с ней, — она эту девочку укрыла тулупчиком, а с нее взяла бабью кофту и накинула на себя. Поменялась, значит. Накинула себе на голову и так прошла через избу, мимо пьяниц, а те думали, что это лесникова дочка, и даже не взглянули. На ее счастье, бабы в избе не было, за водкой пошла, а то бы, пожалуй, не миновать ей топора, потому бабий глаз видючий, как у кобца. У бабы глаз острый.

Вышла Анютка из избы и давай бог ноги куда глаза глядят. Всю ночь по лесу пугалась, а утром выбралась на опушку и побежала по дороге. Дал бог, повстречался ей писарь Егор Данилыч, царство небесное. Шел он с удочками рыбу ловить. Рассказала ему Анютка все дочиста. Он скорей назад — до рыбы ли тут? — в деревню, собрал мужиков и айда к леснику.

Пришли туда, а душегубы все вповалку, натрескавшись, лежат, где кто упал. С ними и пьяная баба. Обыскали их первым делом, забрали деньги, а когда поглядели на печку, то — с нами крестная сила! Лежит лесникова девочка на вениках, под тулупчиком, а голова вся в крови, топором зарублена. Побудили му-

жиков и бабу, связали руки назад и повели в волость. Баба всет, а лесник только мотает головой и просит:

— Опохмелиться бы, братцы! Голова болит.

Потом своим порядком суд был в городе, наказывали по всей строгости законов.

Так вот какая история случилась, сударь, за тем лесом, что за балкой. Уже еле видать его, садится за ним солнышко красное. Разговорился я с вами, а лошади встали, словно и они слушают. Эй вы, милые, хорошие! Бегите веселей, барин, господин хороший, на чай пожалует! Эй вы, голуби!

СЛЕДОВАТЕЛЬ

Уездный врач и судебный следователь ехали в один хороший весенний полдень на вскрытие. Следователь, мужчина лет тридцати пяти, задумчиво глядел на лошадей и говорил:

— В природе есть очень много загадочного и темного, но и в обыденной жизни, доктор, часто приходится наталкиваться на явления, которые решительно не поддаются объяснению. Так, я знаю несколько загадочных, странных смертей, причину которых возьмутся объяснить только спириты и мистики, человек же со свежей головой в недоумении разведет руками, и только. Например, я знаю одну очень интеллигентную даму, которая предсказала себе смерть и умерла без всякой видимой причины именно в назначенный ею день. Сказала, что умрет тогда-то, и умерла.

— Нет действия без причины,— сказал доктор.— Есть смерть, значит, есть и причина. А что касается предсказания, то ведь тут мало диковинного. Все наши дамы и бабы обладают даром пророчества и предчувствия.

— Так-то так, но моя дама, доктор, совсем особенная. В ее предсказании и смерти не было ничего ни бабьего, ни дамского. Молодая женщина, здоровая, умница, без всяких предрассудков. У нее были такие умные, ясные, честные глаза; лицо открытое,

разумное, с легкой, чисто русской усмешечкой во взгляде и на губах. Дамского или бабьего, если хотите, в ней было только одно — красота. Вся стройная, грациозная, как вот эта береза, волоса удивительные! Чтобы она не оставалась для вас непонятной, прибавлю еще, что это был человек, полный самой заразной веселости, беспечности и того умного, хорошего легкомыслия, которое бывает только у мыслящих, простодушных, веселых людей. Может ли тут быть речь о мистицизме, спиритизме, даре предчувствия или о чем-нибудь подобном? Над всем этим она смеялась.

Докторская бричка остановилась около колодца. Следователь и доктор напились воды, потянулись и стали ждать, когда кучер кончит поить лошадей.

— Ну-с, отчего же умерла та дама? — спросил доктор, когда бричка опять покатила по дороге.

— Умерла она странно. В один прекрасный день входит к ней муж и говорит, что не дурно бы к весне продать старую коляску, а вместо нее купить что-нибудь поновее и легче, и что не мешало бы переменить левую пристяжную, а Бобчинского (была у мужа такая лошадь) пустить в корень.

Жена выслушала его и говорит:

— Делай, как знаешь, мне теперь все равно. К лету я буду уже на кладбище.

Муж, конечно, пожимает плечами и улыбается.

— Я нисколько не шучу, — говорит она. — Объявляю тебе серьезно, что я скоро умру.

— То есть как скоро?

— Сейчас же после родов. Рожу и умру.

Словам этим муж не придал никакого значения. Он не верит ни в какие предчувствия и к тому же отлично знает, что женщины в интересном положении любят капризничать и вообще предаваться мрачным мыслям. Прошел день, и жена опять ему о том, что умрет тотчас же после родов, и потом каждый день все о том же, а он смеялся и обзывал ее бабой, гадалкой, кликушей. Близкая смерть стала *idée fixe*¹

¹ навязчивой идеей (франц.).

жены. Когда муж не слушал ее, она шла в кухню и говорила там о своей смерти с няней и кухаркой:

— Не много еще мне осталось жить, нянюшка. Как только рожу, сейчас же и умру. Не хотелось бы умирать так рано, да уж знать судьба моя такая.

Нянька и кухарка, конечно, в слезы. Бывало, придет к ней попадья или помещица, а она отведет ее в угол и давай душу отводить — все о том же, о близкой смерти. Говорила она серьезно, с неприятной улыбкой, даже со злым лицом, не допуская возражений. Была она модницей, щеголихой, но тут ввиду скорой смерти все бросила и стала ходить неряхой; уже не читала, не смеялась, не мечтала вслух... Мало того, поехала с теткой на кладбище и облюбовала там место для своей могилки, а дней за пять до родов написала завещание. И имейте в виду, все это творилось при отличном здоровье, без малейших намеков на болезнь или какую-нибудь опасность. Роды — трудная штука, иногда смертельная, но у той, про которую я вам говорю, все обстояло благополучно и бояться было решительно нечего. Мужу в конце концов вся эта история надоела. Как-то за обедом он рассердился и спросил:

— Послушай, Наташа, когда же будет конец этим глупостям?

— Это не глупости. Я говорю серьезно.

— Вздор! Я бы тебе советовал перестать глупить, чтобы потом самой не было совестно.

Но вот наступили и роды. Муж привез из города самую лучшую акушерку. Роды были у жены первые, но сошли как нельзя лучше. Когда все кончилось, роженица пожелала взглянуть на младенца. Поглядела и сказала:

— Ну, а теперь и умереть можно.

Простилась, закрыла глаза и через полчаса отдала богу душу. До самой последней минуты она была в сознании. По крайней мере когда ей вместо воды подали молока, то она тихо прошептала:

— Зачем же вы мне вместо воды молока даете?

Так вот какая история. Как предсказала, так и умерла.

Следователь помолчал, вздохнул и сказал:

— Вот и объясните, отчего она умерла? Уверяю вас честным словом, это не выдумка, а факт.

Размышляя, доктор поглядел на небо.

— Надо было бы вскрыть ее,— сказал он.

— Зачем?

— А затем, чтобы узнать причину смерти. Не от предсказания же своего она умерла. Отравилась, по всей вероятности.

Следователь быстро повернулся лицом к доктору и, прищурив глаза, спросил:

— Из чего же вы заключаете, что она отравилась?

— Я не заключаю, а предполагаю. Она хорошо жила с мужем?

— Гм... не совсем. Недоразумения начались вскоре же после свадьбы. Было такое несчастное стечение обстоятельств. Покойница однажды застала мужа с одной дамой... Впрочем, она скоро простила ему.

— А что раньше было, измена мужа или появившиеся идеи о смерти?

Следователь пристально поглядел на доктора, как бы желая разгадать, зачем он задает такой вопрос.

— Позвольте,— ответил он не сразу.— Позвольте, дайте припомнить.— Следователь снял шляпу и потер себе лоб.— Да, да... она стала говорить о смерти именно вскорости после того случая. Да, да.

— Ну, вот видите ли... По всей вероятности, она тогда же решила отравиться, но так как ей, вероятно, вместе с собой не хотелось убивать и ребенка, то она отложила самоубийство до родов.

— Едва ли, едва ли... Это невозможно. Она тогда же простила.

— Скоро простила, значит, думала что-нибудь недоброе. Молодые жены прощают не скоро.

Следователь насильно улыбнулся и, чтобы скрыть свое слишком заметное волнение, стал закуривать папиросу.

— Едва ли, едва ли...— продолжал он.— Мне и в голову не приходила мысль о такой возможности... Да и к тому же... он не так уж виноват, как кажется... Изменил как-то странно, сам того не желая: пришел

домой ночью навеселе, хочется приласкать кого-нибудь, а жена в интересном положении... а тут, черт ее побери, навстречу попадаетея дама, приехавшая погостить на три дня, бабенка пустая, глупая, некрасивая. Это даже и изменой считать нельзя. Жена и сама так взглянула на это и скоро... простила; потом об этом и разговора не было...

— Люди без причины не умирают,— сказал доктор.

— Это так, конечно, но все-таки... не могу допустить, чтобы она отравилась. Но странно, как это до сих пор мне в голову не приходило о возможности такой смерти!.. И никто не думал об этом! Все были удивлены, что ее предсказание сбылось, и мысль о возможности... такой смерти была далекой... Да и не может быть, чтоб она отравилась! Нет!

Следователь задумался. Мысль о странно умершей женщине не оставляла его и во время вскрытия. Записывая то, что диктовал ему доктор, он мрачно двигал бровями и тер себе лоб.

— А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли? — спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп.

— Да, есть. Морфий, например.

— Гм... Странно... Помню, она держала у себя что-то подобное... Но едва ли!

На обратном пути следователь имел утомленный вид, нервно покусывал усы и говорил неохотно.

— Давайте немного пешком пройдемся,— попросил он доктора.— Надоело сидеть.

Пройдя шагов сто, следователь, как показалось доктору, совсем ослабел, как будто взбирался на высокую гору. Он остановился и, глядя на доктора странными, точно пьяными глазами, сказал:

— Боже мой, если ваше предположение справедливо, то ведь это... это жестоко, бесчеловечно! Отравила себя, чтобы казнить этим другого! Да разве грех так велик! Ах, боже мой! И к чему вы мне подарили эту проклятую мысль, доктор!

Следователь в отчаянии схватил себя за голову и продолжал:

— Это я рассказывал вам про свою жену, про себя. О, боже мой! Ну, я виноват, я оскорбил, но неужели умереть легче, чем простить! Вот уж именно бабья логика, жестокая, немилосердная логика. О, она и тогда, при жизни, была жестокой! Теперь я припоминаю! Теперь для меня все ясно!

Следователь говорил и — то пожимал плечами, то хватал себя за голову. Он то садился в экипаж, то шел пешком. Новая мысль, сообщенная ему доктором, казалось, ошеломила его, отравила; он растерялся, ослабел душой и телом, и когда вернулись в город, простился с доктором, отказавшись от обеда, хотя еще накануне дал слово доктору пообедать с ним вместе.

ОБЫВАТЕЛИ

Десятый час утра. Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов, сидит в своей квартире у настезь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степанычем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяйин Ляшкевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислыми, потными щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался и рассеянно ковыряет палочкой носок своего сапога.

— Удивительный, я вам скажу, народ! — ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обывателя. — Вот как сел на лавочку, так и будет проклятый сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы! Добро бы, у тебя, подлеца этакого, в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь ни шиша за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом, семью голодом моришь, шут бы тебя взял! Просто вы не поверите, Франц Степаныч, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна и отхлестал бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачем сидишь?

Обыватель равнодушно взглядывает на Ляшкевского, хочет что-то ответить, но не может; зной и лень парализовали его разговорную способность... Лениво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби.

— Нельзя строго судить, мой почтеннейший,— вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову.— Войдите тоже в их положение: дела теперь тихие, всюду безработица, неурожаи, в торговле застой.

— А, боже мой, как вы рассуждаете! — возмущается Ляшкевский, сердито запахивая полы халата.— Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома не работает, черт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? Погляди, скот! крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил. Взял бы да и починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегаёт то за водой, то помои выносит. Отчего бы тебе, подлецу, вместо нее не сбегать? Да вы имейте еще в виду, Франц Степаныч, что у него десятины три сада и огород при доме, у него есть помещение для свиней и птицы, но все это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук, а этот мерзавец покупает все это на базаре.

— Русский человек, ничего не поделаешь! — говорит Финкс, снисходительно улыбаясь.— У русского кровь такая... Очень, очень ленивые люди! Если б все это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города.

Обыватель в синих панталонах подзывает к себе девчонку с решетом, покупает у нее на копейку подсолнухов и начинает «лускать».

— Пся крев! — злится Ляшкевский.— Вот только этим и занимаются! Подсолнухи лускают да о политике говорят! О, черт подери!

Злобно оглядывая синие панталоны, Ляшкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог; под конец мешочки под его глазами надуваются, он оставляет русских подлецов, мерзавцев и каналий в покое и, тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами:

— Лайдаки, пся крев! Цоб их дьябли везли!

Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По-видимому, он давно уже привык к ней, как к жужжанью мух, и находит излишним протестовать. Финксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых, никуда не годных обывателях и каждый раз аккурратно одно и то же.

— Однако... мне пора! — говорит он, вспомнив, что ему некогда.— Прощайте!

— Куда же вы?

— Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена треснула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить.

— Гм... А я велел Варваре самовар поставить! — удивляется Ляшкевский.— Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете.

Финкс послушно кладет шляпу на стол и остается пить чай. За чаем Ляшкевский доказывает, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только один выход — забрать их всех огулом и под строгим конвоем отправить на казенные работы.

— Да помилуйте! — горячится он.— Вы спросите, чем живет вот этот гусь, что сидит! Он отдает мне свой дом под квартиру за семь рублей в месяц да на именины ходит — только этим и сыт прохвост, цоб его дьябли везли! Нет ни заработков, ни доходов. Мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники. То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую-нибудь аферу вроде отправки быков в Москву или устройства маслобойни по новому способу, а чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах, ну, а у этих

каналей на плечах тыквы. Конечно, всякая афера к черту... Потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с них возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого — давно уже все съедено и пропито. Девять десятых измощенничались, подлецы! Задолжать и не отдать — это у них правило. Городской банк трещит по их милости!

— А я вчера у Егорова был,— перебивает Финкс поляка, желая переменить разговор.— Представьте, выиграл у него в пикет шесть с полтиной.

— Я за пикет остался, кажется, вам что-то должен,— вспоминает Ляшкевский.— Надо бы отыграться. Не хотите ли одну партиюку?

— Разве только одну,— мнется Финкс.— Мне ведь в гимназию спешить нужно.

Ляшкевский и Финкс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих панталонах аппетитно потягивается, и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот vis-à-vis¹ показывается другой обыватель в желто-серой помятой коломенке и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синие панталоны и кричит:

— С добрым утром, Семен Николаич! Имею честь вас с четвергом поздравить!

— И вас также, Капитон Петрович!

— Пожалуйте ко мне на лавочку! У меня холодок!

Синие панталоны, кряхтя, поднимаются и, переваливаясь с боку на бок, как утка, идут через улицу.

— Терц-мажор...— бормочет Ляшкевский.— Карты от дамы... пять пятнадцать... О политике, подлецы, говорят... Слышите? Про Англию начали... У меня шесть червей.

— У меня семь пик. Карты мои.

— Да, карты ваши. Слышите? Биконсфильда ругают. Того не знают, свиньи, что Биконсфильд давно уже умер. Значит, у меня двадцать девять... Вам ходить...

¹ напротив (франц.).

— Восемь... девять... десять... Да, удивительный народ эти русские! Одиннадцать... двенадцать. Русская инертность единственная на всем земном шаре.

— Тридцать... тридцать один. Взять бы, знаете, хорошую плетку, выйти да и показать им Биконсфильда. Ишь ведь как языками брешут! Брехать легче, чем работать. Стало быть, вы даму трэф сбросили, а я-то и не сообразил.

— Тринадцать... четырнадцать... Невыносимо жарко! Каким надо быть чугуном, чтобы сидеть в такую жару на лавочке на припеке! Пятнадцать.

За первой партией следует вторая, за второй третья... Финкс проигрывает, мало-помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Ляшкевский играет и то и дело поглядывает на обывателей. Ему видно, как те, усладивши друг друга беседой, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осиной. В первом часу жирная кухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что-то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем-то говорить.

— Это черт знает что такое! — возмущается Ляшкевский. — Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе бы я стрелял в этих кляч. У меня четыре валета — четырнадцать. Карты ваши... Ей-богу, у меня даже судороги в икрах делаются. Не могу равнодушно видеть этих архаровцев!

— Вы не волнуйтесь, вам вредно.

— Да помилуйте, тут камень выйдет из терпения!

Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от лени и излишней сытости, идет через улицу к себе и в бессилии опускается на свою лавочку. Он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием, точно с минуты на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Ляшкевского из терпения. Поляк высовывается из окна и, брызжа пеной, кричит ему:

— Натрескался? А, мамочка! Прелесть! Налопался

и теперь не знает, куда девать свой животик! Уйди ты, проклятый, с моих глаз! Провались!

Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает, о чем бы спросить, и спрашивает:

— Ну, ну что?

— Ничего.

— Как же так ничего?

— Да так-таки и ничего.

— Гм... А какая наука самая трудная?

— Смотря для кого,—пожимает плечами гимназист.

— Так... А... как будет по-латынски дерево?

— Арбор.

— Ага... И все ведь это надо знать! — вздыхают синие панталоны.— Во все вникать нужно... Дела, дела! Мамашенька здоровы?

— Ничего, благодарю вас.

— Так... Ну, ступай.

Проиграв два рубля, Финкс вспоминает про гимназию и приходит в ужас.

— Батюшки, уже три часа! — восклицает он.— Как, однако, я у вас засиделся! Прощайте, побегу!

— Пообедайте уж заодно у меня, тогда идите,— говорит Ляшкевский.— Успеете.

Финкс остается, но с условием, что обед будет продолжаться не более десяти минут. Пообедав же, он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Ляшкевский, не признающий послеобеденного сна, сидит у окошка, смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит:

— У, пся крев! И как это ты не околеешь от лени! ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы... Гадость! Тьфу!

В шесть часов просыпается Финкс.

— Поздно уж в гимназию,— говорит он, потягиваясь.— Придется завтра сходить, а теперь... отыгаться, что ли? Давайте еще одну партию...

Проводив в десятом часу вечера гостя, Ляшкевский долго глядит ему вслед и ворчит:

— Проклятый, целый день просидел без всякого дела... Только жалованье даром получают, черт бы их побрал... Немецкая свинья...

Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет: ушел спать. Ворчать не на кого, и он впервые за весь день закрывает свой рот, но проходит минут десять, он не выдерживает охватывающей его тоски и начинает ворчать, толкая старое, ошарпанное кресло:

— Только место занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да все забываю приказать порубить. Безобразие!

А ложась спать, он нажимает ладонью пружину матраца, морщится и брюзжит:

— Про-кля-тая пружина! Она всю ночь будет мне бок резать. Завтра же велю распороть матрац и выбросить тебя, негодная рухлядь.

Засыпает он к полночи, и снится ему, что он обливает кипятком обывателей, Финкса, старое кресло...

ВОЛОДЯ

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, на завтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре $2\frac{3}{4}$. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что м-те Шумихина и ее племянницы глядят на него и его татапа как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают татапа и смеются на ней. Раз он нечаянно подслушал, как м-те Шумихина говорила на террасе своей кухни Анне Федоровне, что его татапа продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял татапа не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния — свое и мужнино, всегда тяготевавшая к высшему обществу, не по-

нимала его, и Володя раза два в неделю должен был провозить ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, с круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и немолода — Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзаме-не и о патап, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

— Это не любовь,— говорил он себе.— В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нютой — и эта пара казалась ему невозможной; тогда

спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде...

В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, слышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

— Кто тут? — спрашивала Нюта, входя в беседку.— Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

— Что же вы молчите? — спросила Нюта, оглядывая Володю.— Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая пухлая рука, и думал...

— Молчит! — удивлялась Нюта.— Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фуй, противный философ! — засмеялась она.— А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

— Молчат и любят уединение только очень гордые люди,— продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска.— Вы гордец, Володя. Почему вы смотрите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

— Я... я люблю вас! — проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

— Что слышу я?! — запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное.— Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю вас! — повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

— Bravo, bravo! — услышал он веселый смех.— Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом:

— Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду! Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три про-

шелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное, за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению, он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подалее от дома.

«Ах, поскорее бы уехать отсюда! — думал он, хватая себя за голову. — Боже, поскорее бы!»

Поезд, на котором должен был ехать Володя с татап, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь татап.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-те Шумихина, татап и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

— Уверю вас! — говорила Нюта. — Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

— Неужели! — ахнула татап, закатываясь протяжным смехом. — Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух.

«И как они могут говорить вслух об этом! — мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо.— Говорят вслух, хладнокровно... И тапап смеялась... тапап! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?»

Но идти в дом нужно было во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

— Что же вы не приходите вовремя чай пить? — строго спросила т-те Шумихина.

— Виноват, мне... мне пора ехать,— забормотал он, не поднимая глаз.— Мапап, уж восемь часов!

— Поезжай сам, мой милый,— сказала томно тапап,— я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

— Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия — все это с поразительной ясностью предстало в его воображении и все это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

«Пустяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию,— думал он,— значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы...»

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало

жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случая повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то — вот и случай!

«Вернусь,— думал он,— а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду».

И он вернулся... М-те Шумихина, татап, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим все будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

«Как это все глупо! — досадовал Володя, ложась в постель.— Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего...»

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а «молодым человеком». А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он все сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула, и в комнату вошла татап.

— Ты не спишь? — спросила она зевая.— Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачем вам?

— У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкафчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не те капли! — услышал через минуту Володя женский голос.— Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери.

— Понимаете? Морфин! — объясняла шепотом Нюта.— Там должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, он найдет...

Мамап открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

— Вот Володя не спит...— сказала она.— Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Мамап что-то пробормотала, зевнула и ушла.

— Ищите же,— сказала Нюта.— Что стоите?

Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, мамап ушла,— думал он.— Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же? — спросила протяжно Нюта.

— Сейчас... Вот это, кажется, морфин...— сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово «morph...» — Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла

свои волосы, которые трудно было поправить — так они были густы и длинны! — и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла в комнату.

— Что? — спросила она улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

— Я вас люблю... — прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! — говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. — Нет, никого не видно...

Она вернулась.

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, расцвет и сам он — все слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и все это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

— Однако мне нужно уходить, — сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю. — Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

«Гадкий утенок... — думал он после того, как она ушла. — В самом деле, я гадок... Все гадко».

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный

свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни татап, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

«Ну его, все к черту!» — думал он.

Встал с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

«Совершенно верно... Гадкий утенок».

Когда татап увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

— Я проспал, татап... Но вы не беспокойтесь, я представляю медицинское свидетельство.

Madame Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся m-me Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и татап), как замелькало умытое, смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку — так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи нисколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с татап на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести — все это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль татап, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Нютой, и бормотал:

— Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

— Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю! — продолжал он задыхаясь. — Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала татап. — Кучер услышит!

— А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы все промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Все время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

— Вероятно, у вас зубы болят?

В городе татап и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Татап нанимала две комнаты: в одной с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и, кроме этого дивана, не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким

хламом, который для чего-то берегла татап. Уроки приготавливал Володя в комнате матери или в «общей» — так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от татап, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из «общей»; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был... Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки англичанки промелькнули в воображении, как живые, все же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

«Нет, здесь холодно», — подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в «общую».

В «общей» пили чай. За самоваром сидели трое: татап, учительница музыки, старушка в черепаховом ринсе-пез, и Августин Михайлыч, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

— Я сегодня не обедала, — говорила татап. — Надо бы горничную послать за хлебом.

— Дуняш! — крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О, это ничего не означает, — сказал француз, широко улыбаясь. — Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его татап стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

— Ведь Лили Шумихина моя родственница... — говорила она. — Ее покойный муж, генерал Шумихин,

приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

— Мамап, это неправда! — сказал раздраженно Володя. — Зачем лгать?

Он знал отлично, что мамап говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

— Вы лжете! — повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у мамап расплескался чай. — Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а мамап заплакала.

«Куда уйти?» — подумал Володя.

На улице он уж был; к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки англичанки... Он прошелся из угла в угол по «общей» и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

— Полноте, не обращайтесь внимания! — утешала в соседней комнате учительница музыки мамап. — Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

— Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! — говорила мамап нараспев. — Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу ши-

нели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

— Кажется, это надо поднять...— соображал он.— Да, кажется...

В «общую» вошел Августин Михайлыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то с страшною силою ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом все смешалось и исчезло...

СЧАСТЬЕ

Посвящается Я. П. Полонскому

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой — молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали звезды.

Пастухи были не одни. На сажень от них, в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими.

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты неспавших овец; они стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой

степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары, в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи.

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и задумался. Молодой пастух не обратил на него никакого внимания; он продолжал лежать и глядеть на небо, старик же долго оглядывал объездчика и спросил:

— Никак Пантелей из Макаровской экономии?

— Я самый,— ответил объездчик.

— То-то я вижу. Не узнал — богатым быть. Откуда бог несет?

— Из Ковылевского участка.

— Далече. Под скопчину отдаете участок?

— Разное. И под скопчину, и в аренду, и под бакчи. Я, собственно, на мельницу ездил.

Большая старая овчарка грязно-белого цвета, лохматая, с ключьями шерсти у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади и вдруг неожиданно, с злобным, старческим хрипеньем бросилась сзади на объездчика, остальные собаки не выдержали и повскакали со своих мест.

— Цыц, проклятая! — крикнул старик, поднимаясь на локте.— А, чтоб ты лопнула, бесова тварь!

Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом:

— А в Ковылях, на самый вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгадывать, поганый старик был. Небось слышал.

— Нет, не слышал.

— Ефим Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знает. У, да и проклятый же старик! Я его годов

шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезды были — что ни шаг, то гнездо дудачье. Тогда еще я заметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания все больше молчит, старушечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефимка, бывало, смолоду все молчит и молчит, да на тебя косо глядит, все он словно дуется и пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак — не было у него такой моды, а все больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бакчевники нанимался. Бывало, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях шуку, а она — го-го-го-го! захохотала..

— Это бывает,— сказал Пантелей.

Молодой пастух повернулся на бок и пристально, подняв свои черные брови, поглядел на старика,

— А ты слышал, как арбузы свистят? — спросил он.

— Слышать не слышал, бог миловал,— вздохнул старик,— а люди сказывали. Мудреного мало... Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет. Перед волей у нас три дня и три ночи скеля¹ гудела. Сам слышал. А щука хохотала, потому Жменя заместо шуки беса поймал.

Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в рукава, залепетал в нос, бабьей скороговоркой:

— Спаси нас, господи, и помилуй! Шел я раз бережком в Новопавловку. Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани царица небесная, матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов — терен тогда в цвету был — белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда

¹ скала. (Прим. А. П. Чехова.)

занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь! — а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать,— гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся,— вдруг, братцы, накажи меня бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая! — крикнул старик на лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади.— А, чтоб ты издохла!

— Это бывает,— сказал объездчик, все еще опираясь на седло и не шевелясь; сказал он это беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в думу.

— Это бывает,— повторил он глубокомысленно и убежденно.

— У, стервячий был старик! — продолжал старик уже не так горячо.— Лет через пять после воли его миром в конторе посекали, так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял да и напустил на все Ковыли горловую болезнь. Повымерло тогда народу без счету, видимо-невидимо, словно в холеру...

— А как он болезнь напустил? — спросил молодой пастух после некоторого молчания.

— Известно, как. Тут ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьим жиром морил. А это такое средство, что не то, что от жиру, даже от духу народ мрет.

— Это верно,— согласился Пантелей.

— Хотели его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать; он знал место, где клады есть. А кроме него, ни одна душа не знала. Клады тут заговоренные, так что найдешь и не увидишь, а он видел. Бывало, идет бережком или лесом, а под кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такие, как будто словно от серы. Я сам видел. Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам вырвет, а он — сказано, сама собака не ест и другим не

дает — так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал.

Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мелкие круги света прыгнули от его рук к картузу, побежали через седло по лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей.

— В этих местах много кладов,— сказал он.

И, медленно затянувшись, он поглядел вокруг себя, остановил свой взгляд на белеющем востоке и добавил:

— Должны быть клады.

— Что и говорить,— вздохнул старик.— По всему видать, что есть, только, брат, копать их некому. Никто настоящих местов не знает, да по нынешнему время, почитай, все клады заговоренные. Чтоб его найти и увидеть, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у черта лысого, выпросишь? Он и держал-то их, чтоб никому не досталось.

Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страха и любопытства засветилось в его темных глазах и, как казалось в сумерках, растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица. Он напряженно слушал.

— И в писаниях писано, что кладов тут много,— продолжал старик.— Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику солдату в Ивановке ярлык показывали, так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота, и в какой посуде; давно б по этому ярлыку клад достали, да только клад заговоренный, не подступишься.

— Отчего же, дед, не подступишься? — спросил молодой.

— Должно, причина какая есть, не сказывал солдат. Заговсренный... Талисман надо.

Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя

такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и тощих плеч; при каждом движении его холщовая рубаха мялась в складки, ползла к плечам и обнажала черную от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла. Наконец старик, точно выведенный из терпения непослушной рубахой, вскочил и загорил с горечью:

— Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберет. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди — не дождешься! Есть квас, да не про вас.

Старик презрительно засмеялся и сел на землю. Обьездчик слушал со вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что все, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику.

— На своем веку я, признаться, раз десять искал счастья,— сказал старик, конфузливо почесываясь.— На настоящих местах искал, да, зная, попадал все на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал — ни шута не находили, так и умерли без счастья. Брату моему, Илье, царство ему небесное, один монах открыл, что в Таганроге, в крепости, в одном месте под тремя камнями клад есть и что клад этот заговоренный, а в те поры — было это, помню, в тридцать восьмом году — в Матвеевом Кургане армяшка жил, талисманы продавал. Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Таганрог. Только, брат, подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит.

В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побежало по степи, издавая: «тах! тах! тах! тах!».

Когда звук замер, старик вопросительно поглядел на равнодушного, неподвижно стоявшего Пантелея.

— Это в шахтах бадья сорвалась,— сказал молодой, подумав.

Уже светало. Млечный Путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания. Небо становилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто сплошь облаками, и только по ясной, глянцевиной полосе на востоке и по кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело.

Первый утренний ветерок без шороха, осторожно шевеля молочаем и бурными стеблями прошлогоднего бурьяна, пробежал вдоль дороги.

Объездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обеими руками он потряс седло, потрогал подпругу и, как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье.

— Да,— сказал он,— близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать его.

И он повернулся лицом к пастухам. Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного.

— Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть...— сказал он с расстановкой, поднимая левую ногу к стремяни.— Кто помоложе, может, и дождется, а нам уж и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, он грузно уселся на лошади и с таким видом, как будто забыл что то или не досказал, прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничной степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они всё еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой.

Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали

над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи — ни в чем не видно было смысла. Объездчик усмехнулся и сказал:

— Экая ширь, господи помилуй! Пойди-ка найди счастье! Тут,— продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным,— тут наверняка зарыты два клада. Господа про них не знают, а старым мужикам, особливо солдатам, до точности про них известно. Тут, где-то на этом кряже (объездчик указал в сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караван с золотом; золото это везли из Петербурга Петру-императору, который тогда в Воронеже флот строил. Разбойники побили возчиков, а золото закопали, да потом и не нашли. Другой же клад наши донские казаки зарыли. В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали дорогой, что начальство хочет у них отобрать все золото и серебро. Чем начальству так зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтоб хоть детям досталось, а где зарыли — неизвестно.

— Я слышал про эти клады,— угрюмо пробормотал старик.

— Да,— задумался опять Пантелей.— Так...

Наступило молчание. Объездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повода все с тем же выражением, как будто забыл что-то или не досказал. Лошадь неохотно пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стегнув по лошади, поскакал рысью.

Пастухи остались одни.

— Это Пантелей из Макаровской экономии,— сказал старик.— Полтора ста в год получает, на хозяйских харчах. Образованный человек...

Проснувшиеся овцы — их было около трех тысяч — неохотно, от нечего делать принялись за невысокую, наполовину утопанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако Саур-Могилы с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна рав-

нина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнзоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей.

Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся. Он молчал и думал. С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства. Он находился под впечатлением слышанного и с нетерпением ждал новых рассказов.

— Дед,— спросил он, поднимаясь и беря свою герлыгу,— что же твой брат, Илья, с солдатом сделал?

Старик не расслышал вопроса. Он рассеянно поглядел на молодого и ответил, пошамкав губами:

— А я, Санька, все думаю про тот ярлык, что в Ивановке солдату показывали. Я Пантелею не сказал, бог с ним, а ведь в ярлыке обозначено такое место, что даже баба найдет. Знаешь, какое место? В Богатой Балочке, в том, знаешь, месте, где балка, как гусиная лапка, расходится на три балочки; так в средней.

— Что ж, будешь рыть?

— Попытаю счастья...

— Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его?

— Я-то? — усмехнулся старик. — Гм!.. Только бы найти, а то... показал бы я всем кузькину мать... Гм!.. Знаю, что делать...

И старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом, если найдет его. За всю жизнь этот вопрос представился ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. В голове Саньки копошилось еще одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости? Но недоумение это Санька не умел вылить в вопрос, да едва ли бы старик нашел, что ответить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багровое солнце. Широкие полосы света, еще холодные, купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться на землю. Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки — все это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая. Первого не отпускали мысли о счастье, второй же думал о том, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и не понятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья.

Сотня овец вздрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу, бросилась в сторону от отары. И Санька, как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщились и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул:

— Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

А когда солнце, обещая долгий, непобедимый зной, стало припекать землю, все живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон. Старик и Санька со своими герлыгами стояли у противоположных краев отары, стояли не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

НЕНАСТЬЕ

В темные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дачных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго, по неделям, пока озябнувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чувствовалась резкая, неприятная сырость. Теща присяжного поверенного Квашина и его жена, Надежда Филипповна, одетые в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным столом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова, выдала единственную дочку за хорошего человека и теперь со спокойною совестью может раскладывать пасьянс; дочь ее, небольшая полная блондинка лет двадцати, с кротким малокровным лицом, поставив локти на стол, читала книгу; судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, и из кухни доносились протяжные зевки кухарки.

Самого Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался в городе; сырая дачная погода дурно влияла на его бронхит и мешала работать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на окнах отнимают энергию и нагоняют хандру. В городе же, где больше комфорта, ненастье почти не заметно.

После двух пасьянсов старуха смешала карты и взглянула на дочь.

— Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и придет ли наш Алексей Степаныч,— сказала она.— Уж пятый день, как его нет... Наказал бог погодой...

Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошла из угла в угол.

— Вчера барометр поднимался,— сказала она в раздумье,— а сегодня, говорят, опять падает.

Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой.

— Соскучилась? — спросила она, взглянув на дочь.

— Конечно!

— То-то я вижу. Как не соскучиться! Уж пятый день его нет. Бывало, в мае, самое большое два дня, ну три, а теперь — шутка ли? — пятый день! Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поднимается, я для него, для Алексея Степаныча-то, велела цыпленка зарезать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец видеть рыбы не мог, а он любит. Всегда с аппетитом кушает.

— У меня за него сердце болит,— сказала дочь.— Нам скучно, а ведь ему, мама, еще скучнее.

— Еще бы! День-деньской по судам, а ночью, как сыч, один в пустой квартире.

— И что ужасно, мама, он там один, без прислуги, некому самовар поставить или воды подать. Почему бы не нанять на летние месяцы лакея? Да и вообще к чему эта дача, если он не любит? Говорила ему — не нужно, так нет. «Для твоего, говорит, здоровья». А какое мое здоровье? Я и болею-то оттого, что он из-за меня такие муки терпит.

Глядя через плечо матери, дочь заметила ошибку в пасьянсе, нагнулась к столу и стала поправлять. Наступило молчание. Обе глядели в карты и воображали себе, как их Алексей Степаныч один-одинешенек сидит теперь в городе, в своем мрачном, пустом кабинете и работает, голодный, утомленный, тоскующий по семье...

— А знаешь что, мама? — сказала вдруг Надежда Филипповна, и глаза ее засветились. — Если завтра будет такая же погода, то я с утренним поездом поеду к нему в город! По крайней мере я хоть об его здоровье узнаю, погляжу на него, чаем его напою.

И обе стали удивляться, как эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила им в голову. До города всего полчаса езды, да потом на извозчике минут двадцать. Они поговорили еще немного и, довольные, легли спать, вместе в одной комнате.

— Охо-хо-хо... Господи, прости нас грешных! — вздохнула старуха, когда часы в зале пробили два. — Не спится!

— Ты не спишь, мама? — спросила дочь шепотом. — А я все об Алеше думаю. Как бы он своего здоровья не испортил в городе! Обедает он и завтракает бог знает где, в ресторанах да в трактирах.

— Я и сама об этом думала, — вздохнула старуха. — Спаси и сохрани, царица небесная. А дождь-то, дождь!

Утром дождь уже не стучал в окна, но небо по-вчерашнему было серо. Деревья стояли печальные и при каждом налете ветра сыпали с себя брызги. Следы человеческих ног на грязных тропинках, канавки и колеи были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать.

— Кланяйся же ему, — говорила старуха, укутывая дочь. — Скажи, чтоб не очень-то по своим судам... И отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает: погода — спаси бог! Да возьми ему туда цыпленка; домашнее, хоть и холодное, а все же лучше, чем в трактире.

Дочь уехала, сказав, что вернется с вечерним поездом или завтра утром.

Но вернулась она гораздо раньше, перед обедом, когда старуха сидела у себя в спальне на сундуке и, подремывая, придумывала, что бы такое изжарить к вечеру для зятя.

Дочь, войдя к ней в комнату, бледная, расстроенная, и не сказав ни слова, не снимая шляпы, опусти-

лась на постель и прислонилась головой к подушке.

— Да что с тобой? — изумилась старуха. — Отчего так скоро? Алексей Степаныч где?

Надежда Филипповна подняла голову и сухими, умоляющими глазами поглядела на мать.

— Он обманывает нас, мама! — проговорила она.

— Да что ты, Христос с тобой! — испугалась старуха, и с ее головы сполз чепец. — Кто станет нас с тобой обманывать? Помилуй, господи!

— Он обманывает нас, мама! — повторила дочь, и подбородок у нее задрожал.

— Откуда ты взяла? — крикнула старуха бледнея.

— Наша квартира заперта. Дворник говорит, что в эти пять дней Алеша ни разу домой не приходил. Он не дома живет! Не дома! Не дома!

Она замахала руками и громко заплакала, произнося только:

— Не дома! Не дома!

С нею сделалась истерика.

— Что же это такое? — бормотала старуха в ужасе. — Ведь он же писал третьего дня, что из дому не выходит! Ночует он где? Святители-угодники!

Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. Точно ей дали дурману, она бессмысленно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки.

— Нашла кому поверить: дворнику! — говорила старуха, суетясь около дочери и плача. — Экая ревнивая! Не станет он обманывать. Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что ты ему законная жена! Мы жаловаться можем! Я за тобой двадцать тысяч дала! Ты не бесприданница!

И старуха сама разрыдалась и махнула рукой, и тоже ослабела, и легла на свой сундук. Обе они не заметили, как на небе показались голубые пятна, разрединились облака, как в саду по мокрой траве осторожно скользнул первый луч, как повеселевшие воробьи

запрыгали около луж, в которых отражались бегущие облака.

К вечеру приехал Квашин. Перед выездом из города он побывал у себя на квартире и узнал от дворника, что в его отсутствие приезжала жена.

— А вот и я! — сказал он весело, входя в комнату тещи и делая вид, как будто не замечает заплаканных, суровых лиц. — А вот и я! Пять суток не видались!

Он быстро поцеловал руки жене и теще и, с видом человека, который рад, что покончил с тяжелой работой, повалился в кресло.

— Уф! — сказал он, выпуская из легких весь воздух. — То есть вот как замучился! Едва сижу! Почти пять суток... день и ночь жил, как на бивуаках! На квартире ни разу не был, можете себе представить! Все время возился с конкурсом Шипунова и Иванчикова, пришлось работать у Галдеева, в его конторе, при магазине... Не ел, не пил, спал на какой-то скамейке, весь иззябся... Минуты свободной не было, некогда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома...

И Квашин, держась за бока, точно у него от работы болела поясница, искоса поглядел на жену и тещу, чтобы узнать, как подействовала его ложь, или, как он сам называл, дипломатия. Теща и жена поглядывали друг на друга с радостным изумлением, как будто неожиданно-негаданно нашли драгоценность, которую потеряли... Лица у них сияли, глаза горели...

— Голубчик ты мой, — заговорила теща, вскакивая, — что же это я сижу? Чаю! Скорей чаю! Может, есть хочешь?

— Конечно, хочет! — сказала жена, срывая с своей головы платок, смоченный в уксусе. — Мама, подавайте скорей вино и закуску! Наталья, собирай на стол! Ах, боже мой, ничего не готово!

И обе, испуганные, счастливые, засуетились, забежали по комнатам. Старуха не могла уже без смеха глядеть на дочь, которая оклеветала ни в чем не повинного человека, а дочери было совестно...

Скоро стол был накрыт. Квашин, от которого пахло мадерой и ликерами и который еле дышал от сытости,

жаловался на голод, насильно жевал и все говорил про конкурс Шипунова и Иванчикова, а жена и теща не отрывали глаз от его лица и думали:

«Какой он у нас умный, ласковый! Какой он красивый!»

«Важно! — думал Квашин, ложась после ужина на большую, пухлую перину.— Хоть и купчихи они, хоть Азия, а все же есть своеобразная прелесть, и день-два в неделю можно провести здесь со вкусом...»

Он укрылся, согрелся и проговорил засыпая:

— Важно!

ДРАМА

— Павел Васильич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает,— доложил Лука.— Уж целый час дожидается...

Павел Васильевич только что позавтракал. Услышав о даме, он поморщился и сказал:

— Ну ее к черту! Скажи, что я занят.

— Она, Павел Васильич, уже пять раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть... Чуть не плачет.

— Гм... Ну, ладно, проси ее в кабинет.

Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую — книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья — большая полная дама с красным, мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше чем прилично (на ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей). Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.

— Вы, конечно, не помните меня,— начала она высоким мужским тенором, заметно волнуясь.— Я... я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких... Я — Мурашкина...

— А-а-а... мм... Садитесь! Чем могу быть полезен?

— Видите ли, я... я...— продолжала дама, садясь и еще более волнуясь.— Вы меня не помните... Я — Му-

рашкина... Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи... Не подумайте, что я льщу,—избави бог,—я воздаю только должное... Всегда, всегда вас читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно... я не смею называть себя писательницей, но... все-таки и моя капля меда есть в улье... Я напечатала одновременно три детских рассказа,—вы не читали, конечно... много переводила и... и мой покойный брат работал в «Деле».

— Так-с... э-э-э... Чем могу быть полезен?

— Видите ли... (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась.) Я знаю ваш талант... ваши взгляды, Павел Васильевич, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее... попросить совета. Я, надо вам сказать, *parдон pour l'expression*¹, разрешилась от бремени драмой, и мне, прежде чем послать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.

Мурашкина нервно, с выражением пойманной птицы, порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу.

Павел Васильевич любил только свои статьи, чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать:

— Хорошо, оставьте... я прочту.

— Павел Васильевич! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки.— Я знаю, вы заняты... вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но... будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас... Будьте милы!

— Я очень рад...—замаялся Павел Васильевич,—но, сударыня, я... я занят... Мне... мне сейчас ехать нужно.

— Павел Васильевич! — простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами.— Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы

¹ извините за выражение (франц.).

знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания... только полчаса! Умоляю вас!

Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно:

— Хорошо-с, извольте... я послушаю... Полчаса я готов.

Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что ученье — свет, а неученье — тьма; потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убежденной дочери, собирается выдать ее за богатого камерюнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его.

Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал:

«Черт тебя принес... Очень мне нужно слушать твою чепуху!.. Ну, чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вот наказанье!»

Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку.

«Как бы мне не потерять образчик тесьмы,— думал он.— Куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке... А подлые мухи успели-таки засыпать многоточиями

женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло... Читает XII явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку да спала бы в погребке...»

— Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? — спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза.

Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог:

— Нег, нет, нисколько... Очень мило...

Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать:

— «*Анна*. Вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. *Валентин*. Что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами, я не признаю его. *Анна* (смутившись). А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь? *Валентин* (с горечью). Не будем трогать старых, еще не заживших ран (пауза). О чем вы задумались? *Анна*. Мне кажется, что вы несчастливы».

Во время XVI явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умиленного внимания.

«XVII явление... Когда же конец? — думал он.— О, боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минут, то я крикну караул... Невыносимо!»

Но вот наконец барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла: «занавес».

Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать:

— «*Действие второе*. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях последней сидят поселяне и поселянки».

— Виноват...—перебил Павел Васильевич.— Сколько всех действий?

— Пять,— ответила Мурашкина и тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжала: — «Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак».

Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания... Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем.

— Тру-ту-ту-ту...— звучал в его ушах голос Мурашкиной.— Тру-ту-ту... Жжжж...

«Забыл я соды принять,— думал он.— О чем бишь я? Да, о соде... У меня, по всей вероятности, катар желудка... Удивительно: Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара... На окно какая-то птичка села... Воробей...»

Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слипающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок...

— «Валентин. Нет, позвольте мне уехать... Анна (испуганно). Зачем? Валентин (в сторону). Она побледнела! (Ей.) Не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. Анна (после паузы). Вы не можете уехать...»

Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета; виден был только один еедвигающийся рот; потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты...

— «Валентин (держа Анну в объятиях). Ты воскресила меня, указала цель жизни! Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю! Но... поздно, поздно! Грудь мою точит неизлечимый недуг...»

Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловеными, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая...

— «Явление XI. Те же, барон и становой с понятиями... *Валентин*. Берите меня! *Анна*. Я его! Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни! *Барон*. Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца...»

Мурашкина опять стала пухнуть... Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной...

— Вяжите меня, я убил ее! — сказал он через минуту вбежавшей прислуге.

Присяжные оправдали его.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

За час до отхода поезда дачный отец семейства, держа в руках стеклянный шар для лампы, игрушечный велосипед и детский гробик, входит к своему приятелю и в изнеможении опускается на диван.

— Голубчик, милый мой...— бормочет он, задыхаясь и бессмысленно поводя глазами.— У меня к тебе просьба. Христом богом молю... одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом.

— На что тебе револьвер?

— Нужно... Ох, боже мой! Дай-ка воды. Скорей воды! Нужно... Ночью придется ехать темным лесом, так вот я... на всякий случай... Одолжи, сделай милость!..

Приятель глядит на бледное, измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб, безумные глаза и пожимает плечами.

— Ой врешь, Иван Иваныч! — говорит он.— Какой там темный лес у черта? Вероятно, задумал что-нибудь! По лицу вижу, что задумал недоброе! Да что с тобой? Зачем это у тебя гроб? Послушай, тебе дурно!

— Воды... О боже мой... Постой, дай отдышаться... Замучился, как собака. Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули и на вертеле изжарили... Не могу больше терпеть... Будь другом, ничего не спрашивай, не вдавайся в подробности... дай револьвера! Умоляю!

— Ну, полно! Иван Иванович, что за малодушие? Отец семейства, статский советник! Стыдись!

— Тебе легко... стыдить других, когда живешь тут в городе и этих проклятых дач не знаешь... Еще воды дай... А если бы пожил на моем месте, не то бы запел... Я мученик! Я выючная скотина, раб, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет! Я тряпка, болван, идиот! Зачем я живу? Для чего?

Отец семейства вскакивает и, отчаянно всплескивая руками, начинает шагать по кабинету.

— Ну, ты скажи мне, для чего я живу? — кричит он, подскакивая к приятелю и хватая его за пуговицу. — К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий! Я понимаю, быть мучеником идеи, да! но быть мучеником черт знает чего, дамских юбок да детских гробиков, нет — слуга покорный! Нет, нет, нет! Довольно с меня! Довольно!

— Ты не кричи, соседям слышно!

— Пусть и соседи слышат, для меня все равно! Не дашь ты револьвера, так другой даст, а уж мне не быть в живых! Решено!

— Постой, ты мне пуговицу оторвал... Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь?

— Чем? Ты спрашиваешь: чем? Изволь, я расскажу тебе! Изволь! Выскажусь перед тобой, и, может быть, у меня на душе будет не так гнусно! Сядем... Я буду короток, потому что скоро на вокзал ехать, да еще нужно забежать к Тютрюмову взять у него две банки килек и фунт мармеладу для Марьи Осиповны, чтоб у нее на том свете черти язык вытянули! Ну, слушай... Возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Как ты знаешь, от десяти часов до четырех приходится трубить в канцелярии. Жарища, духота, мухи и несовместимейший, братец ты мой, хаос. Секретарь отпуск взял, Храпов жениться поехал, канцелярская мелюзга помешалась на дачах, амурах да любительских спектаклях. Все заспанное, уморенное, испытанное, так что не добьешься никакого толка, ничего не поделаешь ни убеждениями, ни ораньем... Должность секретаря справляет субъект, глухой на левое ухо и влюбленный, едва отли-

чающий входящую от исходящей; дубина ничего не смыслит, и я сам все за него делаю. Без секретаря и Храпова никто не знает, где что лежит, куда что послать, а просители обалделые, всё куда-то спешат и торопятся, сердятся, грозят,— такой кавардак со стихиями, что хоть караул кричи! Путаница и дым коромыслом... А работа анафемская: одно и то же, одно и то же, справка, отношение, справка, отношение — однообразно, как зыбь морская. Просто, понимаешь ли ты, глаза вон из-под лба лезут, а тут еще на мое горе начальство с супругой разводится и ишесом страдает; так ноет и кукует, что житья никому нет. Невыносимо!

Отец семейства вскакивает и тотчас же опять садится.

— Все это пустяки, ты послушай, что дальше! — говорит он. — Выходишь из присутствия разбитый, измочаленный; тут бы обедать идти и спать завалиться, ан нет, помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка, и изволь, как курицын сын, сейчас же бежать по городу исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай: если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выругал ее за то, что лиф вышел широк, а в плечах узко; Сонечке нужно переменить башмаки, свояченице пунцового шелку по образчику на двадцать копеек и три аршина тесьмы... Да вот постой, я тебе сейчас прочту.

Отец семейства вытаскивает из жилетного кармана скомканную записочку и с остервенением читает:

— «Шар для лампы; 1 фунт ветчинной колбасы; гвоздики и корицы на 5 коп.; касторового масла для Миши; 10 ф. сахарного песку; взять из дома медный таз и ступку для сахара; карболовой кислоты, персидского порошку на 20 копеек; 20 бутылок пива и 1 бутылку уксусной эссенции; корсет для m-ll Шансо № 82 у Гвоздева и взять дома Мишино осеннее пальто и каалоши». Это приказ супруги и семейства. Теперь поручения милых знакомых и соседей, черт бы их съел! У Власиных завтра именинник Володя, ему нужно велосипед привезти; у Куркиных очурился младенец, и

я должен гробик купить; у Марьи Михайловны варят варенье, и по этому случаю я ежедневно должен ей таскать по полпуда сахара; подполковница Вихрина в интересном положении; я в этом не виноват ни сном, ни духом, но почему-то обязан заехать к акушерке и приказать ей приехать тогда-то... А о таких поручениях, как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок — и говорить нечего. Пять записок у меня в карманах! Отказаться от поручений невозможно: не прилично, не любезно! Черт возьми! Навязать человеку пуд сахара и акушерку — это прилично, а отказаться — кель орер¹, последнее слово неприличия! Откажи я каким-нибудь Куркиным, первая супружница станет на дыбы: что скажет княгиня Марья Алексевна?! о! ах! Не оберешься потом обмороков, ну его к черту! Этак, батенька, в промежутке между службой и поездом бегаешь по городу, как собака, высунув язык, бегаешь, бегаешь и жизнь проклянешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкаешься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатит забудешь и за тобой гонятся со скандалом, в четвертом месте даме на шлейф наступишь... тьфу! От такого моциона так осатанеешь и так тебя разломает, что потом всю ночь кости трещат и поджилки сводит. Ну-с, поручения исполнены, все куплено, теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вместе тяжелую медную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну, вот и смекай. Как ты скомбинируешь воедино пивные бутылки и этот велосипед? Это, брат, египетская работа, задача для ума, ребус! Как там ни упаковывай, как ни увязывай, а в конце концов наверное что-нибудь расколотишь и рассыплешь, а на вокзале и в вагоне будешь стоять, растопыривши обе руки, раскорячившись и поддерживая подбородком какой-нибудь узел, весь в кульках, в картонках и в прочей дряни. А тронется поезд, публика начинает швырять во все стороны твой багаж: ты своими вещами чужие места занял. Кричат, зовут кондуктора, грозят высадить,

¹ какой ужас (от *франц.* quel horreur).

а я-то что поделаю? Не бросать же мне вещи в окна! Сдайте в багаж! Легко сказать, да ведь для этого нужен ящик, нужно уложить всю эту дрянь, а где я каждый день могу брать ящик и как уложу шар со ступкой? Этак всю дорогу в вагоне стоит вой и скрежет зубовный, пока не доедешь. А погоди, что сегодня пассажирки запоют мне за этот гробик! Уф! Дай-ка, брат, воды. Теперь слушай далее. Давать поручения принято, деньги же давать на расходы — накося, выкуси! Потратил я денег тьму, а получу половину. Я гробик этот pošлю Куркиным с горничной, а они теперь в горе, стало быть не время им думать о деньгах. Так и не получу. Напоминать же о долге, да еще дамам, — не могу, хоть зарежь. Рубли еще так и сяк, хоть мнутя, да отдают, а копейки — пиши пропало. Ну-с, приезжаю я к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудов праведных, пожрать да лечь — не правда ли? — но не тут-то было. Моя супружница уж давно стережет. Едва ты поел суп, как она цап-царап раба божьего, и не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг. Протестовать не моги. Ты муж, а слово «муж» в переводе на дамский язык значит тряпка, идиот и бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади, сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных. Идешь и тарачишь глаза на «Скандал в благородном семействе» или «Мотю», аплодируешь по приказанию супруги и чувствуешь, что ты вот-вот издохнешь. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги танцоров, а если недостает кавалера, то и сам изволь плясать кадрили. Танцуешь с какой-нибудь кривулей ивановной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь: «Доколе, о господи?» Вернешься в полночь из театра или с бала, а уж ты не человек, а дохлятина, хоть брось. Но вот ты наконец достиг цели: разоблачился и лег в постель. Закрывай глаза и спи... Отлично... Все так хорошо: и тепло, и ребята за стеной не визжат, и супруги нет около, и совесть чиста — лучше и не надо. Засыпаешь ты и вдруг... и вдруг слышишь: дззз... Комары! Комары, будь они трижды, анафемы, прокляты, комары!

Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками. — Комары! Это казнь египетская, инквизиция! Дззз... Дзюзюкает этак жалобно, печально, точно прощения просит, но так тебя подлец укусит, что потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, и с головой укрываешься — ничего не помогает! В конце концов плюнешь и отдашь себя на растерзание: жрите, проклятые! Не успеешь ты привыкнуть к комарам, как в зале супруга начинает со своими тенорами разучивать романсы. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся.

Отец семейства делает плачущее лицо и поет:

— «Не говори, что молодость сгубила... Я вновь пред тобою стою очарован». О, по-о-одлые! Всю душу мою вытянули! Чтобы их хоть немного заглушить, я на такой фокус пускаю: стучу себе пальцем по виску около уха. Этак стучу часов до четырех, пока не разойдутся... А только что они разошлись, как новая казнь: пожалует донна супруга и предъявляет на мою особу свои законные права. Она разлимонится там с луной да с своими тенорами, а я отдувайся. Веришь ли, до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в жар бросает и оторопь берет. Ох, дай-ка, брат, еще воды... Ну-с, этак, не поспавши, встанешь в шесть часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать, а тут грязь, туман, холод, бррр! А приедешь в город, заводи шарманку сначала. Так-то, брат... Жизнь, доложу я тебе, анафемская, и врагу такой жизни не пожелаю! Понимаешь, заболел! Одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, желудок не варит... одним словом, не жизнь, а грусть одна! И никто не жалеет, не сочувствует, а как будто это так и надо. Даже смеются. Дачный муж, дачный отец семейства, ну, так, значит, так ему и нужно, пусть околевает. Но ведь пойми, я животное, жить хочу! Тут не водевиль, а трагедия! Послушай, если не даешь револьвера, то хоть посочувствуй!

— Я сочувствую.

— Вижу, как вы сочувствуете... Прощай... Поеду за кильками и на вокзал.

— Ты где на даче живешь? — спрашивает приятель.

— На Дохлой Речке...

— Да, я знаю это место... Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финберг?

— Знаю... Знаком даже...

— Да что ты! — удивляется приятель, и лицо его принимает радостное, изумленное выражение.— А я не знал! В таком случае... голубчик, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь другом, милый, Иван Иванович! Ну, дай честное слово, что исполнишь!

— Что такое?

— Не в службу, а в дружбу. Умоляю, голубчик. Во-первых, поклонись Ольге Павловне, а во-вторых, свези ей одну вещичку. Она поручила мне купить ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый!

Дачный отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая, потом багровеет и начинает кричать, топая ногами:

— Натe, ешьте человека! Добивайте его! Терзайте! Давайте машину! Садитесь сами верхом! Воды! Дайте воды! Для чего я живу? Зачем?

— Ребята, пустите с дороги, старшина с писарем идет!

— Герасиму Алпатычу, с праздником! — гудит толпа навстречу старшине.— Дай бог, чтоб, значит, Герасим Алпатыч, не вам, не нам, а как богу угодно.

Подгулявший старшина хочет что-то сказать, но не может. Он неопределенно шевелит пальцами, пучит глаза и надувает свои красные, опухшие щеки с такой силой, как будто берет самую высокую ноту на большой трубе. Писарь, маленький, куцый человек с красным носиком и в жокейском картузе, придает своему лицу энергическое выражение и входит в толпу.

— Который тут утоп? — спрашивает он.— Где утопый человек?

— Вот этот самый!

Длинный тощий старик, в синей рубахе и лаптях, только что вытасенный мужиками из воды и мокрый с головы до пят, расставив руки и разбросав в стороны ноги, сидит у берега на луже и лепечет:

— Святители-угодники... братцы православные... Рязанской губернии, Зарайского уезда... Двух сынов поделил, а сам у Прохора Сергеева... в штукатурках. Таперича, это самое, стало быть, дает мне семь рублей и говорит: ты, говорит, Федя, должен теперича, говорит, почитать меня заместо родителя. Ах, волк те заешь!

— Ты откуда? — спрашивает писарь.

— Заместо, говорит, родителя... Ах, волк те заешь! Это за семь-то рублей?

— Вот этак лопочет и сам не знает по-каковски, — кричит сотский Анисим не своим голосом, мокрый по пояс и, видимо, встревоженный происшествием. — Дай я тебе объясню, Егор Макарыч! Ребята, постой, не галди! Я желаю всё как есть Егору Макарычу... Идет он, значит, из Курнева... Да погоди, ребята, не болтай зря! Идет он, значит, из Курнева, и понесла его нелегкая бродом. Человек, значит, выпивши, не в своем уме, полез сдуру в воду, а его с ног сшибло и зачало вертеть, как щепку. Кричит благим матом, а тут я с Ляксандрой... Чего такое? По какому случаю человек кричит? Видим, тонет... Что тут делать? Бросай, кричу, Ляксандра, к шуту гармонию, мужика спасти! Лезем прямо, как есть, а там вертит и крутит, вертит и крутит — спаси, царица небесная! Попали в самую вертячую... Он его за рубаху, я за волосы. Тут прочий народ, который увидел, бежит на берег, крик подняли... каждому спасти душу желается... Замучились, Егор Макарыч! Не подоспей мы вовремя, совсем бы утоп ради праздника...

— Как тебя звать? — спрашивает писарь утопленника. — Какого происхождения?

Тот бессмысленно поводит глазами и молчит.

— Очумел! — говорит Анисим. — И как не очуметь? Почитай, полное брюхо воды. Милый человек, как тебя звать? Молчит! Какая в нем жизнь? Видимость одна, а душа небось наполовину вышла... Экое горе ради праздника! Что тут прикажешь делать? Помрет, чего доброго... Погляди, как рожа-то посинела!

— Послушай, ты! — кричит писарь, трепля утопленника за плечо. — Ты! Отвечай, тебе говорю! Какого ты происхождения? Молчишь, словно тебе весь мозух в голове водой залило. Ты!

— Это за семь-то рублей? — бормочет утопленник. — Поди ты, говорю, к псу... Мы не желаем...

— Чего ты не желаешь? Отвечай явственно!

Утопленник молчит и, дрожа всем телом от холода, стучит зубами.

— Одно только звание, что живой,— говорит Анисим,— а поглядеть, так и на человека не похож. Капель бы ему каких...

— Капель...— передразнивает писарь.— Какие тут капли? Человек утоп, а он — капли! Откачивать надо! Что рты поразевали? Народ бесчувственный! Бегите скорей в волостное за рогожей да качайте!

Несколько человек срываются с места и бегут к деревне за рогожей. На писаря находит вдохновение. Он засучивает рукава, потирает ладонями бока и делает массу мелких телодвижений, свидетельствующих об избытке энергии и решимости.

— Не толпитесь, не толпитесь,— бормочет он.— Которые лишние, уходите! Поехали за урядником? А вы бы уходили, Герасим Аллатыч,— обращается он к старшине.— Вы назюзюкались, и в вашем интересном положении самое лучшее теперь сидеть дома.

Старшина неопределенно шевелит пальцами и, желая что-то сказать, так надувает лицо, что оно того и гляди лопнет и разлетится во все стороны.

— Ну, клади его,— кричит писарь, когда приносят рогожу.— Берите за руки и за ноги. Вот так. Теперь кладите.

— Поди ты, говорю, к псу,— бормочет утопленник, не сопротивляясь и как бы не замечая, что его поднимают и кладут на рогожу.— Мы не желаем.

— Ничего, ничего, друг,— говорит ему писарь,— не пужайся. Мы тебя малость покачаем, и, бог даст, придешь в чувство. Сейчас приедет урядник и составит протокол на основании существующих законов. Качай! Господи благослови!

Восемь дюжих мужиков, в том числе и сотский Анисим, берутся за углы рогожи; сначала они качают нерешительно, как бы не веря в свои силы, потом же, войдя мало-помалу во вкус, придают своим лицам зверское, сосредоточенное выражение и качают с жадностью и с азартом. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгивают, точно хотят вместе с утопленником взлететь на небо.

— Рраз! раз! раз! раз!

Вокруг них бегают куций писарь и, вытягиваясь изо всех сил, чтобы достать руками рогожку, кричит не своим голосом:

— Шибче! Шибче! Все сразу, в такт! Раз! раз! Анисим, не отставай, прошу тебя убедительно! Раз!

Во время короткой передышки из рогожи показываются всклокоченная голова и бледное лицо с выражением недоумения, ужаса и физической боли, но тотчас исчезают, потому что рогожа вновь летит вверх направо, стремительно опускается вниз и с треском взлетает вверх налево. Толпа зрителей издает одобрительные звуки:

— Так его! Потрудитесь для души! Спасибо!

— Молодчина, Егор Макарыч! Потрудись для души,— это правильно!

— А уж мы его, братцы, так не отпустим! Как, значит, станет на ноги, в ум придет,— ставь ведро за труды!

— Ах, в рот те дышло с маком! Гляди-кась, братцы, шмелевская барыня с приказчиком едет. Так и есть. Приказчик в шляпе.

Около толпы останавливается коляска, в которой сидит полная пожилая дама, в рпсе-пез и с пестрым зонтиком; спиной к ней, на козлах, рядом с кучером, сидит приказчик — молодой человек в соломенной шляпе. У барыни лицо испугано.

— Что такое? — спрашивает она. — Что это делают?

— Утоплого человека откачиваем! С праздником! Маленько выпивши, потому, собственно, такое дело — нынче поперек всей деревни с образами ходили! Праздник!

— Боже мой! — ужасается барыня. — Они утопленника откачивают! Что же это такое? Этьен, — обращается она к приказчику, — подите, ради бога, скажите им, чтобы они не смели этого делать. Они уморят его! Откачивать — это предрассудок! Нужно растирать и искусственное дыхание. Идите, я вас прошу!

Этьен прыгает с козел и направляется к качающим. Вид у него строгий.

— Что вы делаете? — кричит он сердито. — Нешто можно человека откачивать?



К рассказу «Скорая помощь».

Художники Кукрыниксы. 1941.

— А то как же его? — спрашивает писарь.— Всдь он утоплый!

— Так что ж, что утоплый? Обмерших от утонутя надо не откачивать, а растирать. Так в каждом календаре написано. Будет вам, бросьте!

Писарь конфузливо пожимает плечами и отходит в сторону. Качающие кладут рогожу на землю и удивленно глядят то на барыню, то на Этьена. Утопленник уже с закрытыми глазами лежит на спине и тяжело дышит.

— Пьяницы! — сердится Этьен.

— Милый человек! — говорит Анисим, запыхавшись и прижимая руку к сердцу.— Степан Иваныч! Зачем такие слова? Нешто мы свиньи, не понимаем?

— Не смей качать! Растирать нужно! Берите его, растирайте! Раздевайте скорей!

— Ребята, растирать!

Утопленника раздевают и под руководством Этьена начинают растирать. Барыня, не желающая видеть голого мужика, отъезжает поодаль.

— Этьен! — стонет она.— Этьен! Подите сюда! Вы знаете, как делается искусственное дыхание? Нужно переворачивать с боку на бок и давить грудь и живот.

— Поворачивайте его с боку на бок! — говорит Этьен, возвращаясь от барыни к толпе.— Да живот ему давите, только полегче.

Писарь, которому после кипучей, энергической деятельности становится как-то не по себе, подходит к утопленнику и тоже принимается растирать.

— Старайтесь, братцы, убедительно вас прошу! — говорит он.— Убедительно вас прошу!

— Этьен! — стонет барыня.— Подите сюда! Давайте ему нюхать жженные перья и щекочите... Велите щекотать! Скорей, ради бога!

Проходит пять, десять минут... Барыня глядит на толпу и видит внутри ее сильное движение. Слышно, как пыхтят работающие мужики и как распоряжаются Этьен и писарь. Пахнет жженными перьями и спиртом. Проходит еще десять минут, а работа все продолжается. Но вот наконец толпа расступается, и из нее

выходит красный и вспотевший Этьен. За ним идет Анисим.

— Надо было бы с самого начала растирать,— говорит Этьен.— Теперь уж ничего не поделаешь.

— Где уж тут поделать, Степан Иваныч! — вздыхает Анисим.— Поздно захватили!

— Ну, что? — спрашивает барыня.— Жив?

— Нет, помер, царство ему небесное,— вздыхает Анисим, крестясь.— О ту пору, как из воды вытащили, подвижность в нем была и глаза раскрывши, а теперича заоченел весь.

— Как жаль!

— Значит, планида ему такая, чтоб не на суше, а в воде смерть принять. На чаек бы с вашей милости!

Этьен вскакивает на козла, и кучер, оглянувшись на толпу, которая сторонится от мертвого тела, бьет по лошадям. Коляска катит дальше,

НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ

— У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнца. Черт возьми, как я поэтически выражаюсь! Ведь ты, извозчик, не поэт?

— Никак нет.

— Ну, вот видишь ли...

Жирков нащупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться.

— Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот тебе руб, вот три гривенника. Пятачек прибавки. Прощай и помни обо мне. Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожней, в корзине бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни.

Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени.

— Ну, пого-ода! — проворчал он укоризненно и, крякнув со вздохом, издав носом всхлипывающий звук, неохотно взобрался на козла.

Он чмокнул губами, и лошаденка его нерешительно зашлепала по грязи.

— Кажется, со мною все, что нужно, — рассуждал Жирков, шаря рукой по косяку и ища звонка. — Надя

просила заехать к модистке и взять платье — есть, просила конфет и сыру — есть, букет — есть. «Привет тебе, приятю священный...» — запел он.— Но где же, черт возьми, звонок?

Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло и молодая женщина... Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься.

Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул два раза. За дверью послышались шаги.

— Это вы, Дмитрий Григорич? — спросил женский шепот.

— Я, восхитительная Дуняша! — ответил Жирков.— Отворяйте скорее, а то я промокаю до костей.

— Ах, боже мой! — зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь.— Не говорите так громко и не стучите ногами. Ведь барин из Парижа приехал! Нынче под вечер вернулся!

При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери, и им на мгновение овладел малодушный, чисто мальчишеский страх, какой испытывают даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем.

«Вот те клюква! — подумал он, прислушиваясь, с какую осторожностью Дуняша запирала дверь и уходила назад по коридорчику.— Что же это такое? Это значит — поворачивай назад оглобли! Мегсі, не ожидал!»

И ему стало вдруг смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу, в глубокую ночь и под проливным дождем, казалась ему забавным приключением; теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезнее.

— Презанимательная история, ей-богу! — сказал он себе вслух.— Куда же я теперь денусь? Назад ехать?

Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев.

Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и в водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что он в самом деле стал промокать.

«И как нарочно принесло его именно в такую погоду,— думал он смеясь.— Черт бы побрал всех мужей!»

С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад, но мужа ее он еще не знал. Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазо, и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жирков, это был дюжинный буржуа лет сорока, с усатой, франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и за бородку à la Napoléon и спросить: «Ну, что новенького, господин сержант?»

Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирков отошел несколько в сторону и крикнул:

— Извозчик! Извозчик!!!

Ответа не последовало.

— Ни гласа, ни воздыхания,— проворчал Жирков, возвращаясь ощупью к крыльцу.— Своего извозчика услал, а тут и днем-то извозчиков не найдешь. Ну, положение! Придется до утра ждать! Черт подери, корзина промокнет и платье изгадится. Двести рублей стоит... Ну, положение!

Раздумывая, куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка у танцевального круга есть будка для музыкантов.

— Нешто пойти в будку? — спросил он себя.— Идея! Но дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая... Сыр и букет можно к черту.

Он поднял корзину, но тотчас же вспомнил, что, пока он дойдет до будки, корзина успеет промокнуть пять раз.

— Ну, задача! — засмеялся он.— Батюшки, вода за шею потекла! Бррр... Промок, озяб, пьян, извозчика нет... недостает только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. Но что же, однако, делать?

Нельзя тут до утра стоять, да и к черту платье пропадет... Вот что... Я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку.

Жирков осторожно позвонил. Через минуту за дверью послышались шаги, и в замочной скважине мелькнул свет.

— Кто издесь? — спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом.

«Батюшки, должно быть, муж,— подумал Жирков.— Надо соврать что-нибудь...»

— Послушайте,— спросил он,— это дача Злюшкина?

— Чегт возьми, никакой Злюшкин издесь нет. Убегайтесь к чегту з вашей Злюшкин!

Жирков почему-то сконфузился, виновато кашлянул и отошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав в калошу, он сердито плюнул, но тотчас же опять засмеялся. Приключение его с каждой минутой становилось все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольствием думал о том, как завтра он будет описывать приятелям и самой Наде свое приключение, как передразнит голос мужа и всхлипыванье калош... Приятели, наверное, будут рвать животы от смеха.

«Одно только подло: платье промокнет! — думал он.— Не будь этого платья, я давно бы уже в будке спал».

Он сел на корзину, чтобы заслонить ее собою от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпы потекло сильнее, чем с неба.

— Тьфу, чтоб тебя черт взял!

Простояв полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье.

«Этак, чего доброго, горячку схватишь,— подумал он.— Удивительное положение! Нешто еще раз позвонить? А? Честное слово, позвоню... Если муж отворит, то соврну что-нибудь и отдам ему платье... Не до утра же мне здесь сидеть! Э, была не была! Звони!»

В школьническом задоре, показывая двери и потемкам язык, Жирков дернул за шишечку. Прошла минута в молчании; он еще раз дернул.

— Кто издесь? — спросил сердитый голос с акцентом.

— Здесь madame Буазо живет? — спросил почтительно Жирков.

— А-а? Какому чегту вам надо?

— Модистка madame Катишь прислала госпоже Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее... к утру... Я выехал из города вечером, но... погода отвратительная... едва доехал... Я не...

Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь, и на пороге, при колеблющемся свете лампочки, предстал пред ним m-г Буазо, точно такой же, как и на карточке, с солдатской рожей и с длинными усами; впрочем, на карточке он был изображен франтом, теперь же стоял в одной сорочке.

— Я не стал бы вас беспокоить,— продолжал Жирков,— но madame Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат madame Катишь... и... и к тому же погода отвратительная.

— Карьошо,— сказал Буазо, угрюмо двигая бровями и принимая корзину.— Блягодарите ваш сестра. Моя жена сегодня до первой час ждала платье. Ей обещал привезти его какой-то мусье.

— Также вот потрудитесь передать сыр и букет, которые ваша супруга забыла у madame Катишь.

Буазо принял сыр и букет, понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в ожидательной позе. Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Пршла минута в молчании. Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершение курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет.

— Ужасная погода,— пробормотал Жирков.— Темно, грязно и мокро. Я весь промок.

— Да, monsieur, вы завсем мокрый.

— И к тому же мой извозчик уехал. Не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь.

— А? Bien, monsieur ¹. Вы снимайте калоши и идите сюда. Это ничво, можно.

Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было все по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик.

— Холодно,— сказал Буазо, ставя на стол лампу.— Я только вчера приехал из Париж. Везде карьошо, тепло, а тут в Расея холод и эти кумыри... крамори... les cousins ². Проклятый кузаются.

Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил.

— Всю ночь не спал,— сказал он, садясь на матрасик.— Les cousins и какой-то скотин все звонит, спрашивает Злюшкин.

И француз умолк и поник головою, вероятно, в ожидании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом приличия поговорить с ним.

— Вы, значит, были в Париже в очень интересное время,— сказал он.— При вас Буланже в отставку вышел.

Далее Жирков поговорил про Греви, Деруледа, Зола и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые. В Париже он знал только несколько торговых фирм и свою tante ³ m-me Blessier и больше никого. Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике.

«Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широки,— думал Жирков.— Черт знает что за матрац!»

Француз закрыл глаза; пролежав покойно с четверть часа, он вдруг вскочил и тупо, точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потом сделал сердитое лицо и выпил вина.

¹ Хорошо, сударь (франц.).

² комары (франц.).

³ тетушку (франц.).

— Проклятый кумари,— проворчал он и, потеряв одной шершавой ногой о другую, вышел в соседнюю комнату.

Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал:

— Il y là un monsieur roux, qui t'a apporté une gobe ¹.

Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке.

— Сейшац жена выйdet,— сказал он зевая.— Я понимаю, вам деньги нужно?

«Час от часа не легче,— думал Жирков.— Прекурьезно! Сейчас выйdet Надежда Осиповна. Конечно, сделаю вид, что не знаю ее».

Послышалось шуршанье юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами.

— Кто от madame Катишь? — спросила Надежда Осиповна, но тотчас же, узнав Жиркова, вскрикнула, засмеялась и вошла в залу.— Это ты? — спросила она.— Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?

Жирков покраснел, сделал строгие глаза и, решительно не зная, как держать себя, покосился на Буазо.

— Ах, понимаю! — догадалась барыня.— Ты, вероятно, Жака испугался? Забыла я предупредить Дуняшу... Вы знакомы? Это мой муж Жак, а это Степан Андреич... Платье привез? Ну, мерсі, друг... Пойдем же, а то я спать хочу. А ты, Жак, спи...— сказала она мужу.— Ты устал в дороге.

Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповой.

Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу и думал:

«Грязно! И куда только не заносит нелегкая интеллигентного человека!»

¹ Там рыжий господин принес тебе платье (франц.).

И он стал думать о том, что нравственно и что безнравственно, о чистом и нечистом. Как часто случается это с людьми, попавшими в нехорошее место, он вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами на столе, и его потянуло домой.

Он тихо прошел через залу мимо спавшего Жака.

Всю дорогу он молчал, старался не думать о Жаке, который почему-то лез ему в голову, и уж не заговаривал с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо, как и на желудке.

БЕЗЗАКОНИЕ

Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский ассессор Мигуев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой:

— Ужо, погоди! Такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить! И младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню...

И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя пять тысяч рублей. Мигуев вспомнил это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увлечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий.

Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно десять часов, и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души: старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое; от нечего делать он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел возле себя змею. На крылечке, у самой двери, лежал какой-то узел. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский ассессор, сунув в него

руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе вскочил он на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи...

— Подкинула-таки! — со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. — Вот оно лежит... лежит беззаконие! О господи!

От страха, злобы и стыда он оцепенел... Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство, наверное, похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю... Хе-хе-хе... Седина в бороду, а бес в ребро... шалун, Семен Эрастович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России...

Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину; во дворе, сейчас же за воротами, дворник Ермолай жалобно побренькивал на балалайке... Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться.

— Скорее, скорее... — бормотал он. — Сию минуту, пока никто не видит. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо...

Мигуев взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице...

«Удивительно мерзкое положение! — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. — Коллежский ассессор с младенцем идет по улице! О господи, ежели кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб... Положу-ка я его на это крыльцо... Нет, постой, тут окна открыты и, может быть, глядит кто-нибудь. Куда бы его? Ага, вот что, снесу-ка я его на дачу купца Мелкина... Купцы народ богатый и сердобольный; может быть, еще спасибо скажут и на воспитание его к себе возьмут».

И Мигуев решил снести младенца непременно к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка, у самой реки.

«Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла, — думал коллежский асессор. — Вот уж именно: благодарю — не ожидал! Под мышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой, с чувствами, как и все... Ежели, чего доброго, Мелкины возьмут его на воспитание, то, пожалуй, из него выйдет какой-нибудь этакий... Пожалуй, выйдет из него какой-нибудь профессор, полководец, писатель... Ведь все бывает на свете! Теперь я несу его под мышкой, как дрянь какую-нибудь, а лет через тридцать — сорок, пожалуй, придется перед ним навытяжку стоять...»

Когда Мигуев проходил узким, пустынным переулочком мимо длинных заборов под густою, черною тенью лип, ему вдруг стало казаться, что он делает что-то очень жестокое и преступное.

«А ведь как это, в сущности, подло! — думал он. — Так подло, что подлее и придумать ничего нельзя... Ну, за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что си нам худого сделал? Подлецы мы... Любим кататься на саночках, а возить саночки приходится невинным деточкам... Ведь только вдуматься нужно во всю эту музыку! Я беспутничал, а ведь ребеночка ожидает лютая судьба... Подброшу я его Мелкиным, Мелкины пошлют его в воспитательный дом, а там всё чужие, всё по-казенному... ни ласк, ни любви, ни баловства... Отдадут его потом в сапожники... сопьется, научится сквернословить, будет околевать с голоду... В сапожники, а ведь он сын коллежского асессора, благородной крови... Он плоть и кровь моя...»

Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца.

— Спит, — прошептал он. — Ишь ты, нос у подлеца с горбинкой, отцовский... Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец... Драма, брат... Ну, что ж, извини... Прости, брат... Так уж тебе, значит, на роду написано...

Коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, что по его щекам ползет что-то вроде мурашек... Он завернул младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу, до самой дачи Мелкина, в его

голове толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть.

«Будь я путевым, честным человеком,— думал он,— наплевал бы я на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на коленки и сказал: «Прости! Грешен! Терзай меня, но невинного младенца губить не будем. Деточек у нас нет; возьмем его к себе на воспитание!» Она добрая баба, согласилась бы... И было бы тогда мое дитя при мне... Эх!»

Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости... Ему представлялось, как он сидит у себя в зале и читает газету, а возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата; в то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу... В душе же, рядом с царапающею совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное...

Коллежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки...

— Прости, брат, меня, подлеца! — пробормотал он.— Не поминай лихом!

Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал:

— Э, была не была! Плевать я на все хотел! Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят!

Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад.

«Пускай говорят, что хотят,— думал он.— Пойду сейчас, стану на коленки и скажу: «Анна Филипповна!» Она баба добрая, поймет... И будем мы воспитывать... Ежели он мальчик, то назовем — Владимир, а ежели он девочка, то Анной... По крайности в старости будет утешение...»

И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полный надежд и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени...

— Анна Филипповна! — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол.— Не вели казнить, вели слово вымолвить... Грешен! Это мое дитя... Ты Агнюшку помнишь, так вот... нечистый попутал...

И не помня себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил и как высеченный побежал на чистый воздух...

«Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня,— думал он.— Дам ей прийти в чувство и одуматься...»

Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами... Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами.

— Вот история, скажи на милость,— пробормотал он усмехаясь.— Приходила сейчас, Семен Эрастыч, сюда баба, прачка Аксинья. Положила, дура, своего ребенка на крыльце, на улице, и покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка... Вот оказия!

— Что? Что ты говоришь? — крикнул во все горло Мигуев.

Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул.

— Извините, Семен Эрастыч,— сказал он,— но таперича время дачное... без эстого нельзя... без бабы то есть...

И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крикнул и продолжал:

— Оно, конечно, грех, да ведь что поделаешь... Вы не приказывали во двор чужих баб пущать, оно точно, да ведь где ж своих-то взять. Прежде, когда жила Агнюшка, не пускал чужих, потому — своя была, а те перя, сами изволите видеть... без чужих не обойдешься... И при Агнюшке, это точно, беспорядков не было, потому...

— Пошел вон, мерзавец! — крикнул на него Мигуев, затопал ногами и пошел назад в комнаты.

Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца...

— Ну, ну... — забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой.— Я пошутил... Это не мой, а... а прачки Аксиньи. Я... я пошутил... Снеси его дворнику.

ИЗ ЗАПИСОК ВСПЫЛЬЧИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю финансовое право и пишу диссертацию под заглавием: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей.

Утро. Десять часов. Моя тапал наливает мне стакан кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончик, чтобы тотчас же приняться за диссертацию. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила и вывожу заглавие: «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу: «Исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от...»

Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька или Варенька, что, впрочем, решительно все равно. Она что-то ищет, делает вид, что не замечает меня, и напевает:

Помнишь ли ты тот напев, неги полный...

Я прочитываю то, что написал, хочу продолжать, но тут девица делает вид, что заметила меня, и говорит печальным голосом:

— Здравствуйте, Николай Андреич! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла боль-бошку с браслета!

Перечитываю еще раз начало своей диссертации, поправляю хвостик у буквы «б» и хочу продолжать, но девица не унимается.

— Николай Андреич,— говорит она,— будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна.

Делать нечего, кладу перо и схожу вниз. Наденька или Варенька берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче.

Когда на мою долю выпадает обязанность ходить под руку с дамой или девицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючком, на который повесили большую шубу; Наденька же или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дед ее был армянин), обладает способностью нависать на вашу руку всю тяжестью своего тела и, как пиявка, прижиматься к боку. И так мы идем... Проходя мимо Карелиных, я вижу большую собаку, которая напоминает мне о собачьем налоге. Я с тоской вспоминаю о начале труде и вздыхаю.

— О чем вы вздыхаете? — спрашивает Наденька или Варенька и сама испускает вздох.

Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовут, кажется, Машенькой) откуда-то вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану.

— Послушайте,— говорит она, останавливаясь,— я знаю, отчего вы вздыхаете. Вы любите, да! Но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас! За вашу любовь она не может платить вам тем же, но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому?

Нос Машеньки краснеет и пухнет, глаза наливаются слезами; она, по-видимому, ждет от меня ответа, но, к счастью, мы уже пришли... На террасе сидит Машенькина татап, женщина добрая, но с предрассудками; взглянув на взволнованное лицо дочери, она

останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать: «Ах, молодежь, даже скрыть не умеете!» Кроме нее, на террасе сидят несколько разноцветных девиц и между ними мой сосед по даче, отставной офицер, раненный в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет «Мемуары военного человека». Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать: «Я родился в...», как под балкончик является какая-нибудь Варенька или Машенька, и раненый раб божий берется под стражу.

Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцветные девицы с визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить.

Разноцветные девицы говорят на тему о мужчинах. Такой-то хорошенький, такой-то красив, но не симпатичен, третий некрасив, но симпатичен, четвертый был бы недурен, если бы его нос не походил на наперсток, и т. д.

— А вы, m-g Nicolas, — обращается ко мне Варенькина татап, — некрасивы, но симпатичны... В вашем лице что-то есть... Впрочем, — вздыхает она, — в мужчине главное не красота, а ум...

Девушки вздыхают и потупляют взоры... Они тоже согласны, что в мужчине главное не красота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами — целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, нечего сказать!

— Впрочем, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами, — вздыхает Наденькина татап, как бы подкрепляя какую-то свою тайную мысль.

А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Покончив с мужчинами, девицы говорят о любви. Пос-

ле длинного разговора о любви одна из девиц встает и уходит. Оставшиеся начинают перемывать косточки ушедшей. Все находят, что она глупа, несносна, безобразна, что у нее лопатка не на месте.

Но вот, слава богу, идет наконец горничная, посланная моею татап, и зовет меня обедать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина татап, сама Варенька и разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь... В душе моей кипит ненависть, я чувствую, что еще минута и — я за себя не ручаюсь, произойдет взрыв, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. И я повинуюсь.

Садимся обедать. Раненый офицер, у которого от раны в висок образовалось сведение челюстей, ест с таким видом, как будто бы он зануздан и имеет во рту удила. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком, жареная курица и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина татап, сжимает мои руки и говорит задыхаясь:

— Но вы не отчаивайтесь, Nicolas... Это такое сердце... такое сердце!

Идем в лес по грибы... Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю.

Входим в лес.

— Послушайте, m-g Nicolas,— вздыхает Наденька,— отчего вы так грустны? Отчего вы молчите?

Странная девушка: о чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего?

— Ну, скажите что-нибудь...— просит она.

Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю:

— Лесоистребление приносит громадный вред России...

— Nicolas! — вздыхает Варенька, и нос ее краснеет.— Nicolas, я вижу, вы избегаете откровенного разговора... Вы как будто желаете казнить своим молчанием... Вам не отвечают на ваше чувство, и вы хотите страдать молча, в одиночку... это ужасно, Nicolas! — восклицает она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, как ее нос начинает пухнуть.— Что бы вы сказали, если бы та девушка, которую вы любите, предложила вам вечную дружбу?

Я бормочу что-то несвязное, потому что решительно не знаю, что сказать ей... Помилуйте: во-первых, никакой девушки я не люблю и, во-вторых, для чего бы мне могла понадобиться вечная дружба? В-третьих, я очень вспыльчив. Машенька или Варенька закрывает лицо руками и говорит вполголоса, как бы про себя:

— Он молчит... Очевидно, он хочет жертвы с моей стороны. Не могу же я любить его, если я все еще люблю другого! Впрочем... я подумаю... Хорошо, я подумаю... Я соберу все силы моей души и, быть может, ценою своего счастья спасу этого человека от страданий!

Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идем дальше и собираем грибы. Все время молчим. На лице у Наденьки выражение душевной борьбы. Слышен лай собак: это мне напоминает о моей диссертации, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьев я вижу раненого офицера. Бедняга мучительно хромает направо и налево: справа у него раненое бедро, слева висит одна из разноцветных девиц. Лицо выражает покорность судьбе.

Из леса идем обратно на дачу пить чай, затем играем в крокет и слушаем, как одна из разноцветных девиц поет романс: «Нет, не любишь ты! Нет! Нет!..» При слове «нет» она кривит рот до самого уха.

— Charmant! ¹ — стонут остальные девицы.— Charmant!

¹ Очаровательно! (франц.).

Наступает вечер. Из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе тишина и неприятно пахнет свежим сеном. Беру шляпу и хочу уходить.

— Мне нужно вам сообщить кое-что,— значительно шепчет мне Машенька.— Не уходите.

Предчувствую что-то недоброе, но из деликатности остаюсь. Машенька берет меня под руку и ведет куда-то по аллее. Теперь уж вся фигура ее выражает борьбу. Она бледна, тяжело дышит и, кажется, намерена оторвать у меня правую руку. Что с ней?

— Послушайте...— бормочет она.— Нет, не могу... Нет...

Она хочет что-то сказать, но колеблется. Но вот по лицу ее я вижу, что она решилась. Сверкнув глазами, с опухшим носом, она хватает меня за руку и говорит быстро:

— Nicolas, я ваша! Любить вас не могу, но обещаю вам верность!

Затем она прижимается к моей груди и вдруг отскакивает.

— Кто-то идет...— шепчет она.— Прощай... Завтра в одиннадцать часов буду в беседке... Прощай!

И она исчезает. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебиение, я иду к себе домой. Меня ждет «Прошедшее и будущее собачьего налога», но работать я уже не могу. Я взбешен. Можно даже сказать, я ужасен. Черт возьми, я не позволю обращаться со мной, как с мальчишкой! Я вспыльчив, и шутить со мной опасно! Когда входит ко мне горничная звать меня к ужину, я кричу ей: «Подите вон!» Такая вспыльчивость обещает мало хорошего.

На другой день утром. Погода дачная, то есть температура ниже нуля, резкий холодный ветер, дождь, грязь и запах нафталина, потому что моя мама повывнимала из сундука свои салоны. Чертовское утро. Это как раз 7-е августа 1887 года, когда было затмение солнца. Надо вам заметить, что во время затмения каждый из нас может принести громадную пользу, не будучи астрономом. Так, каждый из нас может: 1) определить диаметр солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измерить температуру, 4) наблюдать в

момент затмения животных и растения, 5) записать собственные впечатления и т. д. Это так важно, что я пока оставил в стороне «Прошедшее и будущее собачьего налога» и решил наблюдать затмение. Все мы встали очень рано. Весь предстоящий труд я поделил так: я определю диаметр солнца и луны, раненый офицер нарисует корону, все же остальное возьмут на себя Машенька и разноцветные девицы. Вот все мы собрались и ждем.

— Отчего бывает затмение? — спрашивает Машенька.

Я отвечаю:

— Солнечные затмения происходят в том случае, когда луна, обращаясь в плоскости эклиптики, помещается на линии, соединяющей центры солнца и земли.

— А что значит эклиптика?

Я объясняю. Машенька, внимательно выслушав, спрашивает:

— Можно ли сквозь копченое стекло увидеть линию, соединяющую центры солнца и земли?

Я отвечаю ей, что эта линия проводится умственно.

— Если она умственная, — недоумевает Варенька, — то как же на ней может поместиться луна?

Не отвечаю. Я чувствую, как от этого наивного вопроса начинает увеличиваться моя печень.

— Все это вздор, — говорит Варенькина татапа. — Нельзя знать того, что будет, и к тому же вы ни разу не были на небе, почему же вы знаете, что будет с луной и солнцем? Все это фантазии.

Но вот черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятение. Коровы, овцы и лошади, задржав хвосты и ревя, в страхе носились по полю. Собаки выли. Клобы, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и начали кусать тех, кто спал. Дьякон, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный, ночевавший не дома, а у

одной дачницы, выскочил в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом:

— Спасайся, кто может!

Многие дачницы, даже молодые и красивые, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев башмаков. Произошло еще много такого, чего я не решусь рассказать.

— Ах, как страшно! — визжат разноцветные девицы. — Ах! Это ужасно!

— Mesdames¹, наблюдайте! — кричу я им. — Время дорого!

А сам я тороплюсь, измеряю диаметр... Вспоминаю о короне и ищу глазами раненого офицера. Он стоит и ничего не делает.

— Что же вы? — кричу я. — А корона?

Он пожимает плечами и беспомощно указывает мне глазами на свои руки. У бедняги на обе руки нависли разноцветные девицы, жмутся к нему от страха и мешают работать. Беру карандаш и записываю время с секундами. Это важно. Записываю географическое положение наблюдательного пункта. Это тоже важно. Хочу определить диаметр, но в это время Машенька берет меня за руку и говорит:

— Не забудьте же, сегодня в одиннадцать часов!

Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюдения, но Варенька судорожно берет меня под руку и прижимается к моему боку. Карандаш, стекла, чертежи — все это валится на траву. Черт знает что! Пора же наконец понять этой девушке, что я вспыльчив, что я, всплыв, становлюсь бешеным и тогда не могу за себя ручаться!

Хочу я продолжать, но затмение уже кончилось!

— Взгляните на меня! — шепчет она нежно.

О, это уже верх издевательства! Согласитесь, что такая игра человеческим терпением может кончиться только худом. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издеваться надо мною и, черт подери, когда я взбешен,

¹ Сударыни (франц.).

никому не советую близко подходить ко мне, черт возьми совсем! Я готов на все!

Одна из девиц, вероятно, заметив по моему лицу, что я взбешен, говорит, очевидно, с той целью, чтобы успокоить меня:

— А я, Николай Андреевич, исполнила ваше поручение. Я наблюдала млекопитающих. Я видела, как перед затмением серая собака погналась за кошкой и потом долго виляла хвостом.

Так из затмения ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончик работать. Раненый офицер рискнул выйти на свой балкон и даже написал: «Я родился в...», и теперь я вижу в окно, как одна из разноцветных девиц тащит его к себе на дачу. Работать я не могу, потому что все еще взбешен и чувствую сердцебиение. В беседку я не иду. Это невежливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! В двенадцать часов получаю письмо от Машеньки; в письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты»... В час получаю другое письмо, в два — третье... Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю, как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине: «я вас не люблю» — так же неделикатно, как сказать писателю: «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Вареньке свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя.

В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает, бросается ко мне на шею и говорит:

— Наконец-то! Ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь... Я все думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то... полюблю тебя...

Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор.

Говорю о браке индусов и египтян, затем перехожу к позднейшим временам; несколько мыслей из Шопенгауэра. Машенька слушает со вниманием, но вдруг, по странной непоследовательности идей, находит нужным прервать меня.

— Nicolas, поцелуй меня! — говорит она.

Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Не довольствуясь моим поцелуем, Варенька вскакивает и порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывается Машенькина тапап... Она делает испуганное лицо, говорит кому-то «тссс!» и исчезает, как Мефистофель в грюме.

Смущенный и взбешенный, я возвращаюсь к себе на дачу. Дома я застаю Варенькину тапап, которая со слезами на глазах обнимает мою тапап, а моя тапап плачет и говорит:

— Я сама этого желала!

Затем — как вам это нравится? — Наденькина тапап подходит ко мне, обнимает меня и говорит:

— Бог вас благословит! Ты же смотри, люби ее... Помни, что для тебя она приносит жертву...

И теперь меня женят. В то время как я пишу эти строки, над моей душой стоят шафера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера! Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться! Черт возьми, вы увидите, что будет дальше! Везти под венец вспыльчивого, взбешенного человека — это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъяренному тигру. Увидим, увидим, что будет!

Итак, я женат. Все меня поздравляют, и Варенька все жметя ко мне и говорит:

— Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!

И при этом у нее пухнет нос.

Узнал от шаферов, что раненый офицер ловким манером избежал Гименея. Он представил разноцветной

девице медицинское свидетельство, что благодаря ране в висок он умственно ненормален, а потому по закону не имеет права жениться. Идея! Я тоже мог бы представить свидетельство. Мой дядя пил запоем, другой дядя был очень рассеян (однажды вместо шапки надел себе на голову дамскую муфту), тетка много играла на рояли и при встрече с мужчинами показывала им язык. К тому же еще мой в высшей степени вспыльчивый характер — очень подозрительный симптом. Но почему хорошие идеи приходят так поздно? Почему?

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Путевой набросок

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольне, в виде предисловия, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслед за этим пробили двенадцать. Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой Горы и огороженный, как стеною, высокими гостинными корпусами, теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрение, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во все стороны черные длиннополые послушники; по возам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон,— и все это в густых сумерках принимало самые причудливые, капризные формы: то поднятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья... Слышались говор, фырканье и жеванье лошадей, детский писк, скрип. В ворота входили новые толпы и въезжали запоздавшие телеги.

Сосны, которые громоздились на отвесной горе одна над другой и склонялись к крыше гостинного кор-

пуса, глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались; в их темной чаше, не умолкая, кричали кукушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает, все чего-то ищут и не находят и что этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда-нибудь разъехаться.

К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклоь более десяти тысяч. Были битком набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Те, которые явились к ночи, в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи, жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и позднею ночью они одинаково производили впечатление людей, куда-то спешащих и чем-то встревоженных, лица их. несмотря на крайнее изнеможение, одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движения быстры... Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться; кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывает служба, где продаются просфоры и т. д. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещалось не иначе, как с греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мешанка, одетая «благородно», не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы: «Батюшка, благословите кваску! Благословите сенца!» Или же: «Батюшка, можно мне после исповеди воды напиться?» И послушник должен был выдавать квас, сена или же отвечать: «Обратитесь, матушка, к духовнику. Мы не имеем власти разрешать». Следовал новый вопрос: «А где духовник?» И нужно было объяснять, где келия духовника... При такой хлопотли-

вой деятельности хватало еще времени ходить в церковь на службу, служить на дворянской половине и пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостиник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье.

— Господин,— остановил меня гостиник,— будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет— просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожигатель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячий замочек, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием «Размышление о смерти» изображала коленопреклоненного монаха, который глядел в гроб и на лежавший в нем скелет; за спиной монаха стоял другой скелет покрупнее и с косою.

— Кости такие не бывают,— сказал мой сожигатель, указывая на то место скелета, где должен быть таз.— Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта,— добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище.

Пока я искал спички и зажигал свечу, он еще раз вздохнул и сказал:

— В Харькове я несколько раз бывал в анатомическом театре и видел кости. Был даже в мертвецкой. Я не стесняю вас?

Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь занятый комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против

друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два,— значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю.

— Впрочем, скоро зазвонят к обеду,— сказал он,— и мне недолго придется стеснять вас.

Все еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватую походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда саловая свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по-городски во все серенькое и дешевое и, как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем паче за рабочего, а глядя на миловидное лицо и детские, ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду, или за бывших певчих, потерявших голос... Было в его лице что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно,— я никак не мог ни понять, ни вспомнить.

Он долго молчал и о чем-то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечания насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его присутствию. Вытащив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно:

— Извините, я вас побеспокою... У вас нет ножа?

Я дал ему нож.

— Колбаса отвратительная,— поморщился он, отрезывая себе кусочек.— В здешней лавочке продают дрянь, но дерут ужасно... Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

В его «одолжил» и «кушать» слышалось тоже что-

то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице, но что именно, я все еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно была ужасная; чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цепной собаки. Работая челюстями, мы разговорились. Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы.

— Здешний устав приближается к афонскому,— сказал я,— но на Афоне обыкновенная всеобщая продолжаетеся десять часов, а под большие праздники — четырнадцать. Вот там бы вам помолиться!

— Да! — сказал мой сожитель и покрутил головой.— Я здесь три недели живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... В будни в двенадцать часов звонят к заутрене, в пять часов к ранней обедне, в девять — к поздней. Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, правила, вечерни... А когда я говел, так просто падал от утомления.— Он вздохнул и продолжал: — А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как-то, знаете ли, совестно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

— Завтра вечером уезжаю.

— А я еще две недели проживу.

— Но здесь, кажется, не принято так долго жить? — сказал я.

— Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это верно. Но для меня монахи делают исключение и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный.

— То есть?

— Я еврей, выкрест... Недавно принял православие.

Теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во

время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам, понял я и «одолжил» и «кушать»... Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Ивановичем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркаска, где принимал православие.

Одолев колбасу, Александр Иванович встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию.

— С самого раннего детства я питал любовь к уче-
нию,— начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком-то умершем великом человеке.— Мои родители — бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный, учения не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда... Но всю жизнь биться из-за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался...

Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь еще выше и поглядел на меня как-то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: «Теперь наконец вы убе-

дились, что я умный человек?» Поговорив еще о фанатизме и о своем непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал:

— Что было делать! Я взял и бежал в Смоленск. А там у меня был двоюродный брат, который лудил посуду и делал жестянки. Понятно, я нанялся к нему в подмастерья, так как жить мне было нечем, ходил я босиком и оборванный... Думал так, что днем буду работать, а ночью и по субботам учиться. Я так и делал, но узнала полиция, что я без паспорта, и отправила меня по этапу назад к отцу...

Александр Иваныч пожал одним плечом и вздохнул.

— Что будешь делать! — продолжал он, и чем ярче воскресало в нем прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент. — Родители наказали меня и отдали дедушке, старому еврею-фанатику, на исправление. Но я ночью ушел в Шклов. А когда в Шклове ловил меня мой дядя, я пошел в Могилев; там пробыл два дня и с тозарищем пошел в Стародуб.

Далее рассказчик перебрал в своих воспоминаниях Гомель, Киев, Белую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконец, добрался до Одессы.

— В Одессе я целую неделю ходил без дела и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходят по городу и покупают старое платье. Я уж умел тогда читать и писать, знал арифметику до дробей и хотел поступить куда-нибудь учиться, но не было средств. Что делать! Полгода ходил я по Одессе и покупал старое платье, но евреи, мошенники, не дали мне жалованья, я обиделся и ушел. Потом на пароходе я уехал в Перекоп.

— Зачем?

— Так. Один грек обещал мне дать там место. Одним словом, до шестнадцати лет ходил я так, без определенного дела и без почвы, пока не попал в Полтаву. Тут один студент еврей узнал, что я желаю учиться, и дал мне письмо к харьковским студентам. Конечно, я пошел в Харьков. Студенты посоветовались и начали готовить меня в техническое училище.

И знаете, я вам скажу, студенты мне попались такие, что я не забуду их до самой смерти. Не говорю уж про то, что они дали мне квартиру и кусок хлеба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни. Между ними были умные, замечательные люди, которые уж и теперь известны. Например, вы слышали про Грумахера?

— Нет, не слышал.

— Не слышали... Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора. Ну, я много читал, участвовал в студенческих кружках, где не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но так как для технического училища нужно знать весь гимназический курс математики, то Грумахер посоветовал мне готовиться в ветеринарный институт, куда принимают из шестого класса гимназии. Конечно, я стал готовиться. Я не желал быть ветеринаром, но мне говорили, что кончивших курс в институте принимают без экзамена на третий курс медицинского факультета. Я выучил всего Кюнера, уж читал аливервер¹ Корнелия Непота и по греческому языку прошел почти всего Курциуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъехались, неопределенность положения, а тут еще я услышал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему Харькову. Тогда я взял и уехал. Что будешь делать! Но, к счастью, я узнал, что здесь на Донецкой дороге есть горное училище. Отчего не поступить? Ведь вы знаете, горное училище дает права штегера — должность великолепная, а я знаю шахты, где штегера получают полторы тысячи в год. Отлично... Я поступил...

Александр Иванович с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих... Затем он рассказал страшную историю, похожую на вымысел, но которой я не мог не поверить, потому что уж слишком искренен был тон рассказ-

¹ с листа, без подготовки (от франц. *à livre ouvert*).

чика и слишком откровенно выражение ужаса на его семитическом лице.

— А во время практических занятий какой однажды был со мной случай,— рассказывал он, подняв обе брови.— Был я на одних шахтах тут, в Донецком округе. А вы ведь видели, как люди спускаются в самый рудник. Помните, когда гонят лошадей и приводят в движение ворот, то по блоку одна бадья спускается в рудник, а другая поднимается, когда же начнут поднимать первую, тогда опускается вторая — все равно, как в колодце с двумя ушатами. Ну, сел я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз и, можете себе представить, вдруг слышу — тррр! Цепь разорвалась, и я полетел к черту вместе с бадьей и обрывком цепи... Упал с трехсаженной вышины прямо грудью и животом, а бадья, как более тяжелая вещь, упала раньше меня, и я ударился вот этим плечом об ее ребро. Лежу, знаете, огорошенный, думаю, что убится насмерть, и вдруг вижу — новая беда: другая бадья, что поднималась вверх, потеряла противовес и с грохотом опускается вниз прямо на меня... Что будете делать? Видя такой факт, я прижался к стене, съежился, жду, что вот-вот сейчас эта бадья со всего размаха трахнет меня по голове, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилев, и Грумахера... молюсь богу, но, к счастью... Даже вспомнить страшно.

Александр Иванович насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб.

— Но, к счастью, она упала возле и только слегка зацепила этот бок... Содрала, знаете, с этого бока сюртук, сорочку и кожу... Сила страшная. Потом я был без чувств. Меня вытащили и отправили в больницу. Лечился я четыре месяца, и доктора сказали, что у меня будет чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болит и страшное психологическое расстройство... Когда я остаюсь один в комнате, мне бывает очень страшно. Конечно, при таком здоровье уже нельзя быть штегером. Пришлось бросить горное училище..

— А теперь чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Я держал экзамен на сельского учителя.

Теперь ведь я православный и имею право быть учителем. В Новочеркасске, где я крестился, во мне приняли большое участие и обещали место в церковно-приходской школе. Через две недели поеду туда и опять буду просить.

Александр Иваныч снял пальто и остался в одной сорочке с вышитым русским воротом и с шерстяным поясом.

— Спать пора,— сказал он, кладя в изголовье свое пальто и зевая.— Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить... Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то из иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты. Новый завет есть естественное продолжение Ветхого. Не правда ли?

Я стал выведывать у него причины, побудившие его на такой серьезный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что «Новый завет есть естественное продолжение Ветхого» — фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса. Как я ни бился и ни хитрил, причины остались для меня темными. Если можно было верить, что он, как утверждал, принял православие по убеждению, то в чем состояло и на чем зиждилось это убеждение — из его слов понять было невозможно; предположить же, что он переменял веру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежда, проживание на монастырских хлебах и неопрделенное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух, который бросал его, как щепку, из города в город и который он, по общепринятому шаблону, называл стремлением к просвещению.

Перед тем как ложиться спать, я вышел в коридор, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоял среди номера и испуганно глядел на меня. Лицо его было бледно-серо, и на лбу блестел пот.

— У меня ужасно нервы расстроены,— пробормотал он, болезненно улыбаясь,— ужасно! Сильное психологическое расстройство. Впрочем, все это пустяки.

И он опять стал толковать о том, что Новый завет есть естественное продолжение Ветхого, что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменяв религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня помощи...

Между тем на сальной свечке нагорел большой, неуклюжий фитиль. Уже светало. В хмурое, посиневшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рекой. Нужно было спать.

— Завтра здесь будет очень интересно,— сказал мой сожитель, когда я потушил свечку и лег.— После ранней обедни крестный ход поедет на лодках из монастыря в скит.

Подняв правую бровь и склонив голову набок, он помолился образу и, не раздеваясь, лег на свой диванчик.

— Да,— сказал он, повернувшись на другой бок.

— Что — да? — спросил я.

— Когда я в Новочеркасске принял православие, моя мамаша искала меня в Ростове. Она чувствовала, что я хочу переменить веру.— Он вздохнул и продолжал: — Уже шесть лет как я не был там, в Могилевской губернии. Сестра, должно быть, уже замуж вышла.

Помолчав немного и видя, что я еще не уснул, он стал тихо говорить о том, что скорс, слава богу, ему дадут место, и он наконец будет иметь свой угол,

определенное положение, определенную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думал, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи. Об учительском месте он мечтал вслух, как об обетованной земле; подобно большинству людей, он питал предубеждение к скитальчеству и считал его чем-то необыкновенным, чуждым и случайным, как болезнь, и искал спасения в обыкновенной будничной жизни. В тоне его голоса слышались сознание своей ненормальности и сожаление. Он как будто оправдывался и извинялся.

Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если сумеешь представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекаати-поле, ища где лучше, шагало теперь по большим и проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоянных дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горячими слезами, прозвонил колокольчик и послушник прокричал несколько раз:

— Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было в номере. Было солнечно, и за окном шумел народ. Выйдя, я узнал, что обедня уже кончилась и крестный ход давно уже отправился в скит. Народ толпами бродил по берегу и, чувствуя себя праздным, не знал, чем занять себя; есть и пить было нельзя, так как в скигу еще не кончилась поздняя обедня; монастырские лавки, где богомольцы так любят толкаться и прицениваться, были еще заперты. Многие, несмотря на утомление, от скуки брели в скит. Тропинка от монастыря до скита, куда я отправился,

змеей вилась по высокому крутому берегу то вверх, то вниз, огибая дубы и сосны. Внизу блестел Донец и отражал в себе солнце, вверху белел меловой скалистый берег и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен. которые, нависая друг над другом, как-то ухитряются расти почти на отвесной скале и не падать. По тропинке гуськом тянулись богомольцы. Всего больше было хохлов из соседних уездов, но было много и дальних, пришедших пешком из Курской и Орловской губерний; в пестрой веренице попадались и мариупольские греки-хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко не похожие на тех своих хилых и вырождающихся единоплеменников, которые наполняют наши южные приморские города; были туг и донцы с красными лампасами, и тавричане, выселенцы из Таврической губернии. Было здесь много богомольцев и неопределенного типа вроде моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, пельзя было понять ни по лицам, ни по одежде, ни по речам.

Тропинка оканчивалась у маленького плота, от которого, прорезывая гору, шло влево к скиту неширокое шоссе. У плота стояли две большие тяжелые лодки, угрюмого вида, вроде тех новозеландских пирога, которые можно видеть в книгах Жюль Верна. Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства и певчих, другая, без ковров — для публики. Когда крестный ход плыл обратно в монастырь, я находился в числе избранных, сумевших протискаться во вторую. Избранных набралось так много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу от ломки. Путь казался прекрасным. Оба берега — один высокий, крутой, белый, с нависшими соснами и дубами, с народом, спешившим обратно по тропинке, и другой — отлогий, с зелеными лугами и дубовой рощей, — залитые светом, имели такой счастливый и восторженный вид, как будто только им одним было обязано майское утро своею прелестью. Отражение солнца в быстро текущем Донце дрожало, расползлось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах

духовенства, на хоругвях, в брызгах, бросаемых веслами. Пение пасхального канона, колокольный звон, удары весел по воде, крик птиц — все это мешалось в воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругвями плыла впереди. На ее корме неподвижно, как статуя, стоял черный послушник.

Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Иваныча. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью.

Когда немного погодя мы сидели в номере и пили чай, он все еще сиял довольством; лицо его говорило, что он доволен и чаем и мной, вполне ценит мою интеллигентность, но что и сам не ударит лицом в грязь, если речь пойдет о чем-нибудь этаком...

— Скажите, какую бы мне почитать психологию? — начал он умный разговор, сильно морща нос.

— А для чего вам?

— Без знания психологии нельзя быть учителем. Прежде чем учить мальчика, я должен узнать его душу.

Я сказал ему, что одной психологии мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и к тому же психология для такого педагога, который еще не усвоил себе технических приемов обучения грамоте и арифметике, является такою же роскошью, как высшая математика. Он охотно согласился со мной и стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя, как трудно искоренить в мальчике склонность к злу и суеверию, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религию, идею личности, свободы и проч. В ответ на это я сказал ему что-то. Он опять согласился. Вообще он очень охотно соглашался. Очевидно, все «умное» непрочно сидело в его голове.

До самого моего отъезда мы вместе слонялись около монастыря и коротали длинный жаркий день. Он не отставал от меня ни на шаг; привязался ли он ко мне, или же боялся одиночества, бог его знает!

Помню, мы сидели вместе под кустами желтой акации в одном из садиков, разбросанных по горе.

— Через две недели я уйду отсюда,— сказал он.— Пора!

— Вы пешком?

— Отсюда до Славянска пешком, потом по железной дороге до Никитовки. От Никитовки начинается ветвь Донецкой дороги. По этой ветви я до Хацепетовки дойду пешком, а там дальше провезет меня знакомый кондуктор.

Я вспомнил голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразил себе шагающего по ней Александра Иваныча с его сомнениями, тоской по родине и страхом одиночества... Он прочел на моем лице скуку и вздохнул.

— А сестра, должно быть, уже замуж вышла — подумал он вслух и тотчас же, желая отвязаться от грустных мыслей, указал на верхушку скалы и сказал:

— С этой горы Изюм видно.

Во время прогулки по горе с ним случилось маленькое несчастье: вероятно, спотыкнувшись, он порвал свои сарпинковые брюки и сбил с башмака подошву.

— Тс...— поморщился он, снимая башмак и показывая босую ногу без чулка.— Неприятно.. Это, знаете ли, такое осложнение, которое... Да!

Вертя перед глазами башмак и как бы не веря, что подошва погибла навеки, он долго морщился, вздыхал и причмокивал. У меня в чемодане были полуштиблеты старые, но модные, с острыми носами и тесемками; я брал их с собою на всякий случай и носил только в сырую погоду. Вернувшись в номер, я придумал фразу подипломатичнее и предложил ему эти полуштиблеты. Он принял и сказал важно:

— Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком.

Острые носы и тесемки полуштиблетов растрогали его, как ребенка, и даже изменили его планы.

— Теперь я пойду в Новочеркасск не через две недели, а через неделю,— размышлял он вслух.— В таких башмаках не совестно будет явиться к крестному

папаше. Я, собственно, не уезжал отсюда потому, что у меня приличной одежды нет...

Когда ящик выносил мой чемодан, вошел послушник с хорошим насмешливым лицом, чтобы подмести в номере. Александр Иваныч как-то заторопился, сконфузился и робко спросил у него:

— Мне здесь оставаться или в другое место идти?

Он не решался занять своею особою целый номер и, по-видимому, уже стыдился того, что жил на монастырских хлебах. Ему очень не хотелось расставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, он попросил позволения проводить меня.

Дорога из монастыря, прорытая к меловой горе и стоившая немалых трудов, шла вверх, в объезд горы почти спирально, по корням, под нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся с глаз Донец, за ним монастырский двор с тысячами людей, потом зеленые крыши... Оттого, что я поднимался, все казалось мне исчезающим в яме. Соборный крест, раскаленный от лучей заходящего солнца, ярко сверкнул в пропасти и исчез. Остались одни только сосны, дубы и белая дорога. Но вот коляска въехала на ровное поле, и все это осталось внизу и позади; Александр Иваныч спрыгнул и, грустно улыбнувшись, взглянув на меня в последний раз своими детскими глазами, стал спускаться вниз и исчез для меня навсегда...

Святогорские впечатления стали уже воспоминаниями, и я видел новое: ровное поле, беловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею ветряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяют махать крыльями,

ОТЕЦ

— Признаться, я выпивши... Извини, зашел дорогой в портерную и по случаю жары вынул две бутылочки. Жарко, брат!

Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку и вытер ею свое бритое испитое лицо.

— Я к тебе, Боренька, ангел мой, на минуточку,— продолжал он, не глядя на сына,— по весьма важному делу. Извини, может быть, помешал. Нет ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понимаешь ли... во! Хоть зарежь!

Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и с сослуживцами, которые вместе с ним сообща нанимали дачу. Через три минуты он вернулся и молча подал отцу десятирублевку. Тот, не поглядев, небрежно сунул ее в карман и сказал:

— Мерси. Ну, как живешь? Давно уж не видались.

— Да, давно. С самой святой.

— Раз пять собирался к тебе, да все некогда. То одно дело, то другое... просто смерть! Впрочем, вру... Все это я вру. Ты мне не верь, Боренька. Сказал — во вторник отдам десять рублей, тоже не верь. Ни одному моему слову не верь. Никаких у меня делов нет, а просто лень, пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тут я раза три

к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги спасибо, а письмам не верь: врал. Совестно мне обирать тебя, ангел мой; знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своим нахальством не поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебе всю правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видеть.

Прошла минута в молчании. Старик глубоко вздохнул и сказал:

— Угостил бы ты меня пивком, что ли.

Сын молча вышел, и за дверями опять послышался шепот. Когда немного погодя принесли пиво, старик при виде бутылок оживился и резко изменил свой тон.

— Был, братец ты мой, намерен я на скачках,— рассказывал он, делая испуганные глаза.— Нас было трое, и взяли мы в тотализаторе один трехрублевый билет на Шустрого. И спасибо этому Шустрому. На рубль нам выдали по тридцать два рубля. Не могу, брат, без скачек. Удовольствие благородное. Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим, неподвижным лицом, тихо ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться, он подошел к нему и сказал:

— На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узки. Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле.

— Пожалуй,— согласился старик, делая гримасу,— только за ту же цену, без уступок.

— Хорошо. Я тебе это займы даю.

Сын полез под кровать и достал оттуда новые штиблеты. Отец снял свои неуклюжие, бурые, очевидно, чужие сапоги и стал примеривать новую обувь.

— Как раз!— сказал он.— Ладно, пускай у меня остаются. А во вторник, когда получу пенсию, пришлю тебе за них. Впрочем, вру,— продолжал он, вдруг опять впадая в прежний слезливый тон.— И про тотализатор вру и про пенсию вру. И ты меня обманы-

ваешь, Боренька... Я ведь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ах, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервал его сын, чтобы переменить разговор.

— Да, брат, на новую. Каждый месяц перебираюсь. Моя бабенция со своим характером не может долго на одном месте ужиться.

— Я у вас был на старой квартире, хотел вас к себе на дачу пригласить. С вашим здоровьем вам не мешало бы пожить на чистом воздухе.

— Нет! — махнул рукой старик. — Баба не пустит, да и сам не хочу. Раз сто вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! В яме и околевать мне. Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму. Такая уж, знать, судьба. Навозного жука не затащишь на розу. Нет. Однако, братец, мне пора уж. Темно становится.

— Так постоит же, я вас провожу. Мне самому сегодня нужно в город.

Старик и молодой надели свои пальто и вышли. Когда немного погода они ехали на извозчике, было уже темно, и в окнах замелькали огни.

— Обобрал я тебя, Боренька! — бормотал отец. — Бедные, бедные дети! Должно быть, великое горе иметь такого отца! Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходит мое нахальство, боже мой! Сейчас вот я тебя обобрал, конфужу тебя своим пьяным видом, братьев твоих тоже обираю и конфужу, а поглядел бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера к моей бабенции соседи и всякая шваль, напился и я с ними и давай на чем свет стоит честить вас, моих деточек. И ругал я вас и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотел, видишь ли, пьяных баб разжалобить и разыграть из себя несчастного отца. Такая уж у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю беду на невинных детей взваливаю. Не могу я врать тебе, Боренька, и скрывать. Шел к тебе гоголем, а как

увидел твою кротость и милосердие твое, язык прилип к гортани и всю мою совесть вверх тормашкой перевернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чем-нибудь другом.

— Матерь божия, какие у меня дети! — продолжал старик, не слушая сына. — Какую господь мне роскошь послал! Таких бы детей не мне, непутевому, а настоящему бы человеку с душой и чувствами! Недостойн я!

Старик снял свой маленький картузик с пуговкой и несколько раз перекрестился.

— Слава тебе, господи! — вздохнул он, оглядываясь по сторонам и как бы ища образа. — Замечательные, редкие дети! Три у меня сына, и все как один. Трезвые, степенные, деловые, а какие умы! Извозчик, какие умы! У одного Григория ума столько, что на десять человек хватит. Он и по-французски, он и по-немецки, а говорит, так куда тебе твои адвокаты — заслушасься... Дети мои, дети, не верю я, что вы мои! Не верю! Ты у меня, Боренька, мученик. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мне без конца, хотя и знаешь, что деньги твои идут не на дело. Намедни присылал я тебе жалостное письмо, болезнь описывал свою, а ведь врал: деньги я у тебя на ром просил. А даешь ты мне потому, что боишься меня отказом оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученик. В четверг, братец ты мой, пошел я к нему в присутствии пьяный, грязный, оборванный... водкой от меня, как из погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лезу к нему с подлыми разговорами, а тут кругом его товарищи, начальство, просители. Осрамил на всю жизнь. А он хоть бы тебе капельку сконфузился, только чуточку побледнел, но улыбнулся и подошел ко мне как ни в чем не бывало, даже товарищам отрекомендовал. Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул! Обираю я его пуще, чем тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, ведь тоже мученик! Женился он, знаешь, на полковницкой дочке из аристократического круга, приданое взял... Кажется, не до меня ему. Нет, брат, как

только женился, после свадьбы со своею молодою супругой мне первому визит сделал... в моей яме... Ей-богу!

Старик всхлипнул и тотчас же засмеялся.

— А в ту пору, как нарочно, у нас тертую редьку с квасом ели и рыбу жарили, и такая вонь была в квартире, что черту тошно! Я лежал выпивши, бабенция моя выскочила к молодым с красною рожей... безобразие, одним словом. А Саша все превозмог.

— Да, наш Саша хороший человек, — сказал Борис.

— Великолепнейший! Все вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я вас, терзаю, срамлию, обирую, а за всю жизнь не слышал от вас ни одного слова упрека, не видал ни одного косога взгляда. Добро бы, отец порядочный был, а то — тьфу! Не видали вы от меня ничего, кроме зла. Я человек нехороший, распутный... Теперь еще, слава богу, присмирел и характера у меня нет, а ведь прежде, когда вы маленькими были, во мне положительность сидела, характер. Что я ни делал и ни говорил, все казалось мне, как будто так и надо. Бывало, вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Целую ночь ем ее поедом и думаю, что это так и надо; бывало, утром вы встанете и в гимназию уйдете, а я все еще над ней свой характер показываю. Царство небесное, замучил я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы из гимназии, а я сплю, вы не смеете обедать, пока я не встану. За обедом опять музыка. Небось помнишь. Не дай бог никому такого отца. Вам меня бог на подвиг послал. Именно, на подвиг! Тяните уж, детки, до конца. Чти отца твоего и долголетен будешь. За ваш подвиг, может, господь пошлет вам жизнь долгую. Извозчик, стой!

Старик спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Через полчаса он вернулся, пьяно крикнул и сел рядом с сыном.

— А где теперь Соня? — спросил он. — Все еще в пансионе?

— Нет, в мае она кончила и теперь у Сашиной тещи живет.

— Во! — удивился старик. — Молодец девка, стало быть, в братьев пошла. Эх, нету, Боренька, матери, некому утешаться. Послушай, Боренька, она... она знает, как я живу? А?

Борис ничего не ответил. Прошло минут пять в глухом молчании. Старик всхлипнул, утерся своей тряпочкой и сказал:

— Люблю я ее, Боренька! Ведь единственная дочь, а в старости лучшего утешения нет, как дочка. Повидаться бы мне с ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей-богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала вас, чтоб повидаться.

— Ей-богу? Вот дети! Извозчик, а? Устрой, Боренька, голубчик! Она теперь барышня, деликатес, консуме и все такое, на благородный манер, и я не желаю показываться ей в таком подлейшем виде. Мы, Боренька, всю эту механику так устроим. Денька три я воздержусь от спиртуозов, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло в порядок, потом приду к тебе, и ты дашь мне на время какой-нибудь свой костюмчик; побреюсь я, подстригусь, потом ты съездишь и привезешь ее к себе. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчик, стой!

Старик опять спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Пока Борис доехал с ним до его квартиры, он еще раза два прыгал, и сын всякий раз молча и терпеливо ожидал его. Когда они, отпустив извозчика, пробирались длинным грязным двором к квартире «бабенции», старик принял в высшей степени сконфуженный и виноватый вид, стал робко кричать и причмокивать губами.

— Боренька,— сказал он заискивающим тоном,— если моя бабенция начнет говорить тебе что-нибудь такое, то ты не обращай внимания и... и обойдись с ней, знаешь, этак, поприветливей. Она у меня невежественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нее в груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный двор кончился, и Борис вошел в темные сени. Заскрипела дверь на блоке, пахнуло кухней и

самоварным дымом, слышались резкие голоса. Проходя из сеней через кухню, Борис видел только темный дым, веревку с развешанным бельем и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотые искры.

— А вот и моя келья,— сказал старик, нагибаясь и входя в маленькую комнату с низким потолком и с атмосферой, невыносимо душной от соседства с кухней.

Здесь за столом сидели какие-то три бабы и угощались. Увидев гостя, они переглянулись и перестали есть.

— Что ж, достал? — спросила сурово одна из них, по-видимому, сама «бабенция».

— Достал, достал,— забормотал старик.— Ну, Борис, милости просим, садись! У нас, брат, молодой человек, просто... Мы в простоте живем.

Он как-то без толку засуетился. Ему было совестно сына и в то же время, по-видимому, ему хотелось держать себя около баб, как всегда, «гоголем» и несчастным, брошенным отцом.

— Да, братец ты мой, молодой человек, мы живем просто, без затей,— бормотал он.— Мы люди простые, молодой человек... Мы не то, что вы, не любим пыль в глаза пускать. Да-с... Разве водки выпить?

Одна из баб (ей было совестно пить при чужом человеке) вздохнула и сказала:

— А я через грибы еще выпью... Такие грибы, что не захочешь, так выпьешь. Иван Герасимыч, пригласите их, может, и они выпьют!

Последнее слово она произнесла так: выпьют.

— Выпей, молодой человек! — сказал старик, не глядя на сына.— У нас, брат, вин и ликеров нет, мы попросту.

— Им у нас не нравятся! — вздохнула «бабенция».

— Ничего, ничего, он выпьет!

Чтобы не обидеть отца отказом, Борис взял рюмку и молча выпил. Когда принесли самовар, он молча, с меланхолическим лицом, в угоду старику, выпил две чашки противного чаю. Молча он слушал, как «бабенция» намеками говорила о том, что на этом свете есть

жестокие и безбожные дети, которые бросают своих родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь! — говорил подвыпивший старик, входя в свое обычное пьяное, возбужденное состояние.— Ты думаешь, я опустился, погряз, я жалок, а, по-моему, эта простая жизнь гораздо нормальнее твоей жизни, молодой человек. Ни в ком я не нуждаюсь и... и не намерен унижаться... Терпеть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядит на меня с сожалением.

После чаю он чистил селедку и посыпал ее луком с таким чувством, что даже на глазах у него выступили слезы умиления. Он опять заговорил о тотализаторе, о выигрышах, о какой-то шляпе из панамской соломы, за которую он вчера заплатил шестнадцать рублей. Лгал он с таким же аппетитом, с каким ел селедку и пил. Сын молча высидел час и стал прощаться.

— Не смею удерживать! — сказал надменно старик.— Извините, молодой человек, что я живу не так, как вам хочется!

Он хорохорился, с достоинством фыркал и подмигивал бабам.

— Прощайте-с, молодой человек! — говорил он, провожая сына до сеней.— Атанде!

В сенях же, где было темно, он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всхлипнул.

— Поглядеть бы мне Сонюшку! — зашептал он.— Устрой, Боренька, ангел мой! Я побреюсь, надену твой костюмчик... строгое лицо сделаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать.

Он робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса баб, задержал рыдание и сказал громко:

— Прощайте, молодой человек! Атанде!

ХОРОШИЙ КОНЕЦ

У обер-кондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная, крупичатая дама лет сорока, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил:

— Весьма приятно познакомиться. Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни. Мне, Любовь Григорьевна, уже пятьдесят два года, то есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояния хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам, между нами, что, кроме жалованья, я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного — своего домашнего очага и подруги жизни, и веду я свою жизнь как какой-нибудь кочующий венгерец, с места на место, без всякого удовольствия, и не с кем мне посоветоваться, а будучи болен, некому мне

даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имеет больше весу в обществе, чем холостой... Я человек образованного класса, при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль, все равно, как какой-нибудь ксендз. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игумена¹, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой.

— Хорошее дело! — вздохнула сваха.

— Человек я одинокий и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить.

— Это можно...

— Кушайте, покорнейше прошу..

Привычным жестом сваха поднесла рюмку корту, выпила и не поморщилась.

— Это можно,— повторила она.— А какую вам, Николай Николаич, невесту угодно?

— Мне-с? Какую судьба пошлет.

— Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус ест. Один любит брюнеток, другой блондинок.

— Видите ли, Любовь Григорьевна...— сказал Стычкин, солидно вздыхая.— Я человек положительный и с характером. Для меня красота и вообще видимость имеет второстепенную роль, потому что, сами знаете, с лица воды не пить и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри, то есть чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покорнейше прошу... Оно, конечно, весьма приятно, ежели жена будет из себя полненькая, но это для обоюдной фортуны не суть важно; главное —

¹ Искаженное Гименей — бог брака (греч. миф.).

ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она об себе большое понятие будет иметь и думать разные идеалы. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговицы, положим, пришить? Я образованного класса, с князем Канителиным, могу сказать, все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер. Мне нужна девушка попроще. Главнее же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил.

— Дело известное.

— Ну-с, теперь насчет существительного... Богатую мне не нужно. Я не позволю себе такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я желаю, чтоб не я женин хлеб ел, а чтоб она мой, чтоб она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно. Человек я хотя и со средствами и хотя я женюсь не из интереса, а по любви, но нельзя мне взять бедную, потому что, сами знаете, теперь все вздорожало и будут дети.

— Можно и с приданным сыскать,— сказала сваха.

— Кушайте, покорнейше прошу...

Помолчали минут пять. Сваха вздохнула, искоса поглядела на кондуктора и спросила:

— Ну, а того, батюшка... по холостой части тебе не требуется? Хороший есть товар. Одна французенка, а другая будет из гречанок. Очень стоящие.

Кондуктор подумал и сказал:

— Нет, благодарю вас. Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить: сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты?

— Мне немного надо. Дадите четвертную и матери на платье, как водится, и спасибо... А за приданое особо, это уж другой счет.

Стычкин скрестил на груди руки и стал молча думать. Подумав, он вздохнул и сказал:

— Это дорого...

— И нисколько не дорого, Николай Николаич! Прежде, бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле, а по нынешнему времени — какие наши

заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь две четвертных, и слава богу. И то, батюшка, не на свадьбах наживаем.

Стычкин с недоумением поглядел на сваху и пожал плечами.

— Гм!.. Да разве две четвертных мало? — спросил он.

— Стало быть, мало! В прежнее время мы побольше ста добывали, случалось.

— Гм!.. Я никак не ожидал, чтобы такими делами можно было зарабатывать такую сумму. Пятьдесят рублей! Не всякий мужчина столько получит! Кушайте, покорнейше прошу...

Сваха выпила и не поморщилась. Стычкин молча оглядел ее с ног до головы и сказал:

— Пятьдесят рублей... Это, значит, шестьсот рублей в год... Кушайте, покорнейше прошу... С такими, знаете ли, дивидентами вам, Любовь Григорьевна, не трудно и партию себе составить...

— Мне-то? — засмеялась сваха. — Я старая...

— Нисколько-с... И комплекция у вас этакая, и лицо полное, белое, и все прочее.

Сваха сконфузилась. Стычкин тоже сконфузился и сел рядом с ней.

— Вы еще весьма можете понравиться, — сказал он. — Ежели муж попадетя вам положительный, степенный, бережливый, то при его жалованье да с вашим заработком вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу...

— Бог знает, что вы говорите, Николай Николаич...

— Что ж? Я ничего...

Наступило молчание. Стычкин начал громко сморкаться, а сваха раскраснелась и, стыдливо глядя на него, спросила:

— А вы сколько получаете, Николай Николаич?

— Я-с? Семьдесят пять рублей, помимо наградных... Кроме того, мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев.

— Охотой занимаетесь?

— Нет-с, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры.

Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате.

— Мне молодой супруги не надо,— сказал он.— Я человек пожилой, и мне нужна, которая такая.. вроде как бы вы.. степенная и солидная... и вроде вашей комплекции...

— И бог знает, что вы говорите...— захихикала сваха, закрывая платком свое багровое лицо.

— Что ж тут долго думать? Вы мне по сердцу, и для меня вы подходящая в ваших качествах. Человек я положительный, трезвый, и ежели вам нравлюсь, то... чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение!

Сваха прослезилась, засмеялась и, в знак своего согласия, чокнулась со Стычкиным.

— Ну-с,— сказал счастливый обер-кондуктор,— теперь позвольте вам объяснить, какого я желаю от вас поведения и образа жизни... Я человек строгий, солидный, положительный, обо всем благородно понимаю и желаю, чтобы моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нее благодетель и первый человек.

Он сел и, глубоко вздохнув, стал излагать своей невесте взгляд на семейную жизнь и обязанности жены.

Был десятый час вечера. Кучер Степан, дворник Михайло, кучеров внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, семидесятилетний старик, приходивший каждый вечер во двор продавать селетки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. В открытую настежь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками, и только четыре окна одного из флигелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен к дверям, перекрещивались с тенями, падавшими от фонаря и игроков, дрожали... За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшни, были лошади. Пахло сеном, да от старого Никандра шел неприятный селечный запах.

В короли вышел дворник; он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок.

— Теперь, кому хочу, тому голову срублю,— сказал он.

Алешка, мальчик лет восьми, с белобрисой, давно не стриженной головой, у которого до короля не хватало только двух взяток, сердито и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился.

— Я, дед, под тебя буду ходить,— сказал он, задумываясь над картами.— Я знаю, у тебя дамка бубней.

— Ну, ну, дурачок, будет тебе думать! Ходи!

Алешка несмело пошел с бубнового валета. В это время со двора послышался звонок.

— А, чтоб тебя...— проворчал дворник, поднимаясь.— Иди, король, ворота отворять.

Когда он немного погодя вернулся, Алешка был уже принцем, селечодник — солдатом, а кучер — мужчином.

— Дело выходит дрянь,— сказал дворник, опять усаживаясь за карты.— Сейчас докторов выпустил. Не вытащили.

— Где им! Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора...

— Без памяти лежит,— продолжал дворник.— Должно, помрет. Алешка, не подглядывай в карты, песнок, а то за уши! Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор... Только что приехали. Вою этого, плачу — не приведи бог! Сказывают, один сын... Горе!

Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля.

— Завтра велено в участок,— сказал дворник.— Допрос будет... А я что знаю? Нешто я видел? Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит: «Опусти, говорит, в почтовый ящик». А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было, гулять пошли.. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из левольвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на весь двор голосит.

— Великий грех,— проговорил сиплым голосом селечодник и покрутил головой.— Великий грех!

— От большой науки,— сказал дворник, подбирая взятку.— Ум за разум зашел. Бывало, по ночам сидит и все бумаги пишет... Ходи, мужик!.. А хороший был барин. Из себя белый, чернявый, высокий!.. Порядочный был жилец.

— Будто всему тут причина женский пол,— сказал кучер, хлопая козырной девяткой по бубновому королю.— Будто чужую жену полюбил, а своя опостылела. Бывает.

— Король бунтуется! — сказал дворник.

В это время со двора опять послышался звонок. Вбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах флигеля замелькали тени, похожие на танцу-

ющие пары. Раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги.

— Должно, опять доктора пришли,— сказал кучер.— Забегается наш Михайло...

Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. Алешка испуганно поглядел на своего деда, кучера, потом на окна и сказал:

— Вчерась около ворот он меня по голове погладил. Ты, говорит, мальчик, из какого уезда? Дед, кто это выл сейчас?

Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре.

— Пропал человек,— сказал он немного погодя и зевнул.— И он пропал, и детки его пропали. Теперь детям на всю жизнь срам.

Дворник вернулся и сел около фонаря.

— Помер! — сказал он.— Послали за старухами в богадельню.

— Царство небесное, вечный покой! — прошептал кучер и перекрестился.

Глядя на него, Алешка тоже перекрестился.

— Нельзя таких поминать,— сказал селечодник.

— Отчего?

— Грех.

— Это верно,— согласился дворник.— Теперь его душа прямо в ад, к нечистому...

— Грех,— повторил селечодник.— Таких ни хоронить, ни отпевать, а все равно как падаль, без всякого внимания.

Старик надел картуз и встал.

— У нашей барыни-генеральши тоже вот,— сказал он, надвигая глубже картуз,— мы еще тогда крепостными были, меньшей сын тоже вот так от большого ума из пистолета себе в рот выпалил. По закону выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем, а барыня, значит, чтоб сраму от людей не было, подмазала полицейских и докторов, и такую бумагу ей дали, будто сын в горячке это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. Похоронили его, значит, с попами, честь честью, музыка играла, и положили под церковь, потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил и вся его там родня по-

хоронена. Только вот это, братцы, проходит месяц, проходит другой — и ничего. На третий месяц докладывают генеральше, из церкви этой самой сторожа пришли. Что надо? Привели их к ней; они ей в ноги. «Не можем, говорят, ваше превосходительство, служить... Ищите других сторожей, а нас, сделайте милость, увольте». — Почему такое? — «Нет, говорят, никакой возможности. Ваш сынок всю ночь под церковью воет».

Алешка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон.

— Генеральша сначала слушать не хотела, — продолжал старик. — Все это, говорит, у вас, у простонародья, от мнения. Мертвый человек не может выть. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними и дьячок. Значит, и дьячок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дело плохо, заперлась со сторожами у себя в спальне и говорит: «Вот вам, друзья, двадцать пять рублей, говорит, а за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слышал, выройте моего несчастного сына и закопайте его, говорит, за кладбищем». И, должно, по стаканчику им поднесла... Сторожа так и сделали. Плита-то с надписом под церковью и посеючас, а он-то сам, генеральский сын, за кладбищем... Ох, господи, прости нас, грешных! — вздохнул селедочник. — В году только один день, когда за таких молиться можно: троицына суббота... Нищим за них подавать нельзя, грех, а можно за упокой души птиц кормить. Генеральша каждые три дня на перекресток выходила и птиц кормила. Раз на перекрестке откуда ни возмись черная собака; подскочила к хлебу — и была такова... Известно, какая это собака. Генеральша потом дней пять, как полуумная, не пила, не ела... Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится... Ну, прощайте, братцы, дай вам бог, царица небесная. Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота.

Селедочник и дворник вышли. Кучер и Алешка тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае.

— Жил человек и помер! — сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени. — Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит.

— Придет время, и мы помрем,— сказал дворник, уходя с селедочником, и их обоих уже не было видно в потемках.

Кучер, а за ним Алешка, несмело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама, с большими заплаканными глазами, и седой, благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберных стола, вероятно, затем, чтобы положить на них покойника, и на зеленом сукне столов видны были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало.

— Дед, что они делают? — спросил шепотом Алешка.

— Сейчас его на столы класть будут,— ответил дед.— Пойдем, детка, пора спать.

Кучер и Алешка вернулись в сарай. Помолитись богу, разулись. Степан лег в углу на полу, Алешка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно во няло гарью от потушенного фонаря. Немного погодя Алешка поднял голову и поглядел вокруг себя; сквозь щели дверей виден был свет все от тех же четырех окон.

— Дед, мне страшно! — сказал он.

— Ну, спи, спи...

— Тебе говорю, страшно!

— Что тебе страшно? Экой баловник!

Помолчали.

Алешка вдруг выскочил из саней и, громко заплакав, подбежал к деду.

— Что ты? Чего тебе? — испугался кучер, тоже поднимаясь.

— Воеет!

— Кто воеет?

— Страшно, дед... Слышь?

Кучер прислушался.

— Это плачут,— сказал он.— Ну, поди, дурачок. Им жалко, ну и плачут.

— Я в деревню хочу...— продолжал внук, всхлипывая и дрожа всем телом.— Дед, поедem в деревню к мамке; поедem, дед, милый, бог тебе за это пошлет царство небесное...

— Экой дурак, а! Ну, молчи, молчи... Молчи, я фонарь засвечу... Дурак!

Кучер нащупал спички и зажег фонарь. Но свет не успокоил Алешку.

— Дед Степан, поедем в деревню! — просил он, плача.— Мне тут страшно... и-и, как страшно! И зачем ты, окаянный, меня из деревни выписал?

— Кто это окаянный? А нешто можно законному деду такие неосновательные слова? Выпорю!

— Выпори, дед, выпори, как сидорову козу, а только свежи меня к мамке, сделай божескую милость...

— Ну, ну, внучек, ну! — зашептал ласково кучер.— Ничего, не бойся... Мне и самому страшно... Ты богу молись!

Скрипнула дверь, и показалась голова дворника.

— Не спишь, Степан? — спросил он.— А мне всю ночь не спать,— сказал он, входя.— Всю ночь отворяй ворота да запирай... Ты, Алешка, что плачешь?

— Страшно,— ответил за внука кучер.

Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал:

— Плачут. Мать глазам не верит... Страсть как убивается.

— И отец тут?

— И отец... Отец ничего. Сидит в углушке и молчит. Детей к родным унесли... Что ж, Степан? В своего козыря сыграем, что ли?

— Давай,— согласился кучер, почесываясь.— А ты, Алешка, ступай спи. Женить пора, а ревешь, подлец. Ну, ступай, внучек, иди...

Присутствие дворника успокоило Алешку; он смело пошел к своим и лег. И пока он засыпал, ему слышался полусшепот:

— Бью и наваливаю...— говорил дед.

— Бью и наваливаю...— повторял дворник.

Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила: «Бью и наваливаю». Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его глаз, вскочил и заплакал, было уже утро, дед храпел и сарай не казался страшным.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

Рассказ очевидцев

Когда половой перечислил ему те немногие кушанья, какие можно достать в трактире, он подумал и сказал:

— В таком случае дай нам две порции шей со свежей капустой и цыпленка, да спроси у хозяина, нет ли у вас тут красного вина...

Затем все видели, как он поглядел на потолок и сказал, обращаясь к половому:

— Удивительно, как много у вас мух!

Мы говорим *он*, потому что ни половые, ни хозяин, ни посетители трактира не знали, кто он, какого звания, откуда и зачем приехал в наш город. Это был солидный, достаточно уже пожилой господин, прилично одетый и, по-видимому, благонамеренный. По одежде его можно было принять даже за аристократа. Мы заметили на нем золотые часы, булавку с жемчужиной, а в касторовой шляпе его лежали перчатки с модными застежками, какие мы видели ранее у вице-губернатора. Обедая, он все время старался блеснуть перед нами своею воспитанностью: держал вилку в левой руке, утирался салфеткой и морщился, когда в рюмки падали мухи. Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой; не говоря уж о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им по-

дают тарелку или рюмку, загаженную мухами; он же не стал есть, прежде чем половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле.

Когда ему подали щи, к его столу подошла еще новая столь же незнакомая личность с лысиной, с бритым лицом и в золотых очках. Этот новый господин был одет в шелковый костюм и тоже имел золотые часы. Все время он говорил по-французски, с любопытством осматривал кушанья и посетителей, так что нетрудно было узнать в нем иностранца. Кто он, откуда и зачем пожаловал в наш город, мы тоже не знали.

Съевши первую ложку щей, он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной, покрутил головой и сказал насмешливо:

— Эти балбесы умудряются даже свежей капусте придавать запах тухлятины. Невозможно есть. Послушай, любезный, неужели у вас тут все живут по-свински? Во всем городе нельзя достать порцию мало-мальски приличных щей. Это удивительно!

Затем он стал говорить что-то по-французски своему товарищу иностранцу. Из его речи мы помним только слово «кошон»¹. Вытащив из щей прусака, он обратился к половому и сказал:

— Я не просил щей с прусаками. Блван.

— Сударь,— ответил половой,— ведь не я его в щи посадил, а он сам туда попал. А вы не извольте беспокоиться: тараканы не кусаются.

Потребовав после цыпленка лист бумаги и карандаш, он стал рисовать какие-то круги и писать цифры. Иностранец не соглашался и долго спорил с ним, мотая в знак несогласия головой. Лист, исписанный кругами и цифрами, до сих пор хранится у хозяина трактира; штатный смотритель уездных училищ, которому хозяин показывал этот лист, долго смотрел на круги, потом вздохнул и сказал: «Темна вода во облацех!» Расплачиваясь за обед, он, то есть тот, у которого была в галстукe жемчужина, дал

¹ свинья (от франц. cochon).

половому новую пятирублевую бумажку. Настоящая это бумажка или фальшивая, нам неизвестно, так как посмотреть на нее мы не догадались.

— Послушай, в котором часу утра вы отворяете трактир? — спросил он у полового.

— С восходом солнца.

— Отлично. Завтра в пять часов утра мы придем пить чай. Приготовишь порцию, только без мух. А тебе известно, что будет завтра утром? — спросил он, лукаво подмигнув глазом.

— Никак нет.

— А! Завтра утром вы будете поражены и ошеломлены.

Пригрозив таким образом, он, смеясь, сказал что-то иностранцу и вместе с ним вышел из трактира. Оба они ночевали у Марфы Егоровны, одинокой, благочестивой вдовы, которая несколько не виновата и не могла быть соучастницей. Теперь она все время плачет, боясь, что ее заберут. Зная ее образ мыслей, мы удостоверяем, что она не виновата. К тому же, судите сами, разве она, пуская к себе постояльцев, могла знать заранее, какие у них мысли?

На другой день утром, ровно в пять часов, незнакомцы были уже в трактире. В этот раз они явились с портфелями, книгами и какими-то футлярами странной формы. В их речах и движениях были заметны волнение и спешка. Он, то есть не иностранец, сказал:

— С северо-запада идет туча. Как бы она нам не помешала!

Выпив стакан чаю, он позвал хозяина трактира и приказал ему поставить около трактира на площади стол и два стула. Хозяин, человек необразованный, хотя предчувствовал недоброе, но исполнил это приказание. Незнакомцы забрали свои вещи и, выйдя из трактира, сели около стола на стулья. Расселись среди площади при всем народе — как это глупо! О чем-то говоря между собою, они разложили на столе бумаги, чертежи, черные стекла и какие-то трубки. Когда хозяин несмело подошел к ним и нагнулся к столу, то он, то есть тот, у которого была жемчужина, отстранил его рукой и сказал:



К рассказу «Беглец».

Художники Кукрыниксы. 1941.

— Не суй своего толстого носа куда не следует.

Затем он взглянул на часы и, сказав что-то иностранцу, стал смотреть в темное стекло на солнце. Иностранец взял одну из трубок и стал смотреть туда же... Вскоре после этого произошло страшное, доселе невиданное несчастье. Мы все вдруг стали замечать, что небо и земля начали темнеть, как от приближающейся грозы. Когда же иностранец положил трубку и, что-то быстро записав, взял в руки темное стекло, мы услышали, как кто-то крикнул:

— Господа, солнце закрывается!

Действительно, что-то черное, очень похожее на сковороду, надвигалось на солнце и заслоняло его от земли. Видя, что уже нет половины солнца и что все-таки незнакомцы продолжают свои странные действия, некоторые из нас обратились к городовому Власову и сказали ему:

— Городовой, что же ты не обращаешь внимания на беспорядок?

Он ответил:

— Солнце не в моем участке.

Благодаря такой халатности местных властей скоро мы увидели, что исчезло все солнце. Наступила ночь, а куда девался день, никому не известно. На небе появились звезды. От такого несвоевременного наступления ночи в нашем городе произошли следующие события. Все мы страшно испугались и пришли в смятение. Не зная, что делать, мы в ужасе бегали по площади и, толкая друг друга, кричали: «Городовой! Городовой!» Коровы, быки и лошади (в это время у нас была скотская ярмарка), задрав хвосты и ревя, в страхе носились по городу, пугая жителей. Собаки выли. Клопы в трактирных номерах, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и принялись отчаянно жалить спящих. Дьякон Фантасмагорский, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный Лъстецов, ночевавший не дома, а у соседки (в интересах правосудия мы не можем скрыть эту

подробность), выскочив на улицу в одном нижнем белье и вбежав в толпу, закричал диким голосом:

— Спасайся, кто может!

Многие дамы, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев даже башмаков. Произошло еще много такого, что мы решимся рассказать только при закрытых дверях. Не испугались и сохранили присутствие духа одни только пожарные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить. Все это произошло 7-го августа утром.

Незнакомцы же, напакостивши таким образом, уложили свои бумаги в портфели и, когда солнце показалось вновь, сели в коляску и укатили неизвестно куда. Кто они, мы до сих пор не знаем. Сообщаем их приметы. Он, то есть тот, у которого была булавка с жемчужиной: рост средний, лицо чистое, подбородок умеренный, на лбу морщины; иностранец: рост средний, телосложение полное, лицо бритое, чистое, подбородок умеренный, издали похож на помещика Карасевича; близорук, почему и носит очки.

Не австрийские ли это шпионы?

ЗИНОЧКА

Компания охотников ночевала в мужицкой избе на свежем сене. В окна глядела луна, на улице грустно пиликала гармоника, сено издавало приторный, слегка возбуждающий запах. Охотники говорили о собаках, о женщинах, о первой любви, о бекасах. После того, как были перебраны косточки всех знакомых барынь и была рассказана сотня анекдотов, самый толстый из охотников, похожий в потемках на копну сена и говоривший густым штаб-офицерским басом, громко зевнул и сказал:

— Не велика штука быть любимым: барыни на то и созданы, чтоб любить нашего брата. А вот, господа, был ли кто-нибудь из вас ненавидим, ненавидим страстно, бешено? Не наблюдал ли кто-нибудь из вас восторгов ненависти? А?

Ответа не последовало.

— Никто, господа? — спросил штаб-офицерский бас. — А вот я был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симптомы первой ненависти. Первой, господа, потому что то было нечто как раз противоположное первой любви. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслил ни в любви, ни в ненависти. Мне было тогда лет восемь, но это не беда: тут, господа, важен не он, а *она*. Ну-с, прошу внимания. В один прекрасный летний вечер, перед захо-

дом солнца, я и моя гувернантка Зиночка, очень милое и поэтическое создание, незадолго перед тем выпущенное из института, сидели в детской и занимались. Зиночка рассеянно глядела в окно и говорила:

— Так. Мы вдыхаем кислород. Теперь скажите мне, Петя, что мы выдыхаем?

— Углекислоту,— отвечал я, глядя в то же окно.

— Так,— соглашалась Зиночка.— Растения же наоборот: вдыхают углекислоту и выдыхают кислород. Углекислота содержится в сельтерской воде и в самоварном угаре... Это очень вредный газ. Близ Неаполя есть так называемая Собачья пещера, содержащая в себе углекислоту; пущенная в нее собака задыхается и умирает.

Эта несчастная Собачья пещера близ Неаполя составляет химическую мудрость, дальше которой не решится шагнуть ни одна гувернантка. Зиночка всегда горячо отстаивала пользу естественных наук, но едва ли знала по химии еще что-нибудь, кроме этой пещеры.

Ну-с, она приказала повторить. Я повторил. Она спросила, что такое горизонт. Я ответил. А на дворе в это время, пока мы жевали горизонт да пещеру, мой отец собирался на охоту. Собаки выли, пристяжные нетерпеливо переминались с ноги на погу и кокетничали с кучерами, лакеи начинали тарантас кульками и всякой всячиной. Возле тарантаса стояла линейка, в которую садились мать и сестры, чтобы ехать к Иваницким на именины. Дома оставались только я, Зиночка да мой старший брат—студент, у которого болели зубы. Можете представить мою зависть и скуку!

—Так что же мы вдыхаем?—спросила Зиночка, глядя в окно.

— Кислород...

— Да, а горизонтом называется место, где, как нам кажется, земля сходится с небом...

Но вот тронулся тарантас, за ним линейка... Я видел, как Зиночка вытащила из кармана какую-то записочку, судорожно скомкала ее и прижала к виску, потом вспыхнула и поглядела на часы.

— Так помните же,— сказала она,— близ Неаполя есть так называемая Собачья пещера...— она опять взглянула на часы и продолжала:— где, как нам кажется, небо сходится с землею...

Бедняжка в сильном волнении прошла по комнате и еще раз взглянула на часы. До конца нашего урока оставалось еще более получаса.

— Теперь арифметика,— сказала она, тяжело дыша и перелистывая дрожащей рукой задачник.— Вот решите задачу № 325, а я... сейчас приду...

Она вышла. Я слышал, как она спорхнула вниз по лестнице, а затем видел в окно, как ее голубое платье, промелькнув через двор, исчезло в садовой калитке. Быстрота ее движений, краска ланит и волнение заинтриговали меня. Куда она побежала и зачем? Будучи умен не по летам, я скоро сообразил и понял все: она побежала в сад затем, чтобы, пользуясь отсутствием моих строгих родителей, забраться в малинник или же нарвать себе черешен! Когда так, и я же, черт возьми, пойду есть черешни! Бросил я задачник и побежал в сад. Подбегаю к черешням, но ее уже там нет. Миновав малинник, крыжовник, шалаш сторожа, она через огород идет к пруду, бледная, вздрагивающая от малейшего шума. Я крадусь за ней и вижу, господа, следующее. На берегу пруда, между толстыми стволами двух старых верб, стоит мой старший брат Саша; по его лицу незаметно, чтобы у него болели зубы. Он глядит навстречу Зиночке, и вся его фигура, как солнцем, озарена выражением счастья. А Зиночка, точно ее гонят в Собачью пещеру и заставляют дышать углекислотой, идет к нему, едва двигая ногами, тяжело дыша и закинув назад голову... По всему видно, что на рандеву¹ она идет первый раз в жизни. Но вот она подходит... Полминуты они молча глядят друг на друга и как будто не верят своим глазам. Засим какая-то сила толкает Зиночку в спину, она кладет руки на плечи Саши и склоняет свою головку на его жилетку. Саша смеется, бормочет что-то несвязное и с

¹ свиданне (от *франц.* rendez-vous).

неуклюжестью очень влюбленного человека кладет обе свои ладони на Зиночкину физиономию. А погода, господа, чудесная... Бугор, за которым прячется солнце, две вербы, зеленые берега, небо — все это вместе с Сашей и с Зиночкой отражается в пруде. Тишина, можете себе представить. Над осокой золотятся миллионы мотыльков с длинными усиками, за садом гонят стадо. Одним словом, хоть картину рисуй.

Из всего виденного я понял только то, что Саша целовался с Зиночкой. Это неприлично. Если узнает папап, то обоим достанется. Чувствуя, что мне почему-то стыдно, я ушел к себе в детскую, не дожидаясь конца рандеву. Потом я сидел над задачкой, думал и соображал. По моей роже плавала победоносная улыбка. С одной стороны, приятно быть владельцем чужой тайны, с другой — тоже весьма приятно сознавать, что такие авторитеты, как Саша и Зиночка, во всякую минуту могут быть уличены мною в незнании светских приличий. Теперь они в моей власти и их спокойствие находится в полной зависимости от моего великодушия. Я же им покажу!

Когда я ложился спать, Зиночка, по обыкновению, зашла в детскую узнать, не уснул ли я в одежде и молился ли богу. Я посмотрел на ее хорошенькое, счастливое лицо и ухмыльнулся. Тайна распирала меня и просилась наружу. Нужно было намекнуть и насладиться эффектом.

— А я знаю! — сказал я ухмыляясь. — Гы-ы!

— Что вы знаете?

— Гы-ы! Я видел, как около верб вы целовались с Сашей. Я пошел за вами и все видел...

Зиночка вздрогнула, вся покраснела и, пораженная моим намеком, опустила на стул, на котором стояли стакан с водой и подсвечник.

— Я видел, как вы... целовались... — повторил я, хихикая и наслаждаясь ее смущением. — Ага! Вот я скажу маме!

Малодушная Зиночка пристально посмотрела на меня и, убедившись, что я действительно все знаю, в отчаянии схватила меня за руку и забормотала дрожащим шепотом:

— Петя, это низко... Я вас умоляю, ради бога... Будьте мужчиной... не говорите никому... Порядочные люди не шпионят... Это низко... умоляю вас...

Бедняжка, как огня, боялась моей матери, дамы добродетельной и строгой,— это раз; во-вторых, мое ухмыляющееся рыло не могло не осквернить ее первой, чистенькой и поэтической любви, а потому можете себе представить состояние ее духа. По моей милости, она не спала всю ночь и наутро явилась к чаю с синими кругами под глазами... Встретясь после чая с Сашей, я не вытерпел, чтоб не ухмыльнуться и не похвастать:

— А я знаю! Я видел, как ты вчера целовался с m-He Зиной!

Саша посмотрел на меня и сказал:

— Ты глуп.

Он не был так малодушен, как Зиночка, а потому эффект не удался. Это меня еще больше подзадорило. Если Саша не испугался, то, очевидно, он не верил, что я все видел и знаю; так постой же, я тебе докажу!

Занимаясь со мной до обеда, Зиночка не глядела на меня и заикалась. Вместо того чтобы припугнуть, она всячески заискивала у меня, ставя мне пятерки и не жалуясь отцу на мои шалости. Будучи умен не по летам, я эксплуатировал ее тайну, как хотел: не учил уроков, ходил в классной вверх ногами и говорил дерзости. Одним словом, продолжай я в таком духе до сегодня, из меня выработался бы прекрасный шантажист. Ну-с, прошла неделя. Чужая тайна подзадоривала и мучила меня, как заноза в душе. Мне во что бы то ни стало хотелось выболтать ее и полюбоваться эффектом. И вот однажды за обедом, когда у нас было много гостей, я преглупо ухмыльнулся, ехидно поглядел на Зиночку и сказал:

— А я знаю... Гы-ы! Я видел...

— Что ты знаешь? — спросила мать.

Я еще ехиднее поглядел на Зиночку и Сашу. Надо было видеть, как вспыхнула девушка и какие злые глаза сделал Саша! Я прикусил язык и не продолжал. Зиночка постепенно побледнела, стиснула зубы

и уж ничего не ела. В тот же день во время вечерних занятий я в лице Зиночки заметил резкую перемену. Оно казалось строже, холоднее, как будто мраморнее, а глаза глядели странно, прямо мне в лицо, и, я вам даю честное слово, даже у гончих, когда они догоняют волка, я никогда не видел таких поражающих, уничтожающих глаз! Выражение их я отлично понял, когда она среди урока вдруг стиснула зубы и процедила:

— Ненавижу! О, если б вы, гадкий, отвратительный, знали, как я вас ненавижу, как мне противна ваша стриженная голова, ваши пошлые, оттопыренные уши!

Но тотчас же она испугалась и сказала:

— Это я не вам говорю, а повторяю роль...

Потом, господа, ночью я видел, как она подходила к моей постели и долго глядела мне в лицо. Она ненавидела страстно и уж не могла жить без меня. Созерцание моей ненавистной рожи стало для нее необходимостью. А то, помню, был прелестный летний вечер... Пахло сеном, была тишина и прочее. Светила луна. Я ходил по аллее и думал о вишневом варенье. Вдруг подходит ко мне бледная, прекрасная Зиночка, хватает меня за руку и, задыхаясь, начинает объясняться:

— О, как я тебя ненавижу! Никому я не желала столько зла, как тебе! Пойми это! Мне хочется, чтобы ты понял это!

Понимаете ли, луна, бледное лицо, дышащее страстью, тишина... даже мне, свиненку, стало приятно. Слушал я ее, глядел на ее глаза... Сначала мне было приятно и ново, но потом пробрал страх, я вскрикнул и сломя голову побежал в дом.

Я решил, что самое лучшее, это — пожаловаться папаше. И я пожаловался, рассказав кстати и о том, как Саша целовался с Зиночкой. Я был глуп и не знал последствий, иначе бы я оставил тайну при себе... Мапаша, выслушав меня, вспыхнула негодованием и сказала:

— Не твое дело говорить об этом, ты еще очень молод... Но, однако, какой пример для детей!

Моя мама была не только добродетельна, но и тактична. Она, чтобы не поднимать скандала, выжила Зиночку не сразу, а постепенно, систематически, как вообще выживают порядочных, но нетерпимых людей. Помню, когда уезжала от нас Зиночка, то последний ее взгляд, который она бросила на дом, был направлен к окну, где я сидел, и, уверяю вас, я до сих пор помню этот взгляд.

Зиночка скоро стала женою брата. Это Зинаида Николаевна, которую вы знаете. Потом я встретился с нею, когда уже был юнкером. При всем ее старании она никак не могла узнать в усатом юнкере ненавистного Петю, но все же обошлась со мной не совсем по-родственному... И теперь даже, несмотря на мою добродушную плешь, смиренное брюшко и покорный вид, она все еще косо глядит на меня и чувствует себя не в своей тарелке, когда я заезжаю к брату. Очевидно, ненависть так же не забывается, как и любовь... Чу! Я слышу, поет петух. Спокойной ночи! Милорд, на место!

В гостиной было тихо, так тихо, что явственно слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна, глядела на цветочную клумбу и думала. Доктор Цветков, ее домашний врач и старинный знакомый, приглашенный лечить Мишу, сидел в кресле, покачивал своей шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них, в гостиной и в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах, под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени.

Молчание было прервано Ольгой Ивановной.

— Более ужасного несчастья и придумать нельзя,— сказала она, не оборачиваясь от окна.— Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены.

— Да, я знаю это,— сказал доктор.

— Никакой цены! — повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул.— Он для меня все. Он моя радость, мое счастье, мое богатство, и если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он... умрет, то от меня останется одна только тень. Я не переживу.

Ломая руки, Ольга Ивановна прошлась от одного окна к другому и продолжала:

— Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом, вы это помните, но, боже мой,

разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена, но теперь я мать... понимаете? я мать и больше знать ничего не хочу. Между теперешним и прошлым целая пропасть.

Наступило опять молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты.

— Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды,— сказала хозяйка, оборачиваясь.— Что же вы молчите?

— Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга, но ее нет,— ответил Цветков.— Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают.

— Николай, вы уверены в том, что не ошибаетесь?

— Такие вопросы ни к чему не ведут. Я готов отвечать сколько угодно, но от этого нам не станет легче.

Ольга Ивановна припала лицом к оконной драпировке и горько заплакала. Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной, затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать.

— Послушайте, Ольга,— начал он.— Уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас кое о чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом... после...

Он опять сел и задумался. Горький, умоляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс.

— Миша, болит голова? — спросил он.

Миша ответил не сразу:

— Да. Мне все снится.

— Что же тебе снится?

— Все...

Доктор, не умеющий говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал:

— Ничего, бедный мальчик, ничего... На этом свете нельзя прожить без болезней... Миша, кто я? Ты узнаешь?

Миша не отвечал.

— Очень голова болит?

— О... очень. Мне все снится.

Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор не спеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом.

— Зажечь огонь? — спросил Цветков.

Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука, точно весь мир заодно с доктором думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего, одуряющего мигрени.

— Николай Трофимыч! — позвала она. — Послушайте, а если позвать консилиум?

— Хорошо, я приглашу завтра.

По тону доктора легко было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты.

— Если он страдает, то почему же он молчит? — спросила Ольга Ивановна. — За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет. Я знаю, бог

берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!

Оркестр кончил марш и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс.

— Господи, да неужели нельзя ничем помочь? — простонала Ольга Ивановна.— Николай! ты доктор и должен знать, что делать! Поймите, что я не перенесу этой потери! Я не переживу!

Доктор, не умеющий говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прояснел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадрили, польку и еще кадрили. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор все время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по полчаса и возвращалась в гостиную; то и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось,— и вечер, казалось, не имел конца.

В полночь, когда оркестр сыграл котильон и умолк, доктор собрался уезжать.

— Я завтра приеду,— сказал он, пожимая холодную руку хозяйки.— Вы ложитесь спать.

Надевши в передней пальто и взявши в руки трость, он постоял, подумал и вернулся в гостиную.

— Я, Ольга, завтра приеду,— повторил он дрожащим голосом.— Слышите?

Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим, нежным полусшепотом, который совсем не шел к его солидной, тяжелой фигуре:

— Ольга! во имя вашего горя, которое я разделяю... Теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик мой сын. Правда ли это?

Ольга Ивановна молчала.

— Вы были единственной привязанностью в моей жизни,— продолжал Цветков,— и вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось

ложью... Ну, прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни сказать мне правду... В эти минуты невозможно лгать... Скажите, что Миша не мой сын... Я жду.

— Он ваш.

Лица Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову послышалось колебание. Он вздохнул и поднялся.

— Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь,— сказал он своим обыкновенным голосом.— У вас нет ничего святого! Послушайте, поймите меня... В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлы, но, кроме вас, в жизни я никого не любил. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? К чему?

— Я вас не понимаю.

— А, боже мой! — крикнул Цветков.— Вы лжете, вы отлично понимаете! — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью.— Или вы забыли? Так я же вам напомню! Отечественные права на этого мальчика в одинаковой степени разделяют со мной и Петров и адвокат Куровский, которые, так же как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына! Да-с! Все это мне отлично известно! Я прощаю прошлую ложь, бог с нею, но теперь, когда вы постарели, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня! Как я жалею, что не умею говорить! Как жалею!

Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил:

— Дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты! Она и теперь лжет так же свободно, как девять лет тому назад в ресторане «Эрмитаж»! Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги! Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика! Вы лжете! Это низко!

Цветков стукнул тростью по полу и крикнул:

— Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Вас надо презирать, и я должен стыдиться свое-

го чувства! Да! Ваша ложь во все девять лет стоит у меня поперек горла, я терпел ее, но теперь — довольно! Довольно!

Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, слышался плач. Цветков замолчал и крикнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая.

— Я вышел из себя,— бормотал он, низко нагибаясь к полу.— Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня... Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайтесь внимания.

Он нашел шляпу и направился к темному углу.

— Я оскорбил вас,— сказал он тихим, нежным полусшепотом.— Но еще раз умоляю вас, Ольга. Скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь... Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петров и Куровский не составляют для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду.

Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала:

— Николай, я не лгу. Миша ваш.

— Боже мой,— простонал Цветков,— так я же вам скажу еще больше: у меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши! Ольга, я знаю правду, но мне хочется слышать ее от вас! Слышите?

Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел.

— Я завтра приеду,— крикнул он из передней.

Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал:

— Как жаль, что я не умею говорить! У меня нет дара убеждать и уверять. Очевидно, она не понимает меня, если лжет! Очевидно! Как же ей объяснить? Как?

СИРЕНА

После одного из заседаний N-ского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел «при особом мнении», сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным, меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк, и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы схватить вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил вполголоса:

— Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час, но это, душа моя Григорий Саввич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахиваешь на обывательских верст сто без передышки. Тоже

много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами извольте знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли...

— Жареные гуси мастера пахнуть,— сказал почетный мировой, тяжело дыша.

— Не говорите, душа моя Григорий Саввич, утка или бекас могут гусю десять очков вперед дать. В гусятнике букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начиняет поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом, этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и — тотчас же у вас из желудка по всему телу искры...

Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство.

— Искры...— повторил он, жмурясь.— Как только выпили, сейчас же закусить нужно.

— Послушайте,— сказал председатель, поднимая глаза на секретаря,— говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.

— Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо,— сказал секретарь и продолжал полушепотом: — Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нуж-

но умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе, или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объядение! Но налимыя печенка — это трагедия!

— М-да... — согласился почетный мировой, жмуря глаза. — Для закуски хороши также, того... душистые белые грибы.

— Да, да, да... с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух... даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.

— Иван Гурьич! — сказал плачущим голосом председатель. — Из-за вас я третий лист испортил!

— Черт его знает, только об еде и думает! — проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. — Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?

— Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжал секретарь вполголоса; он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. — Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...

Секретарь подкатил глаза и перекошил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами.

— Это черт знает что... — проворчал участковый, отходя к другому окну.

— Два куса съел, а третий к шам приберег, —

продолжал секретарь вдохновенно.— Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропом. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зелеными: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией.

— Да, великолепная вещь...— вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: — Побойтесь вы бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения! Четвертый лист порчу!

— Не буду, не буду! Виноват-с! — извинился секретарь и продолжал шепотом.— Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая — это жареный карась в сметане; только чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержатъ его живого в молоке целые сутки.

— Хорошо также стерлядку кольчиком, — сказал почетный мировой, закрывая глаза, но тотчас же, не ожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя: — Петр Николаич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу!

— Дайте мне кончить!

— Ну, так я сам поеду! Черт с вами!

Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не протрившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал вполголоса:

— Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францыч; это еда несущественная, главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?

Товарищ прокурора сделал кислое лицо и сказал со вздохом:

— К несчастью, я не могу вам сочувствовать: у меня катар желудка.

— Полноте, сударь! Катар желудка доктора выдумали! Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете, честное благородное слово. А жареная индейка? Белая, жирная, сочная этакая, знаете ли, вроде нимфы...

— Да, вероятно, это вкусно, — сказал прокурор, грустно улыбаясь. — Индейку, пожалуй, я ел бы.

— Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы ледку хватила, да изжарить ее на противне вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб...

Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомый неведомою силой, схватил шляпу и выбежал вон.

— Да, пожалуй, я поел бы и утки... — вздохнул товарищ прокурора.

Председатель встал, прошелся и опять сел.

— После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, — продолжал секретарь. — В это время и телу хорошо и на душе умирительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки.

Председатель крякнул и перечеркнул лист.

— Я шестой лист порчу, — сказал он сердито. — Это бессовестно!

— Пишите, пишите, благодетель! — зашептал секретарь. — Я не буду! Я потихоньку. Я вам по сове-

сти, Степан Францыч,— продолжал он едва слышным шепотом,— домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе...

— Ах, да поедемте, Петр Николаич! — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой.

— Да-с,— продолжал секретарь.— Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус, или женаты на первой красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этакоем бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: «Душенька, иди поцелуй меня!»

— Петр Николаич! — простонал товарищ прокурора.

— Да-с,— продолжал секретарь.— Покуривши, подбирайте полы халата и айда к постельке! Этак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику: там, глядишь, Австрия сплеховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там папа римский наперекор пошел — читаешь, оно и приятно.

Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил.

— Едемте! — крикнул он.

— Петр Николаич, а как же особое мнение? — испугался секретарь.— Когда же вы его, благодетель, напишете? Ведь вам в шесть часов в город ехать!

Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги.

СВИРЕЛЬ

Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора, Мелитон Шишкин. Его Дамка — помесь дворняги с сеттером — необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала острый запах гнили.

Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самодельковой, пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его пiske слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально.

— Здравствуй, дед! Бог на помощь! — приветствовал его Мелитон тонким, сильным голосом, который совсем не шел к его громадному росту и большому, мясистому лицу.— А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?

— Артамоновское,— нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.

— Стало быть, и лес артамоновский? — спросил Мелитон, оглядываясь.— И впрямь артамоновский, скажи на милость... Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал.

Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

— Ну, погода, не дай бог! — сказал он и покрутил головой.— Люди еще овса не убрали, а дождик словно напаялся, бог с ним.

Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.

— Все лето такое было...—вдохнул Мелитон.— И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия.

Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово:

— Все к одному клонится... Добра не жди.

— Как у вас тут? — спросил Мелитон, закуривая.— Не видал в Артамоновской сечи тетеревиных выводков?

Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами... По-видимому, своим словам придавал он не малое значение и, чтобы усугубить им цену, старался произносить их вразяжку, с некоторою торжественностью. Выраже-

ние лица его было старчески острое, степенное и, оттого, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.

— Нет, кажись, не видал,— ответил он.— Наш охотник, Еремка, сказывал, будто на Ильин день согнал около Пустошья один выводок, да, должно, брешет. Мало птицы.

— Да, брат, мало... Везде мало! Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и нестоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так об ту сейчас нечего и рук марать — не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядеть совестно.

Мелитон усмехнулся и махнул рукой.

— Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!

— Все к одному клонится,— сказал пастух, поднимая вверх лицо.— Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

— Да,— согласился Мелитон, подумав.— Это верно.

Пастух горько усмехнулся и покачал головой.

— Удивление! — сказал он.— И куда оно все девалось? Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча тучей! Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было, а мелкие чирята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы — видимо-невидимо! И куда оно все девалось! Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из год в год божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.

— К чему?

— К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора божьему миру погибать.

Старик надел картуз и стал глядеть на небо.

— Жалко! — вздохнул он после некоторого молчания.— И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, если весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!

На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.

— Ты говоришь — миру гибель...— сказал Мелитон, думая.— Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать.

— Не одни птицы,— сказал пастух.— И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей Песчанке, помню, щука в аршин ловилась, и налимы водились; и язь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймал шуренка или окунька в четверть, то благодари бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то небось сохнут!

— Это верно, что сохнут.

— То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче, и уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвона, видишь кусты? — спросил старик, указывая в сторону.— За ними старое русло, заводиною называется; при отце моем там Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Меняет русло и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где

они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и шук ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде!

Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли — это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.

— Да и леса тоже...— пробормотал Мелитон.

— И леса тоже...— повторил пастух.— И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди — так без конца-краю, покуда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом, до воли тоже был у господ в пастухах, пас на этом самом месте и, покуда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век и так теперь понимаю, что всякая растения на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится.

— Зато народ лучше стал,— заметил приказчик.

— Чем это лучше?

— Умней.

— Умней-то умней, это верно, паря, да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру меня взять... Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его вместо меня, так он завтра же

прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут — ничего не поделаешь.

— Это верно,— согласился Мелитон.— Нестоящий нынче мужик.

— Нечего греха таить, плошаем из года в год. Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида — одно только звание, что барин. Нет у него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка!

— Обедняли сильно,— сказал Мелитон.

— Потому и обедняли, что бог силу отнял. Супротив бога-то не пойдешь.

Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал:

— А все отчего? Грешим много, бога забыли... и такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать — пора и честь знать.

Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.

— Ге-ге-гей! — крикнул он.— Ге-ге-гей! А чтоб вас, нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал; ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна; они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.

— Было у вас затмение аль нет? — крикнул из-за кустов пастух.

— Было! — ответил Мелигон.

— Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе неурядок-то! Недаром оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель пспала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о гибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам.

Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал:

— И жить хуже стало, дед. Совсем немоготу жить. Неурожаи, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее, бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал:

— Восемь человек детей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-навсего десять рублей в месяц на

своих харчах. От бедности жена осатанела... сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности: опротивел дом!

Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью:

— Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старик отнял от губ свирель и, прищутив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустное и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал:

— Жалко, братушка! И, боже, как жалко! Земля, лес, небо... тварь всякая — все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все ни за грош. А пуще всего людей жалко.

В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал:

— Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?

— Лука Бедный.

— Ну, прощай, Лука! Спасибо на добром слове. Дамка, иси!

Простившись с пастухом, Мелитон ползлся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу Песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением

своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней.

Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.

Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине Шмукс и К^о и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость.

«Я знаю, что мне делать...— думал он.— Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее и любовника, а потом себя...»

Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало три окровавленных трупа, разможенные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие... С злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и публики, агонию изменницы и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ.

Приказчик магазина — подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете — раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:

— Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экс-трактором, бьет на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и

убивает навывлет жену и любовника. Что касается самоубийц, го, мсье, я не знаю лучшей системы...

Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон.

— А какая цена? — спросил Сигаев.

— Сорок пять рублей, мсье.

— Гм!.. Для меня это дорого!

— В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены... Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только восемнадцать рублей, но... (приказчик презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смита и Вессон.

— Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать, — угрюмо селгал Сигаев. — Я покупаю это просто для дачи... пугать воров...

— Нам нет дела, для чего вы покупаете, — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. — Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, мсье, пришлось бы закрыть магазин. Для пуганья воров Лефоше не годится, мсье, потому что он издает негромкий, глухой звук, а я предложил бы вам обыкновенный капсюльный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный...

«А не вызвать ли мне его на дуэль? — мелькнуло в голове Сигаева. — Впрочем, много чести... Таких скотов убивают, как собак...»

Приказчик, грациозно поворачиваясь и семеня ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Appetitнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумье. Воображение его рисо-

вало, как он размозжает черепа, как кровь рекою течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающая изменница... Но для его негодующей души было мало этого. Кровавые картины, вопль и ужас его не удовлетворяли... Нужно было придумать что-нибудь более ужасное.

«Вот что, я убью его и себя,— придумал он,— а ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительнее смерти...»

И он представил себе свои похороны: он, оскорбленный, лежит в гробу, с кроткой улыбкой на устах, а она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как Ниобея, и не знает, куда деваться от уничтожающих, презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа...

— Я вижу, мсье, что вам нравится Смит и Вессон,— перебил приказчик его мечтания.— Если он кажется вам дорог, то извольте, я уступлю пять рублей... Впрочем, у нас еще есть другие системы, подешевле.

Французистая фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще дюжину футляров с револьверами.

— Вот, мсье, цена тридцать рублей. Это недорого, тем более что курс страшно понизился, а таможенные пошлины, мсье, повышаются каждый час. Мсье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать! Помилуйте, курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи! Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички, а тульское оружие — это несчастье! Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку...

Сигаеву вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучений изменницы. Месть тогда лишь сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды, а что толку, если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать.

«Не сделать ли мне так,— раздумывал он.— Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью... Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие... Итак: убью его, она останется в

живых, я... я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью, во всем обвинит меня, и общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной; если же я останусь жив, то...»

Через минуту он думал:

«Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и заподозрят в мелком чувстве... И к тому же за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться — значит струсить. Итак: убью его, ее оставлю жить, сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы... Воображаю ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник! Симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне...»

Он размышлял, а приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя.

— Вот английские новой системы, недавно только получены, — болтал он. — Но предупреждаю, мсье, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях — вы, вероятно, уже читали — один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника, и — что же вы думаете? — пуля прошла навывлет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, а от рояля рикошетом убила болонку и контузила жену. Эффект блистательный и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован... Его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы! Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство; во-вторых, мсье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, мсье! И судья, и присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами, и для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О мсье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов! Любить чужих жен теперь

так же принято, как курить чужие папиросы и читать чужие книги. С каждым годом у нас торговля становится все хуже и хуже,— это не значит, что любовников становится все меньше, а значит, что мужья мрут со своим положением и боятся суда и каторги.

Приказчик оглянулся и прошептал:

— А кто виноват, мсье? Правительство!

«Идти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже не разумно,— раздумывал Сигаев.— Если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать... Итак: *ее* я оставлю в живых, себя не убиваю, *его*... тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс...»

— Вот, мсье, еще новая система,— сказал приказчик, доставая с полки новую дюжину.— Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка...

Сигаеву, после его решения, револьвер был уже не пужен, а приказчик между тем, вдохновляясь все более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время...

— Хорошо, в таком случае...— забормотал он,— я найду после или... или пришлю кого-нибудь.

Он не видел выражения лица у приказчика, но, чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовал необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери.

— Это... это что такое? — спросил он.

— Это сетка для ловли перепелов.

— А что стоит?

— Восемь рублей, мсье.

— Заверните мне...

Оскорбленный муж заплатил восемь рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина.

ПОЧТА

Было три часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил:

— Мой племянник студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатъев, посади его с собой на тройку и доведи. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить, ну да что ж делать! Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет.

— Готово! — слышался крик со двора.

— Ну, поезжай с богом, — сказал приемщик. — Какой ямщик едет?

— Семен Глазов.

— Поди распишись.

Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна из пристяжных беспокойно переминалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался черным пятном, возле него лениво двигались два силуэта: студент с чемоданом в руках и ямщик. Последний курил носогрейку; огонек носогрейки двигался в

потемках, потухал и вспыхивал; на мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим, медно-красным носом, то нависшие, суровые брови.

Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас. Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо: «Виноват!» Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был, в одной жилетке и в туфлях; пожимаясь от ночной сырости и покрывивая, он прошелся около тарантаса и сказал:

— Ну, с богом! Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся. А ты, Игнатъев, не забудь передать пакет Быстрцову... Трогай!

Ямщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул.

— Кланяйся же! — повторил приемщик.

Колокольчик что-то прозвякал бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись. Ямщик, приподнявшись, два раза хлестнул по беспокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. Городишко спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усеянному звездами, кое-где тянулись узкие облака, и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп; но ни звезды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собой, начал:

— Летом в это время уже светло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лето!

Студент поглядел на небо и продолжал:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звезды, которые стоят рядом по одной линии? Это созвездие Ориона, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре.

Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, не пошевелился и не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона не интересовало его. Он привык видеть звезды, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал:

— Холодно! Пора бы уж быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце?

— Что-с?

— В котором часу восходит теперь солнце?

— В шестом! — ответил ямщик.

Тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие ветлы, а впереди все застилала мгла. Здесь на просторе полумесяц казался более, и звезды сияли ярче. Но вот пахнуло сыростью; почтальон глубже ушел в воротник, и студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около ног, потом по тюкам, по рукам, по лицу. Тройка пошла тише; колокольчик замер, точно и он озяб. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в воде.

А минут через десять стало так темно, что уж не было видно ни звезд, ни полумесяца. Это тройка въехала в лес. Колючие еловые ветви то и дело били студента по фуражке, и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищам, и тарантас покачивался, как пьяный.

— Вези по дороге! — сказал сердито почтальон. — Что по краю везешь? Мне всю рожу ветками расцарапало! Бери правой!

Но тут едва не произошло несчастье. Тарантас вдруг подскочил, точно его передернула судорога, задрожал и с визгом, сильно накрениваясь то вправо, то влево, с страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричал ямщик. — Тпррр... дьяволы!

Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из тарантаса, нагнул вперед и стал искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки

были скользки, и ямщик, за пояс которого ухватился было студент, сам подскакивал и каждое мгновение готов был свалиться. Сквозь шум колес и визг тарантаса слышалось, как слетевшая сабля звякнула о землю, потом немного погодя что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад.— Стой!

Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб, но тотчас же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок тарантаса. «Падаю!» — мелькнуло в его голове, но в это время тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась как вкопанная, и от такой внезапной остановки студента по инерции опять перегнуло вперед.

Ямщик и студент — оба задохнулись. Почтальона в тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, чемоданом студента и одним тюком.

— Стой, подлец! Сто-ой! — слышался из леса его крик.— Сволочь проклятая! — кричал он, подбегая к тарантасу, и в его плачущем голосе слышались боль и злорадия.— Анафема, чтоб ты издох! — крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиываясь на него кулаком.

— Экая история, господи помилуй! — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд.— А все чертова пристяжная! Молодая, проклятая, только неделя, как в упряжке ходит. Ничего идет, а как только с горы — беда! Ссадить бы ей морду раза три, так не стала бы баловать... Сто-ой! А, черт!

Пока ямщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, тюк и саблю, почтальон продолжал плачущим, визжащим от злобы голосом осыпать его ругательствами. Уложив кладь, ямщик без всякой надобности провел лошадей шагов сто, поворчал на беспокойную пристяжную и вскочил на козла.

Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни ехал он ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска, полет поч-

тальяна и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал со смехом:

— А ведь этак можно себе шею свернуть! Я едва-едва не слетел и даже не заметил, как вы вылетели. Воображаю, какая езда должна быть осенью!

Почтальон молчал.

— А вы давно ездите с почтой?—спросил студент.

— Одиннадцать лет.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчас же назад ехать. А что?

За одиннадцать лет, при ежедневной езде, наверное, было пережито немало интересных приключений. В ясные летние и в суровые осенние ночи или зимою, когда тройку с воем кружит злая метель, трудно уберечься от страшного, жуткого. Небось не раз носили лошади, увязал в промоине тарантас, нападали злые люди, сбивала с пути вьюга...

— Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет! — сказал студент.— Что, должно быть, страшно ездить?

Он говорил и ждал, что почтальон расскажет ему что-нибудь, но тот угрюмо молчал и уходил в свой воротник. Начинало между тем светать. Было незаметно, как небо меняло свой цвет; оно все еще казалось темным, но уже видны были и лошади, и ямщик, и дорога. Лунный серп становился все белее и белее, а растянувшееся под ним облако, похожее на пушку с лафетом, чуть-чуть желтело на своем нижнем крае. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокро от росы, серо и неподвижно, как у мертвого. На нем застыло выражение тупой, угрюмой злобы, точно почтальон все еще чувствовал боль и продолжал сердиться на ямщика.

— Слава богу, уже светает! — сказал студент, взглядываясь в его злое, озябшее лицо.— Я совсем замерз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию?

Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо.
— Как вы любите говорить, ей-богу! — сказал он.— Разве не можете молча ехать?

Студент сконфузился и уж не трогал его всю дорогу. Утро наступало быстро. Месяц побледнел и слился с мутным серым небом, облако все стало желто, звезды потухли, но восток все еще был холоден, такого же цвета, как и все небо, так что не верилось, что за ним пряталось солнце...

Холод утра и угрюмость почтальона сообщились мало-помалу и озябшему студенту. Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла и думал только о том, как, должно быть, жутко и противно бедным деревьям и траве переживать холодные ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьев не золотились от восходящего солнца, как пишут обыкновенно, лучи не ползли по земле, и в полете сонных птиц не заметно было радости. Каков был холод ночью, таким он остался и при солнце...

Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче.

Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде...

— Посторонних не велено возить...— заговорил неожиданно почтальон.— Не дозволено! А ежели не дозволено, то и незачем садиться... Да. Мне, положим, все равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?

Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погода трой-

ка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный поезд; на тендере машинист и его помощник с лицами, влажными от росы, пили из грязного жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай, а почтальон, засунув руки в рукава, все еще со злобой на лице, одиноко шагал по платформе и глядел себе под ноги.

На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?

СВАДЬБА

Шафер в цилиндре и в белых перчатках, запыхавшись, сбрасывает в передней пальто и с таким выражением, как будто хочет сообщить что-то страшное, вбегает в зал.

— Жених уже в церкви! — объявляет он, тяжело переводя дух.

Наступает тишина. Всем вдруг становится грустно.

Отец невесты, отставной подполковник, с тощим, испитым лицом, чувствуя, вероятно, что его куцая военная фигурка в рейтузах недостаточно торжественна, солидно надувает щеки и выпрямляется. Он берет со столика образ. Его жена, маленькая старушка в тюлевом чепце с широкими лентами, берет хлеб-соль и становится рядом с ним. Начинается благословение.

Невеста Любочка бесшумно, как тень, опускается перед отцом на колени, и ее фата волнуется при этом и цепляется за цветы, разбросанные по платью, и из прически выбивается несколько шпилек. Поклонившись образу и поцеловавшись с отцом, который еще сильнее надувает щеки, Любочка опускается перед матерью; фата ее опять цепляется, и две барышни, взволнованные, подбегают к ней, обдергивают, поправляют, прикалывают булавками...

Тишина, все молчат, не шевелятся; только одни шафера, как горячие пристяжные, нетерпеливо пере-

минаются с ноги на ногу, точно ждут, когда им позволено будет сорваться с места.

— Кто повезет образ? — слышится тревожный шепот.— Спира, где ты? Спира!

— Цичас! — отвечает из передней детский голос.

— Бог с вами, Дарья Даниловна! — кто-то вполголоса утешает старуху, которая припала к дочери лицом и всхлипывает.— Да разве можно плакать, Христос с вами? Надо радоваться, душенька, а не плакать.

Благословение кончается. Любочка, бледная, такая торжественная, строгая на вид, целуется со своими подругами, и после этого все с шумом, толкая друг друга, устремляются в переднюю. Шафера с тревожной спешкой, крича без всякой надобности «*rapdon!*»¹, одевают невесту.

— Любочка, дай я на тебя хоть еще разочек посмотрю! — стонет старуха.

— Ах, Дарья Даниловна! — вздыхает кто-то укоризненно.— Радоваться надо, а вы это бог знает что выдумали...

— Спира! Да где же ты? Спира! Наказание с этим мальчишкой! Иди вперед!

— Цичас!

Один из шаферов берет шлейф невесты, и процессия начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на косяках всех дверей виснут чужие горничные и няньки; они пожирают глазами невесту, слышится их одобрительное жужжанье. В задних рядах раздаются тревожные голоса: кто-то что-то забыл, у кого-то невестин букет; дамы взвизгивают, умоляя не делать чего-то, потому что «примета есть».

У подъезда уже давно ждут карета и коляска. На лошадиных гривах бумажные цветы, и у всех кучеров руки перевязаны около плеч цветными платками. На козлах кареты сидит чудо-богатырь с широкой окладистой бородой, в новом кафтане. Его протянутые вперед руки с сжатыми кулаками, откинута назад голова, необычайно широкие плечи придают ему не человеческий, не живой вид; весь он точно окаменел...

¹ извините! (франц.)

— Тпррр! — говорит он тонким голосом и тотчас же добавляет густым басом:— Шалишь! (Отчего и кажется, что в его широкой шее два горла.) Тпррр! Шалишь!

Улица по обе стороны запружена публикой.

— Пода-ай! — кричат шафера, хотя подавать нечего, так как карета давно уже подана. Спира с образом, невеста и две подруги садятся в карету. Дверца хлопает, и улица оглашается грохотом кареты.

— Коляску шаферам! пода-ай!

Шафера прыгают в коляску и, когда она трогается с места, приподнимаются и, корчась, как в судорогах, натягивают на себя свои пальто. Подаются следующие экипажи.

— Софья Денисовна, садитесь! — слышатся голоса.— Пожалуйста и вы, Николай Мироныч! Тпррр! Не беспокойтесь, барышня, всем будет место! Берегись!

— Слышишь, Макар! — кричит отец невесты.— Назад из церкви поезжайте другой дорогой! Примета есть!

Экипажи гремят по мостовой, шум, крики... Наконец все уехали, стало опять тихо. Отец невесты возвращается в дом; в зале лакеи убирают стол, в соседней темной комнатке, которую все в доме называют «проходной», сморкаются музыканты, всюду суета, беготня, но ему кажется, что в доме пусто. Солдаты-музыканты копошатся в своей маленькой, темной комнатке, всё никак не могут поместиться со своими громоздкими пюпитрами и инструментами. Пришли они недавно, но уже воздух в «проходной» стал заметно гуще, нет никакой возможности дышать. Их «старшой» Осипов, у которого от старости усы и бакены сбились в паклю, стоит перед пюпитром и сердито глядит в ноты.

— А тебе, Осипов, сносу нет,— говорит подполковник.— Сколько лет я тебя уже знаю? Лет двадцать!

— Больше, ваше высокоблагородие. На вашей свадьбе играл, ежели изволите помнить.

— Да, да...— вздыхает подполковник и задумывается.— Такая, брат, история... Сыновей, слава богу, поженил, теперь вот дочку выдаю, и остаемся мы со

старухой сироты... Нету у нас теперь деток. Начистоту разделались.

— Кто знает? Может, Ефим Петрович, вам бог еще пошлет, ваше высокоблагородие...

Ефим Петрович с удивлением глядит на Осипова и смеется в кулак.

— Еще? — спрашивает он. — Как ты сказал? Детей еще бог пошлет? Мне-то?

Он давится от смеха, и слезы у него выступают на глазах; музыканты из вежливости тоже смеются. Ефим Петрович ищет глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказал Осипов, но она сама уже летит прямо на него, стремительно, сердитая, с заплаканными глазами.

— Бога ты не бойшься, Ефим Петрович! — говорит она, всплескивая руками. — Мы ищем, ищем ром, с ног сбились, а ты тут стоишь! Где ром? Николай Мироныч не может без рома, а тебе горюшка мало! Поди узнай у Игната, куда он ром поставил!

Ефим Петрович идет в подвальный этаж, где помещается кухня. По грязной лестнице снуют бабы и лакеи. Молодой солдат, накинув мундир на одно плечо, уперся коленом о ступень и вертит мороженицу; пот течет с его красного лица. В темной и тесной кухне, в облаках дыма, работают повара, взятые напрокат из клуба. Один потрошит каплуна, другой делает из морковки звездочки, третий, красный, как кумач, сует в печь противень. Ножи стучат, посуда звенит, масло шипит. Попад в этот ад, Ефим Петрович забывает, о чем говорила ему старуха.

— А вам здесь, братцы, не тесно? — спрашивает он.

— Ничего-с, Ефим Петрович. В тесноте, да не в обиде, будьте покойны-с...

— Уж вы постарайтесь, ребята.

В темном углу вырастает фигура Игната, буфетчика из клуба.

— Будьте покойны-с, Ефим Петрович! — говорит он. — Все предоставим в лучшем виде. С чем прикажете делать мороженое: с ромом, с го-сотерном или без ничего?

Вернувшись в комнаты, Ефим Петрович долго слоняется по комнатам, потом останавливается в

дверях «проходной» и опять заводит разговор с Осиповым.

— Так-то, брат...—говорит он.—Сиротами остаемся. Покуда новый дом не высохнет, молодые с нами проживут, а там прощайте! Только мы их и видели...

Оба вздыхают... Музыканты из вежливости тоже вздыхают, отчего воздух становится еще гуще.

— Да, брат,—вяло продолжает Ефим Петрович,—была одна дочка, да и ту отдаем. Человек он образованный, говорит по-французски... Только вот попивает, но кто нынче не пьет? Все пьют.

— Это ничего, что пьет,—говорит Осипов.—Главное достоинство, Ефим Петрович, чтобы дело свое помнил. А ежели, положим, выпить, то почему не выпить? Выпить можно.

— Конечно, можно.

Слышится всхлипыванье.

— Разве он может чувствовать? — жалуется Дарья Даниловна какой-то старухе.— Ведь мы ему, мать моя, отсчитали десять тысяч копейка в копейку, дом на Любочку записали, десятии триста земли... легко ли сказать! А нешто он может чувствовать? Не так-то они нынче, чтобы чувствовать!

Стол с фруктами уже готов. Бокалы тесно стоят на двух подносах, бутылки с шампанским завернуты в салфетки, в столовой шипят самовары. Лакей без усов, с бакенами записывает на бумажке имена лиц, здоровье которых он будет провозглашать за ужином, и читает их, точно учит наизусть. Из комнат выгоняют чужую собаку. Напряженное ожидание... Но вот раздаются тревожные голоса:

— Едут! Едут! Батюшка Ефим Петрович, едут!

Старуха, обомлевшая, с выражением крайней растерянности, хватает хлеб-соль, Ефим Петрович надувает щеки, и оба вместе спешат в переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраивают инструменты, с улицы доносится шум экипажей. Опять вошла со двора собака, ее гонят, она взвизгивает... Еще одна минута ожидания — и в «проходной», резко, остервенело рванув, раздается оглушительный, дикий, неистовый

марш. Воздух оглашается восклицаниями, поцелуями, хлопают пробки, у лакеев лица строгие...

Любочка и ее супруг, солидный господин в золотых очках, ошеломлены. Оглушительная музыка, яркий свет, всеобщее внимание, масса незнакомых лиц угнетают их... Они тупо глядят по сторонам, ничего не видят, ничего не понимают.

Пьют шампанское и чай, все идет чинно и степенно. Многочисленные родственники, какие-то необыкновенные дедушки и бабушки, которых раньше никто никогда не видел, духовенство, отставные военные с плоскими затылками, посажёные отец и мать жениха, крестные, стоят около стола и, осторожно прихлебывая чай, беседуют о Болгарии; барышни, как мухи, жмутся у стен; даже шафера утратили свой беспокойный вид и стоят смирно у дверей.

Но проходит час-другой, и весь дом дрожит уже от музыки и танцев. У шаферов опять такой вид, точно они с цепи сорвались. В столовой, где покоем накрыт закусочный стол, толпятся старики и нетанцующая молодежь; Ефим Петрович, выпивший уже рюмок пять, подмигивает, щелкает пальцами и давится от смеха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферов, и это ему нравится, кажется остроумным, забавным, и он рад, так рад, что не может выразить на словах, а только хохочет... Его жена, не евшая ничего с утра и опьяневшая от шампанского, блаженно улыбается и говорит всем:

— Нельзя, нельзя, господа, в спальню ходить! Это неделикатно в спальню ходить. Не заглядывайте!

Это значит: пожалуйста поглядеть спальню! Все ее материнское тщеславие и все таланты ушли в эту спальню. И есть чем похвастать! Посреди спальни стоят две кровати с высокими постелями; наволочки кружевные, одеяла шелковые, стеганые, с мудреными, непонятными вензелями. На постели Любочки лежит чепчик с розовыми лентами, а на постели ее мужа шлафрок мышинного цвета с голубыми кистями. Каждый из гостей, взглянув на постели, считает своим

долгом значительно подмигнуть глазом и сказать «м-да-а», а старуха сияет и говорит шепотом:

— Спальня-то рублей триста стоила, батюшка. Шутка ли! Ну, уходите, мужчинам не годится сюда ходить.

В третьем часу подают ужин. Лакей с бакенами провозглашает тосты, а музыка играет туш. Ефим Петрович напивается окончательно и уже никого не узнает; ему кажется, что он не у себя дома, а в гостях, что его обидели; он в передней надевает пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричит хриплым голосом:

— Не желаю я тут больше оставаться! Вы все подлецы! Негодяи! Я вас выведу на чистую воду!

А возле стоит жена и говорит ему:

— Уймись, безбожная твоя душа! Уймись, истукан, ирод, наказание мое!

БЕГЛЕЦ

Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отпрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком наполнились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот шелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать; он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал:

— Мама, гляди: воробей!

— Молчи, детка, молчи! — сказала мать.

В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.

— Подходи записываться! — пробасил он.

Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер

спрашивал имя и отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой пасхи.

Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать; через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:

— Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне, хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадет!

Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал:

— Сделайте такую милость, Иван Миколаич!

— Тут нечего — Иван Миколаич! — передразнил доктор. — Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все...

Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора:

— Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!

Настала очередь Пашки.

— Павел Галактионов! — крикнул доктор.

Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.

— Что болит? — спросил он, не глядя на вошедших.

— У парнишки болячка на локте, батюшка, — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.

— Раздень его!

Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.

— Баба, не в гости пришла! — сказал сердито доктор. — Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут.

Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху... Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу.

— Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, — сказал он и вздохнул. — Ну, показывай свой локоть.

Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.

— Ме-е! — передразнил доктор. — Женить пора бабовника, а он ревет! Бессовестный.

Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!»

Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил.

— Бить тебя, баба, да некому, — сказал он. — Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропавшая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!

— Вам лучше знать, батюшка... — вздохнула баба.

— Батюшка... Сгноила ларню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие.

Доктор закурил папироску. Пока папироска дымилась, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже:

— Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить.

— Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?

— Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставься, — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. — Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А?

Пашка вопросительно поглядел на мать.

— Оставайся, детка! — сказала та.

— Остается, остается! — весело закричал доктор. — И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупагь. Марья Денисовна, сведите его наверх!

Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел уважить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерница уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — все громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно.

Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный тощий человек с каучуковым пузырем на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу.

Фельдшерница, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежды.

— Это тебе, — сказала она. — Одевайся.

Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посы-

лает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев; он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик.

В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой.

— Ешь! — сказала она.

Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живется очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда, кроме мяса, в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания его ни к чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.

— А где же хлеб-то? — спросила сиделка.

Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.

— Ну, зачем сожрал? — сказала укоризненно сиделка.— А с чем же ты жаркое есть будешь?

Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик; Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок.

Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него

глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи, но когда он взгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих божков.

— Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки.

— У них, парнишка, воспа.

Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул:

— Михайло!

Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа старика. Старик не переставая кашлял и плевал в кружку; кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика: когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса.

— Дед, что это у тебя свистит? — спросил Пашка.

Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил:

— Дед, а где лисица?

— Какая лисица?

— Живая.

— Где ж ей быть? В лесу!

Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побранила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю; приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу; за окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и

ловить чижей; Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабу Егоровну... и ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза.

Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагнул и говорил полусшепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры.

— Понесем с кроватью аль так? — спросила одна из них.

— Так. Не пройдешь с кроватью. Эка, помер не вовремя, царство небесное!

Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподнял: руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий — это был мужик, похожий на бабу, — закрестился, и все трое, беспорядочно ступая ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты.

В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати.

— Ма-а-ма! — простонал он басом.

И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки; больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях; мешаясь с тенями, всключенные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше; на крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой.

Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери.

Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать! Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты; постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости: за больничным корпусом белели могильные кресты.

— Ма-амка! — закричал он и бросился назад.

Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно.

Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой досочкой; Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам; он покачнулся и без чувств повалился на ступени.

Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него:

— Ну и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому.

ЗАДАЧА

Чтобы фамильная тайна Усковых не проскользнула как-нибудь из дома на улицу, приняты строжайшие меры. Одна половина прислуги отпущена в театр и в цирк, другая — безвыходно сидит в кухне. Отдан приказ никого не принимать. Жена дяди-полковника, ее сестра и гувернантка хотя и посвящены в тайну, но делают вид, что ничего не знают; они сидят в столовой и не показываются ни в гостиную, ни в залу.

Саша Усков, молодой человек двадцати пяти лет, из-за которого весь сыр-бор загорелся, давно уже пришел и, как советовал ему его заступник, дядя по матери, добрейший Иван Маркович, смиренно сидит в зале около двери, идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному, искреннему объяснению.

За дверью в кабинете происходит семейный совет. Разговор идет на очень неприятную и щекотливую тему. Дело в том, что Саша Усков учел в одной из банкирских контор фальшивый вексель, которому, три дня тому назад, минул срок, и теперь двое дядей по отцу и Иван Маркович — дядя по матери — решают задачу: заплатить ли им по векселю и спасти фамильную честь, или же омыть руки и предоставить дело судебной власти?

Для людей посторонних и незаинтересованных подобные вопросы представляются легкими, для тех же,

на долю которых выпадает несчастье — решать их серьезно, они чрезвычайно трудны. Дяди говорят уже давно, но решение задачи не подвинулось вперед ни на шаг.

— Господа! — говорит дядя-полковник, и в голосе его слышатся утомление и горечь.— Господа, кто говорит, что фамильная честь предрассудок? Я этого вовсе не говорю. Я только предостерегаю вас от ложного взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Как вы этого не поймете. Ведь я не по-китайски говорю, а по-русски!

— Голубчик, мы понимаем,— кротко заявляет Иван Маркович.

— Как же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю еще раз: фамильная честь, ложно понимаемая, есть предрассудок. Ложно понимаемая! Вот что я говорю! Из каких бы то ни было побуждений укрывать и оставлять безнаказанным мошенника, кто бы он ни был, это противозаконно и недостойно порядочного человека, это — не спасение фамильной чести, а гражданская трусость! Возьмите вы в пример армию... Честь армии для нас дороже всяких других честей, однако же мы не укрываем своих преступных членов, а судим их. И что же? Разве от этого страдает честь армии? Напротив!

Другой дядя по отцу, чиновник казенной палаты, человек молчаливый, недалекий и ревматический, молчит или же говорит только о том, что в случае возникновения процесса фамилия Усковых попадет в газеты; по его мнению, дело следует потушить в самом начале и не предавать его огласке, но, кроме ссылок на газеты, он ничем другим не поясняет этого своего мнения.

Дядя по матери, добрейший Иван Маркович, говорит плавно, мягко и с дрожью в голосе. Начинает он с того, что молодость имеет свои права и что ей свойственны увлечения. Кто из нас не был молод и кто не увлекался? Не говоря уж об обыкновенных смертных, даже великие умы в молодости не избегали увлечений и ошибок. Возьмите, например, биографии великих писателей. Кто из них, будучи молодым,

не проигрывал, не пропивал, не навлекал на себя гнева людей здравомыслящих? Если же увлечение Саши граничит с преступлением, то нужно принять во внимание, что он, Саша, не получил почти никакого образования: его исключили из пятого класса гимназии. Родителей лишился он в раннем детстве и, таким образом, в самом нежном возрасте был лишен надзора и хороших, благотворных влияний. Человек он нервный, легко возбуждающийся, не имеющий под собою почвы, а главное — обойденный счастьем. Если и виновен он, то во всяком случае заслуживает снисхождения и участия всех сострадательных душ. Наказать его, конечно, следует, но он и так уже наказан своею совестью и мучениями, которые он переживает теперь, ожидая приговора своих родственников. Сравнение с армией, которое сделал полковник, прелестно и делает честь его высокому уму; призыв к гражданскому чувству говорит о благородстве его души, но не надо забывать, что гражданин в каждом отдельном индивидууме тесно связан с христианином...

— Нарушим ли мы гражданский долг, — вдохновенно восклицает Иван Маркович, — если вместо того, чтобы казнить преступника-мальчика, мы протянем ему руку помощи?

Далее Иван Маркович говорит о фамильной чести. Сам он не имеет чести принадлежать к роду Усковых, но отлично знает, что этот знаменитый род ведет свое начало с XIII века; он также ни на минуту не забывает, что его незабвенная, горячо любимая сестра была женою одного из представителей этого рода. Одним словом, этот род для него дорог по многим причинам, и он не допускает мысли, чтобы из-за каких-нибудь тысячи пятисот рублей упала тень на стоящее вне всякой цены геральдическое дерево. Если все изложенные мотивы недостаточно убедительны, то в заключение он, Иван Маркович, предлагает слушателям уяснить себе: что такое, собственно, преступление? Преступление есть безнравственное действие, имеющее в своем основании злую волю. Но свободна ли человеческая воля? На этот вопрос наука еще не дала положительного ответа. Ученые держатся различных

взглядов. Например: новейшая школа Ломброзо не признает свободной воли и каждое преступление считает продуктом чисто анатомических особенностей индивидуума.

— Иван Маркович! — говорит умоляюще полковник. — Мы говорим серьезно, о важном деле, а вы — Ломброзо! Умный человек, подумайте: для чего вы все это говорите? Неужели вы думаете, что все эти погрешности и ваша риторика дадут нам ответ на вопрос?

Саша Усков сидит у двери и слушает. Он не чувствует ни страха, ни стыда, ни скуки, а одну только усталость и душевную пустоту. Ему кажется, что для него решительно все равно: простят его или не простят; пришел же он сюда ждать приговора и объясняться только потому, что его упросил прийти добрейший Иван Маркович. Будущего он не боится. Для него все равно, где ни быть: здесь ли в зале, в тюрьме ли, в Сибири ли.

— Сибирь так Сибирь — черт с ней!

Жизнь надоела и стала невыносимо тяжелой. Он невылазно запутался в долгах, в карманах у него ни гроша, родня опротивела, с приятелями и с женщинами рано или поздно придется расстаться, так как они уж слишком презрительно стали относиться к его прихлебательской роли. Будущее пасмурно.

Саша равнодушен, и волнует его только одно обстоятельство, а именно: за дверью величают его негодяем и преступником. Каждую минуту он готов вскочить, ворваться в кабинет и в ответ на противный, металлический голос полковника крикнуть:

«Вы лжете!»

Преступник — слово страшное. Так называются убийцы, воры, грабители, вообще люди злые и нравственно отпетые. А Саша слишком далек от всего этого... Правда, он много должен и не платит долгов. Но ведь долг — не преступление, и редкий человек не должен. Полковник и Иван Маркович — оба в долгах...

«В чем же я еще грешен?» — думает Саша.

Он учел фальшивый вексель. Но ведь это делают все знакомые ему молодые люди. Например, Хандриков и фон Бурст всякий раз, когда у них не бывает

денег, учитывают фальшивые векселя родителей или знакомых и потом, получив деньги из дому, выкупают их до срока. Саша сделал то же самое, но не выкупил векселя, потому что не получил денег, которые обещал дать ему займы Хандриков. Виноват не он, а обстоятельства. Правда, пользование чужой подписью считается предосудительным; но все-таки это не преступление, а общепринятый маневр, некрасивая формальность, ни для кого не обидная и безвредная, так как Саша, подделывая подпись полковника, не имел в виду причинить кому-либо зло или убыток.

«Нет, это не значит, что я преступен...— думает Саша.— И не такой у меня характер, чтобы решиться на преступление. Я мягок, чувствителен... когда бывают деньги, помогаю бедным...»

Саша думает в этом роде, а за дверью все еще горят.

— Господа, но ведь это бесконечно! — горячится полковник.— Представьте, что мы простили его и уплатили по векселю. Но ведь после этого он не перестанет вести беспутную жизнь, мотать, делать долги, ходить к нашим портным и от нашего имени заказывать себе платье! Можете ли вы поручиться, что эта проделка его последняя? Что касается меня, то я глубоко не верю в его исправление!

В ответ ему что-то бормочет чиновник казенной палаты, после него плавно и мягко начинает говорить Иван Маркович. Полковник нетерпеливо двигает стулом и заглушает его слова своим противным, металлическим голосом. Наконец дверь отворяется, и из кабинета выходит Иван Маркович; на его тощем, бритом лице выступили красные пятна.

— Пойдем! — говорит он, беря Сашу за руку.— Поди и чистосердечно объяснись. Без гордости, голубчик, а покорно и от души.

Саша идет в кабинет. Чиновник казенной палаты сидит; полковник, заложив руки в карманы и держа одно колено на стуле, стоит перед столом. В кабинете накурено и душно. Саша не глядит ни на чиновника, ни на полковника; ему вдруг становится совестно и

жутко. Он беспокойно оглядывает Ивана Марковича и бормочет:

— Я заплачú... Я отдам...

— На что ты надеялся, когда учитывал вексель? — слышит он металлический голос.

— Я... мне обещал к этому времени дать займы Хандриков.

Больше ничего не может сказать Саша. Он выходит из кабинета и опять садится на стул у двери. Сейчас он охотно бы ушел совсем, но его душит ненависть, и ему ужасно хочется остаться, чтобы оборвать полковника, сказать ему какую-нибудь дерзость. Он сидит и придумывает, что бы такое сильное и веское сказать ненавистному дяде, а в это время в дверях гостиной, окутанная сумерками, показывается женская фигура. Это жена полковника. Она манит к себе Сашу и, ломая руки, плача говорит:

— Alexandre, я знаю, вы меня не любите, но... выслушайте меня, выслушайте, прошу вас... Мой друг, как это могло случиться? Ведь это ужасно, ужасно! Ради бога, просите их, оправдывайтесь, умоляйте.

Саша глядит на ее вздрагивающие плечи, на крупные слезы, которые текут по ее щекам, слышит сзади себя глухие, нервные голоса утомленных, измученных людей и пожимает плечами. Он никак не ожидал, чтобы его аристократическая родня подняла бурю из-за каких-нибудь тысячи пятисот рублей! Непонятны ему ни слезы, ни дрожь голосов.

Через час слышит он, что полковник берет верх: дяди наконец склоняются к тому, чтобы передать дело судебной власти.

— Решено! — говорит полковник, вздыхая. — Баста!

После такого решения все дяди, даже настойчивый полковник, заметно падают духом. Наступает тишина.

— Господи, господи! — вздыхает Иван Маркович. — Бедная моя!

И он начинает тихо говорить о том, что, вероятно, теперь в кабинете невидимо присутствует его сестра, Сашина мать. Он чувствует душою, как эта несчастная, святая женщина плачет, тоскует и просит за сво-

его мальчика. Ради ее загробного покоя следовало бы пощадить Сашу.

Слышатся всхлипыванья. Иван Маркович плачет и бормочет что-то, чего нельзя разобрать сквозь дверь. Полковник встает и шагает из угла в угол. Длинный разговор начинается снова.

Но вот в гостиной часы бьют два. Семейный совет кончен. Полковник, чтобы не видеть человека, испортившего ему столько крови, идет из кабинета не в залу, а через переднюю... Иван Маркович входит в залу... Он взволнован и радостно потирает руки. Его заплаканные глаза глядят весело и рот кривится в улыбку.

— Отлично! — говорит он Саше. — Слава богу! Ты, мой друг, можешь идти домой и спать покойно. Решили мы заплатить по векселю, но с условием, что ты раскаешься и завтра же поедешь ко мне в деревню заниматься делом.

Через минуту Иван Маркович и Саша, в пальто и в шапках, спускаются вниз по лестнице. Дядя бормочет что-то назидательное. Саша не слушает и чувствует, как постепенно с его плеч сваливается что-то тяжелое и жуткое. Его простили, он свободен! Радость, как ветер, врывается в его грудь и обдает сладким холодком его сердце. Ему хочется дышать, быстро двигаться, жить! Взглянув на уличные фонари и на черное небо, он вспоминает, что сегодня у «Медведя» фон Бурст справляет свои именины, и снова радость охватывает его душу...

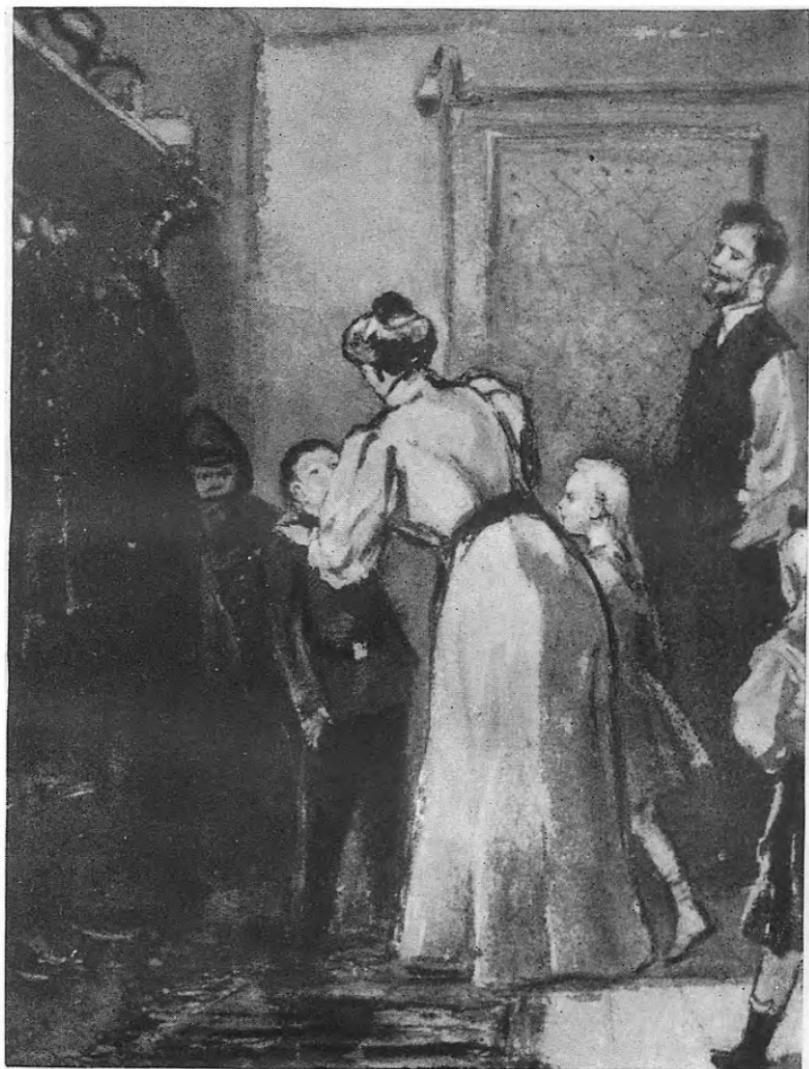
«Еду!» — решает он.

Но тут вспоминает он, что у него нет ни копейки, что товарищи, к которым он поедет сейчас, презирают его за безденежье. Надо достать денег во что бы то ни стало!

— Дядя, дай мне займы сто рублей! — говорит он Ивану Марковичу.

Дядя удивленно глядит ему в лицо и пятится к фонарному столбу.

— Дай! — говорит Саша, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и начиная задыхаться. — Дядя, я прошу! Дай сто рублей!



К рассказу «Мальчики».
Художники Кукрыниксы. 1941.

Лицо его перекосило; он дрожит и уж наступает на дядю...

— Не дашь? — спрашивает он, видя, что тот все еще удивлен и не понимает.— Послушай, если не дашь, то завтра же я донесу на себя! Я не дам вам заплатить по векселю! Завтра же я учту новый фальшивый вексель!

Ошеломленный Иван Маркович в ужасе, бормоча что-то несвязное, достает из бумажника сторублевую бумажку и подает ее Саше. Тот берет и быстро отходит от него...

Наняв извозчика, Саша успокаивается и чувствует, как в его грудь опять врывается радость. Права молодости, о которых говорил на семейном совете добрейший Иван Маркович, проснулись и заговорили. Саша рисует себе предстоящую попойку, и в его голове меж бутылок, женщин и приятелей мелькает мыслишка:

«Теперь вижу, что я преступен. Да, я преступен».

ИНТРИГИ

- a) Выбор председателя Общества.
- b) Обсуждение инцидента 2-го октября.
- c) Реферат действит. члена д-ра М. Н. фон Брона.
- d) Текущие дела Общества.

Доктор Шелестов, виновник инцидента 2-го октября, собирается на это заседание; он давно уже стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам; если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспано, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, втайне проникнутся уважением и подумают:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа!

Как человек, которого мало интересуют враги и их дразги, он придет на заседание позже всех. Он войдет в залу бесшумно, томно проведет рукой по волосам и, не поглядев ни на кого, сядет у самого краешка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнет, потянет к себе какую-нибудь газету, начнет читать... Все будут говорить, спорить, кипятиться, призывать друг друга к порядку, а он будет молчать и смотреть в газету. Но вот наконец, когда его имя

станет повторяться все чаще и чаще и жгучий вопрос накалится добела, он поднимет скучающие, утомленные глаза на коллег и скажет как бы нехотя:

— Меня вынуждают говорить... Я не готовился, господа, а потому, простите, моя речь будет недостаточно складна. Начну *ab ovo*...¹ В прошлом заседании некоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от меня объяснений. Находя объяснения излишними, а обвинение недобросовестным, я попросил исключить меня из числа членов Общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серия обвинений, я, к прискорбию, вижу, что мне не обойтись без объяснений. Извольте, я объяснюсь.

Далее, небрежно играя карандашом или цепочкой, он скажет, что действительно на консилиумах он иногда возвышает голос и обрывает коллег, не стесняясь присутствием посторонних; правда и то, что он однажды на консилиуме, в присутствии врачей и родных, спросил у больного: «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится без инцидента... Но почему? Очень просто. На консилиумах его, Шелестова, всегда поражает в товарищах низкий уровень знаний. В городе врачей тридцать два, и большинство из них знает меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко. Конечно, *popina sunt odiosa*², но на заседании всё люди свои, и к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон проткнул зондом пищевод чиновнице Сережкиной...

В это время фон Брон вскочит, всплеснет руками и завопиет:

— Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вам!

Шелестов не обратит на него внимания и будет продолжать:

— Всем также известно, что уважаемый коллега

¹ с самого начала... (лат.)

² не будем называть имен (лат.).

Жила у актрисы Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол, отчего и последовал вскорости *exitus letalis*¹. Уважаемый товарищ Бесструнко, вместо того чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги, вылушил здоровый ноготь на правой ноге. Не могу также не напомнить вам случая, когда уважаемый товарищ Терхарьянц с таким усердием катетеризовал у солдата Иванова евстахиевы трубы, что у больного лопнули обе барабанные перепонки. Припоминаю кстати, как этот же самый товарищ, извлекая зуб, вывихнул больному нижнюю челюсть и не вправил ее до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление пять рублей. Уважаемый товарищ Курицын женат на племяннице аптекаря Груммер и находится с ним в стачке. Всем также известно, что секретарь нашего Общества, молодой товарищ Скоропалительный, живет с женою нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густава Густавовича Прехтеля... От низкого уровня знаний я незаметно перешел к погрешностям этического свойства. Тем лучше. Этика — наше больное место, господа, и, чтобы не казаться голословным, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова, который, будучи на именинах у полковницы Трещинской, рассказывал, что будто бы с женою нашего председателя живет не Скоропалительный, а я! Это смеет говорить тот самый господин Пузырьков, которого я в прошлом году застал с женою уважаемого товарища Знобиша! Кстати, о докторе Знобиш... Кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно? Знобиш... Кто женился на купеческой дочери из-за приданого? Знобиш! Что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается втайне гомеопатией и получает деньги от пруссаков за шпионство. Прусский шпион — это уж *ultima ratio*!²

Докторá, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употребляют два латинские выражения:

¹ смертельный исход (*лат.*).

² последний довод! (*лат.*)

nomina sunt odiosa и *ultima ratio*. Шелестов будет говорить не только по-латыни, но и по-французски и по-немецки — как угодно! Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски; председатель утомится звонить, уважаемые товарищи повскакивают со своих мест, завопиют, замашут руками... Товарищи иудейского вероисповедания соберутся в кучку и загалдят:

— Гал-гал-гал-гал-гал...

Шелестов же, ни на что не глядя, будет продолжать:

— Что же касается всего Общества, то, при настоящем его составе и порядках, оно неминуемо должно погибнуть. Все в нем построено исключительно на интригах. Интриги, интриги и интриги! Я, как одна из жертв этой сплошной, демонической интриги, считаю себя обязанным изложить следующее...

Он будет излагать, а его партия аплодировать и торжествующе потирать руки. И вот, среди невообразимого гвалта и раскатов грома, начинаются выборы председателя. Фон Брон и К^о горой стоят за Прехтеля, но публика и благомыслящие врачи шикают им и кричат:

— Долой Прехтеля! Просим Шелестова! Шелестова!

Шелестов соглашается, но с условием, что Прехтель и фон Брон попросят у него извинения за инцидент 2-го октября. Опять подымается невообразимый шум, и опять уважаемые товарищи иудейского вероисповедания собираются в кучку и — «гал-гал-гал...». Прехтель и фон Брон, возмущенные, кончают тем, что просят не считать их более членами Общества. И прекрасно!

Шелестов — председатель. Прежде всего он почистит авгиевы конюшни. Знобиша — вон! Терхарьянца — вон! Уважаемых товарищей иудейского вероисповедания — вон! Со своей партией он сделает то, что к январю в Обществе не останется ни одного интригана. В лечебнице Общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторной стены и вывесить объявление: «Курить строго запрещается»; засим он прогонит

фельдшера и фельдшерицу, лекарства будет забирать не у Груммера, а у Хрящамбжицкого, врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдения и т. п. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать: «Председатель Общества N-ских врачей».

Так мечтает Шелестов, стоя у себя дома перед зеркалом. Но вот часы бьют семь и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание. Он пробуждается от сладких мечтаний и спешит придать своему лицу томное выражение, но — увы! — хочет он сделать лицо томным и интересным, а оно не слушается и становится кислым, тупым, как у озябшего дворняжки-щенка; хочет он сделать его солидным, а оно вытягивается и выражает недоумение, и ему теперь кажется, что он похож не на щенка, а на гуся. Он опускает веки, щурит глаза, надувает щеки, морщит лоб, но — хоть плюнь! — выходит совсем не то, что хотелось бы. Таковы уж, должно быть, природные свойства этого лица, что с ним ничего не поделаешь. Лоб узенький, маленькие глазки бегают быстро, как у плутоватой торговки, нижняя челюсть как-то глупо и нелепо торчит вперед, а щеки и шевелюра имеют такой вид, точно «уважаемого товарища» минуту назад вытолкали из бильярдной.

Глядит Шелестов на это свое лицо, злится, и ему начинает казаться, что и оно интригует против него. Идет он в переднюю, одевается, и кажется ему, что интригуют и шуба, и калоши, и шапка.

— Извозчик, в лечебницу! — кричит он.

Дает он двугривенный, а интриганы-извозчики просят четвертак... Садится он в пролетку, едет, а холодный ветер бьет ему в лицо, мокрый снег застилает глаза, лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось, и все интригует... Интриги, интриги и интриги!

СТАРЫЙ ДОМ

Рассказ домовладельца

Нужно было сломать старый дом, чтобы на месте его построить новый. Я водил архитектора по пустым комнатам и между делом рассказывал ему разные истории. Рваные обои, тусклые окна, темные печи — все это носило следы недавней жизни и вызывало воспоминания. По этой, например, лестнице однажды пьяные люди несли покойника, спотыкнулись и вместе с гробом полетели вниз; живые больно ушиблись, а мертвый как ни в чем не бывало был очень серьезен и покачивал головой, когда его поднимали с пола и опять укладывали в гроб. Вот три подряд двери: тут жили барышни, которые часто принимали у себя гостей, а потому одевались чище всех жильцов и исправно платили за квартиру. Дверь, что в конце коридора, ведет в прачечную, где днем мыли белье, а ночью шумели и пили пиво. А в этой квартире из трех комнат все насквозь пропитано бактериями и бациллами. Тут нехорошо. Тут погибло много жильцов, и я положительно утверждаю, что эта квартира кем-то когда-то была проклята и что в ней вместе с жильцами всегда жил еще кто-то, невидимый. Особенно памятна мне судьба одной семьи. Представьте вы себе ничем не замечательного, обыкновенного человечка, у которого есть мать, жена и четверо ребят. Звали его Путохиным, служил он писцом у нотариуса и получал 35 рублей в месяц. Это

был человек трезвый, религиозный, серьезный. Когда он приносил ко мне деньги за квартиру, то всегда извинялся, что плохо одет; извинялся, что просрочил пять дней, и когда я давал ему расписку в получении, то он добродушно улыбался и говорил: «Ну, вот еще! Не люблю я этих расписок!» Жил он бедно, но чисто. В этой средней комнате помещались четверо ребят и их бабушка; тут варили, спали, принимали гостей и даже танцевали. В этой комнатке жил сам Путохин; у него был стол, за которым он исполнял частные заказы: переписывал роли, доклады и т. п. Тут, направо, обитал его жилец, слесарь Егорыч — степенный, но пьющий человек; всегда ему было жарко, и оттого он всегда ходил босиком и в одной жилетке. Егорыч починял замки, пистолеты, детские велосипеды, не отказывался чинить дешевые стенные часы, делал за четвертак коньки, но эту работу он презирал и считал себя специалистом по части музыкальных инструментов. На его столе, среди стального и железного хлама, всегда можно было увидеть гармонику с отломанным клапаном или трубу с вогнутыми боками. Платил он за комнату Путохину два с полтиной, всегда был около своего верстака и выходил только для того, чтобы сунуть в печку какую-нибудь железку.

Когда я, что бывало очень редко, заходил вечерами в эту квартиру, то всякий раз заставлял такую картину: Путохин сидел за своим столом и переписывал что-нибудь, его мать и жена, тощая женщина с утомленным лицом, сидели около лампы и шили; Егорыч визжал терпугом. А горячая, еще не совсем потухшая печка испускала из себя жар и духоту; в тяжелом воздухе пахло щами, пеленками и Егорычем. Бедно и душно, но от рабочих лиц, от детских штанишек, развешанных вдоль печки, от железок Егорыча веяло все-таки миром, лаской, довольством... За дверями в коридоре бегали детишки, причесанные, веселые и глубоко убежденные в том, что на этом свете все обстоит благополучно и так будет без конца, стоит только по утрам и ложась спать молиться богу:

Теперь представьте себе, что посреди этой самой комнаты, в двух шагах от печки, стоит гроб, в котором лежит жена Путохина. Нет того мужа, жена которого жила бы вечно, но тут эта смерть имела что-то особенное. Когда я во время панихиды взглянул на серьезное лицо мужа, на его строгие глаза, то подумал:

«Эге, брат!»

Мне казалось, что он сам, его дети, бабушка, Егорыч уже намечены тем невидимым существом, которое жило с ними в этой квартире. Я глубоко суеверный человек, быть может оттого, что я домовладелец и сорок лет имел дело с жильцами. Я верю в то, что если вам не везет в карты с самого начала, то вы будете проигрывать до конца; когда судьбе нужно стереть с лица земли вас и вашу семью, то все время она остается неумолимо последовательной и первое несчастье обыкновенно бывает только началом длинной цепи... По своей природе несчастья — те же камни. Нужно только одному камню свалиться с высокого берега, чтобы за ним посыпались другие. Одним словом, уходя после панихиды от Путохина, я верил, что ему и его семье несдобровать...

Действительно, проходит неделя, и нотариус неожиданно дает Путохину отставку и на его место сажает какую-то барышню. И что же? Путохина взволновала не столько потеря места, как то, что вместо него посадили именно барышню, а не мужчину. Почему барышню? Это его так оскорбило, что он, вернувшись домой, пересек своих ребятишек, обругал мать и напился пьян. За компанию с ним напился и Егорыч.

Путохин принес мне плату за квартиру, но уже не извинялся, хотя просрочил восемнадцать дней, и молчал, когда брал от меня расписку в получении. На следующий месяц деньги принесла уже мать; она дала мне только половину, а другую половину обещала через неделю. На третий месяц я не получил ни копейки, и дворник стал мне жаловаться, что жильцы квартиры № 23 ведут себя «неблагородно». Это были нехорошие симптомы.

Представьте вы себе такую картину. Хмурое петербургское утро глядит в эти тусклые окна. Около печки старуха поит детей чаем. Только старший внук Вася пьет из стакана, а остальным чай наливается прямо в блюдечки. Перед печкой сидит на корточках Егорыч и сует железку в огонь. От вчерашнего пьянства у него тяжела голова и мутны глаза; он крикает, дрожит и кашляет.

— Совсем с пути сбил, дьявол! — ворчит он. — Сам пьет и других в грех вводит.

Путохин сидит в своей комнате на кровати, на которой давно уже нет ни одеяла, ни подушек, и, запустив руки в волосы, тупо глядит себе под ноги. Он оборван, нечесан, болен.

— Пей, пей скорей, а то в школу опоздаешь! — торопит старуха Васю. — Да и мне время идти к жидам полы мыть...

Во всей квартире только одна старуха не падает духом. Она вспомнила старину и занялась грязной черной работой. По пятницам она моет у евреев в ссудной кассе полы, по субботам ходит к купцам стирать и по воскресеньям, с утра до вечера, бегаёт по городу и разыскивает благодетельниц. Каждый день у нее какая-нибудь работа. Она и стирает, и полы моет, и младенцев принимает, и сватает, и нищенствует. Правда, и она не прочь выпить с горя, но и в пьяном виде не забывает своих обязанностей. На Руси много таких крепких старух, и сколько благополучий держится на них!

Напившись чаю, Вася укладывает в сумку свои книги и идет за печку; тут рядом с платьями бабушки должно висеть его пальто. Через минуту он выходит из-за печки и спрашивает:

— А где же мое пальто?

Бабушка и остальные ребяташки начинают вместе искать пальто, ищут долго, но пальто как в воду кануло. Где оно? Бабушка и Вася бледны, испуганы. Даже Егорыч удивлен. Молчит и не двигается один только Путохин. Чуткий ко всякого рода беспорядкам, на этот раз он делает вид, что ничего не видит и не слышит. Это подозрительно.

— Он пропилил! — заявляет Егорыч.

Путохин молчит, значит, это правда. Вася в ужасе. Его пальто, прекрасное пальто, сшитое из суконного платья покойной матери, пальто на прекрасной коленкоровой подкладке, пропито в кабаке! А вместе с пальто, значит, пропит и синий карандаш, лежавший в боковом кармане, и записная книжка с золотыми буквами «Nota bene»! В книжке засунут другой карандаш с резинкой, и, кроме того, в ней лежат переводные картинки.

Вася охотно бы заплакал, но плакать нельзя. Если отец, у которого болит голова, услышит плач, то закричит, затопает ногами и начнет драться, а с похмелья дерется он ужасно. Бабушка вступится за Васю, а отец ударит и бабушку; кончится тем, что Егорыч вмешается в драку, вцепится в отца и вместе с ним упадет на пол. Оба валяются на полу, барахтаются и дышат пьяной, животной злобой, а бабушка плачет, дети визжат, соседи посылают за дворником. Нет, лучше не плакать.

Оттого, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася мычит, ломает руки и дрыгает ногами или, укусив себе рукав, долго треплет его зубами, как собака зайца. Глаза его безумны, и лицо искривлено отчаянием. Глядя на него, бабушка вдруг срывает со своей головы платок и начинает тоже выделять руками и ногами разные штуки, молча, уставившись глазами в одну точку. И в это время, я думаю, в головах мальчика и старухи сидит ясная уверенность, что их жизнь погибла, что надежды нет...

Путохин не слышит плача, но ему из его комнатки все видно. Когда полчаса спустя Вася, окутанный в бабушкину шаль, уходит в школу, он, с лицом, которое я не берусь описать, выходит на улицу и идет за ним. Ему хочется окликнуть мальчика, утешить, попросить прощения, дать ему честное слово, призвать покойную мать в свидетели, но из груди вместо слов вырываются одни рыдания. Утро сырое, холодное. Дойдя до городского училища, Вася, чтобы товарищи не сказали, что он похож на бабу, распутывает шаль и входит в училище в одной только куртке.

А вернувшись домой, Пугохин рыдает, бормочет какие-то несвязные слова, кланяется в ноги и матери, и Егорычу, и его верстаку. Потом, немного прийдя в себя, он бежит ко мне и, задыхаясь, ради бога просит у меня какого-нибудь места. Я его обнадеживаю, конечно.

— Наконец-таки я очнулся! — говорит он. — Пора уж и за ум взяться. Побезобразничал — и будет с меня.

Он радуется и благодарит меня, а я, который за все время, пока владею домом, отлично изучил этих господ жильцов, гляжу на него, и так и хочется мне сказать ему:

— Поздно, голубчик! Ты уже умер!

От меня Путохин бежит к городскому училищу. Тут он шагает и ждет, когда выпустят его мальчика.

— Вот что, Вася! — говорит он радостно, когда Вася наконец выходит — Мне сейчас обещали место. Погоди, я куплю тебе отличную шубу... я тебя в гимназию отдам! Понимаешь? В гимназию! Я тебя в дворяне выведу! А пить больше не буду. Честное слово, не буду.

И он глубоко верит в светлое будущее. Но вот наступает вечер. Старуха, вернувшись от жидов с двугривенным, утомленная и разбитая, принимается за стирку детского белья. Вася сидит и решает задачу. Егорыч не работает. По милости Путохина он спился и теперь чувствует неодолимую жажду выпить. В комнатах душно, жарко. От корыта, в котором старуха моет белье, валит пар.

— Пойдем, что ли? — угрюмо спрашивает Егорыч.

Мой жилец молчит. После возбуждения ему становится невыносимо скучно. Он борется с желанием выпить, с тоской и... и, конечно, тоска берет верх. История известная...

К ночи Егорыч и Путохин уходят, а утром Вася не находит бабушкиной шали.

Вот такая история происходила в этой квартире. Пропивши шаль, Путохин уж больше не возвращался.

ся домой. Куда он исчез, я не знаю. После того как он пропал, старуха сначала завила, а потом слёгла. Ее свезли в больницу, младших ребят взяла какая-то родня, а Вася поступил вот в эту прачечную. Днем он подавал утюги, а ночью бегал за пивом. Когда из прачечной его выгнали, он поступил к одной из барышень, бегал по ночам, исполняя какие-то поручения, и его звали уже «вышибалой». Что дальше было с ним, я не знаю.

А в этой вот комнате десять лет жил нищий-музыкант. Когда он умер, в его перине нашли двадцать тысяч.

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ

Длинный товарный поезд давно уже стоит у полустанка. Паровоз не издает ни звука, точно потух; около поезда и в дверях полустанка ни души.

От одного из вагонов идет бледная полоса света и скользит по рельсам запасного пути. В этом вагоне на разостланной бурке сидят двое: один — старый с широкой, седой бородой, в полушубке и в высокой, мерлушковой шапке, похожей на папаху, другой — молодой, безусый, в потертом драповом пиджаке и в высоких грязных сапогах. Это грузоотправители. Старик сидит, протянув вперед ноги, молчит и о чем-то думает; молодой полулежит и едва слышно пиликает на дешевой гармонике. Около них на стене висит фонарь с сальной свечкой.

Вагон полон груза. Если сквозь тусклый свет фонаря взглянуть в этот груз, то в первую минуту глазам представится что-то бесформенно-чудовищное и несомненно живое, что-то очень похожее на гигантских раков, которые шевелят клешнями и усами, теснятся и бесшумно карабкаются по скользкой стене вверх к потолку; но взглядишься попристальнее, и в сумерках начинают явственно вырастать рога и их отражения, затем тощие, длинные спины, грязная шерсть, хвосты, глаза. Это быки и их тени. Всех быков в вагоне восемь. Одни из них, обернувшись, глядят на людей и помахивают хвостами, другие стараются лечь или стать поудобнее. Им тесно. Если

один ложится, то остальные должны стоять и жаться друг к другу. Нет ни яслей, ни коновязей, ни подстилок и ни клочка сена...¹

После долгого молчания старик вытаскивает из кармана серебряную луковицу и справляется, который час: четверть третьего.

— Уж второй час стоим,— говорит он, зевая.— Пойти поторопить их, а то до утра будем здесь стоять. Они позаснули, или бог их знает, что они там.

Старик встает и вместе со своею длинною тенью осторожно спускается из вагона в потемки. Он пробирается вдоль поезда к локомотиву и, пройдя десятка два вагонов, видит раскрытую красную печь; против печи неподвижно сидит человеческая фигура; ее козырек, нос и колени выкрашены в багровый цвет, все же остальное черно и едва вырисовывается из потемок.

— Долго еще тут стоять будем? — спрашивает старик.

Ответа нет. Неподвижная фигура, очевидно, спит. Старик нетерпеливо крикает и, пожимаясь от едкой сырости, обходит локомотив, причем яркий свет двух фонарей на мгновение бьет ему в глаза, а ночь от этого становится для него еще чернее; он идет к полустанку.

Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-где белеет недавно выпавший, тающий снег. В самом полустанке светло и натоплено жарко, как в бане. Пахнет керосином. Кроме десятичных весов и небольшого желтого дивана, на котором спит какой-то человек в кондукторской форме, в помещении нет никакой мебели. Налево две настежь открытые двери. В одну из них видны телеграфный станок и лампа с зеленым колпаком, в другую — небольшая комнатка, наполовину занятая темным шкафом. В этой комнатке на подоконнике сидят обер-кондуктор и машинист. Оба они мнут в руках какую-то шапку и спорят.

¹ На многих дорогах, во избежание несчастных случаев, запрещается держать в вагонах сено, а потому живой груз во все время пути остается без корма. (Прим. А. П. Чехова.)

— Это не настоящий бобер, а польский,— говорит машинист.— Настоящие бобры не такие бывают. Всей этой шапке, ежели желаете знать, красная цена — пять целковых!

— Понимаете вы много...— обижается обер-кондуктор.— Пять целковых! А вот мы сейчас купца спросим. Господин Малахин,— обращается он к старику,— как по-вашему: польский это бобер или настоящий?

Старик Малахин берет в руки шапку и с видом знатока шупает мех, дует, нюхает, и на сердитом лице его вдруг вспыхивает презрительная улыбка.

— Стало быть, польский! — говорит он радостно.— Польский и есть.

Начинается спор. Обер-кондуктор доказывает, что на шапке бобер настоящий, а машинист и Малахин стараются убедить его в противном. Среди спора старик вдруг вспоминает о цели своего прихода.

— Бобер бобром, шапка шапкой, а поезд стоит, господа! — говорит он.— Что ж? Кого ждем? Поедем!

— Поедем,— соглашается обер-кондуктор.— Выкурим еще по папироске и поедем. Только спешить нечего... Все равно нас задержат на станции!

— Это с какой стати?

— А так... Запоздали слишком... Если на одной станции опоздаешь, то на других поневоле будут задерживать, чтоб дать ход встречным. Поезжай хоть сейчас, хоть утром, а все равно нам уж не придется ехать четырнадцатым номером. Поедем, должно быть, двадцать третьим.

— Это же по-каковски?

— А по-таковски.

Малахин пытливо глядит на обер-кондуктора, думает и бормочет машинально, как бы про себя:

— Накажи меня бог, считал и даже в книжку записал: за всю дорогу простояли мы лишних тридцать четыре часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня или быки подохнут, или мне за мясо, когда до места доеду, и двух рублей не дадут. Это не езда, а чистое разоренье!

Обер-кондуктор поднимает брови и вздыхает старым выражением, как будто хочет сказать: «К сожалению, все это правда!» Машинист молчит и задумчиво оглядывает шапку. По лицам обоих видно, что у них есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказывают не потому, что хотят скрыть ее, а потому, что подобные мысли передаются молчаливым гораздо лучше, чем на словах. И старик понимает. Он лезет в карман, достает оттуда десятирублевку и без предисловий, не меняя ни тона голоса, ни выражения лица, а с уверенностью и прямою, с какими дают и берут взятки, вероятно, одни только русские люди, подает бумажку обер-кондуктору. Тот молча берет, складывает ее вчетверо и не спеша кладет в карман. После этого все трое выходят из кабинетки и, разбудив на пути спящего кондуктора, идут на платформу.

— Погода! — крикает обер-кондуктор, вздрагивая плечами. — Зги не видать.

— Да, волчья погода...

В окно видно, как около зеленой лампы и телеграфного станка появляется белокурая голова телеграфиста; около нее показывается скоро другая голова, бородастая и в красной фуражке — должно быть, начальника полустанка. Начальник нагнулся к столу, читает что-то на синем бланке и быстро водит папиромой вдоль строк... Малахин идет к своему вагону.

Его спутник, молодой человек, по-прежнему полулежит и едва слышно пиликает на гармонике. Он безус, почти еще мальчик; полное, белое лицо его с широкими скулами детски задумчиво, глаза глядят не как у взрослых, а грустно и покорно, но весь он широк, крепок, тяжел и груб так же, как старик; он не шевелится и не меняет своей позы, точно ему не под силу приводить в движение свое крупное тело. Пошевелился он, и тотчас, кажется, на нем что-нибудь лопнет или раздастся стук, которого испугаются и быки и он сам. Из-под его больших толстых пальцев, неповоротливо перебирающих клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текут мелкие, жиденькие звуки и сливаются в немудрый, однообразный мотивчик; он

слушает и, по-видимому, очень доволен своей музыкой.

Слышится звонок, но так глухо, как будто бы звонят не вблизи, а где-то очень далеко. За ним тотчас же следует торопливый второй звонок, потом третий и свист обер-кондуктора. Проходит минута в глубоком молчании, вагон не движется, стоит на месте, но из-под него начинают слышаться какие-то неопределенные звуки, похожие на скрип снега под полозьями; вагон вздрагивает, и звуки стихают. Наступает опять тишина. Но вот раздается лязг буферов, от сильного толчка вагон вздрагивает, точно делает прыжок, и все быки падают друг на друга.

— Чтоб тебя на том свете так дернуло! — ворчит старик, поправляя свою высокую шапку, съехавшую от толчка на затылок. — Этак он у меня всю скотину перекалечит!

Яша молча встает и, взяв одного упавшего быка за рога, помогает ему подняться на ноги... Вслед за толчком опять наступает тишина. Из-под вагона слышатся звуки скрипящего снега, и кажется, что поезд тронулся слегка назад.

— Сейчас опять дернет, — говорит старик.

И действительно, по поезду проносится судорога, раздается треск, вагон вздрагивает, и быки опять падают друг на друга.

— Задача! — говорит Яша, прислушиваясь. — Должно, поезд тяжелый. Никак не сдвинет.

— Раньше не был тяжелый, а теперь вдруг потяжелел. Нет, брат, это значит, обер-кондуктор с ним не поделился. Поди-ка снеси ему, а то он до утра будет дергать.

Яша берет у старика трехрублевую бумажку и прыгает из вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются вне вагона и постепенно стихают. Тишина... В соседнем вагоне протяжно и тихо мычит бык, точно поет.

Яша возвращается. В вагон влетает сырой, холодный ветер.

— Закрой-ка, Яша, дверь, да будем ложиться, — говорит старик. — Что даром свечку жечь?

Яша задвигает тяжелую дверь; раздается свист локомотива, и поезд трогается.

— Холодно! — бормочет старик, растягиваясь на бурке и кладя голову на узел.— То ли дело дома! И тепло, и чисто, и мягко, и богу есть где помолиться, а тут хуже свиной всяких. Уже четверо суток как сапог не снимали.

Яша, пошатываясь от вагонной качки, открывает фонарь и мокрыми пальцами сдавливает фитиль. Свечка вспыхивает, шипит, как сковорода, и тухнет.

— Да, брат...— продолжает Малахин, слыша, как Яша ложится рядом и своей громадной спиной прижимается к его спине.— Холодно. Из всех щелей так и дует. Поспи тут твоя мать или сестра одну ночь, так к утру бы ноги протянули. Так-то, брат, не хотел учиться и в гимназию ходить, как братья, ну вот и вози с отцом быков. Сам виноват, на себя и ропщи... Братья-то теперь на постелях спят, одеялами укрылись, а ты, нерадивый и ленивый, на одной линии с быками... Да...

Из-за шума поезда не слышно слов старика, но он еще долго бормочет, вздыхает и крикает. Холодный воздух в вагоне становится все гуще и душнее. Острый запах свежего навоза и свечная гарь делают его таким противным и едким, что у засыпающего Яши начинает чесаться в горле и внутри груди. Он перхает и чихает, а привычный старик как ни в чем не бывало дышит всею грудью и только покрывает.

Судя по качке вагона и по стуку колес, поезд летит быстро и неровно. Паровоз тяжело дышит, пыхтит не в такт шуму поезда, и, в общем, получается какое-то клокотанье. Быки беспокойно теснятся и стучат рогами о стены.

Когда старик просыпается, в щели вагона и в открытое оконце глядит синее небо раннего утра. Холодно невыносимо, в особенности спине и ногам. Поезд стоит. Яша, заспанный и угрюмый, возится около быков.

Старик просыпается не в духе. Нахмуренный и суровый, он сердито крикает и глядит исподлобья на Яшу, который подпер своим могучим плечом под грудь

быка и, слегка приподняв его, старается распутать ему ногу.

— Говорил вчерась, что веревки длинные,— ворчит старик,— так нет — «не длинные, папаша!». Ничего нельзя заставить, все по-своему делаешь... Болван.

Он сердито выдвигает дверь, и в вагон врывается свет. Как раз против двери стоит пассажирский поезд, а за ним красное здание с навесом — какая-то большая станция с буфетом. Крыши и площадки вагонов, земля, шпалы — все покрыто тонким слоем пушистого, недавно выпавшего снега. В промежутки между вагонами пассажирского поезда видно, как снуют пассажиры и прохаживается рыжий краснолицый жандарм; лакей во фраке и в белой, как снег, манишке, не выпавшийся, озябший и, вероятно, очень недовольный своей жизнью, бежит по платформе и несет на подносе стакан чаю с двумя сухарями.

Старик поднимается и начинает молиться на восток. Яша, покончив с быком и поставив в угол лопату, становится рядом с ним и тоже молится. Он только шевелит губами и крестится, отец же громко шепчет и конец каждой молитвы произносит вслух и отчетливо.

— ...и жизни будущего века аминь!— говорит громко старик, втягивает в себя воздух и тотчас же шепчет другую молитву и в конце отчеканивает твердо и ясно:— и возложат на алтарь твой тельцы!

Прочитав свои молитвы, Яша торопливо крестится и говорит:

— Пожалуйте пять копеек.

И, получив пятак, он берет красный медный чайник и бежит на станцию за кипятком. Широко прыгая через шпалы и рельсы, оставляя на пушистом снегу громадные следы и выливая на пути из чайника вечерашний чай, он подбегает к буфету и звонко стучит пятак по своей посуде. Из вагона видно, как буфетчик отстраняет рукой его большой чайник и не соглашается отдать за пятак почти половину своего самовара, но Яша сам отворачивает кран и, расставив локти, чтобы ему не мешали, наливает себе кипятку полный чайник.

— Сволочь проклятая! — кричит ему вслед буфетчик, когда он бежит обратно к вагону.

За чаем хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.

— Пить и есть мы умеем, а дела не помним, — говорит он. — Вчерась целый день только и знали, что пили да ели, а небось забыли расходы записать. Экая память, господи!

Старик припоминает вслух вчерашние расходы и записывает в истрепанной записной книжке, где и сколько было дано кондукторам, машинистам, смазчикам...

Между тем пассажирский поезд давно уже ушел, и по свободному пути взад и вперед, как кажется, без всякой определенной цели, а просто радуясь своей свободе, бегают дежурный локомотив. Солнце уже взошло и играет по снегу; с навеса станции и с крыши вагонов падают светлые капли.

Напившись чаю, старик лениво плетется из вагона на станцию. Тут среди залы первого класса стоят знакомый обер-кондуктор и начальник станции, молодой человек с красивой бородкой и в великолепном, шершавом пальто. Молодой человек, вероятно, от непривычки стоять на одном месте, грациозно, как хороший скаковой конь, переминается с ноги на ногу, глядит по сторонам, делает под козырек всем мимо проходящим, улыбается, щурит глаза... Он румян, здоров, весел, лицо его дышит вдохновением и такою свежестью, как будто он только что свалился с неба вместе с пушистым снегом. Увидев Малахина, обер-кондуктор виновато вздыхает и разводит руками.

— Не придется нам ехать четырнадцатым номером! — говорит. — Опоздали сильно. Уж другой поезд пошел с этим номером.

Начальник станции быстро просматривает какие-то бланки, потом переводит свои голубые восторженные глаза на Малахина и, улыбаясь, дыша на него свежестью, осыпает его вопросами:

— Вы господин Малахин? У вас быки? Восемь вагонов? Как же теперь быть? Вы опоздали, и четыр-

надцатый номер уже пущен мною ночью. Что же мы теперь будем делать?

Молодой человек двумя розовыми пальцами осторожно берет Малахина за мех полушубка и, переминаясь с ноги на ногу, ласково и убедительно объясняет ему, что такие-то номера уже ушли, а такие-то пойдут, что он готов сделать для Малахина все от него зависящее. И по лицу его видно, что он действительно готов сделать приятное не только Малахину, но даже всему свету — так он счастлив, доволен и рад! Старик слушает и хотя ровно ничего не понимает в замысловатой поездной нумерации, но одобрительно кивает головой и сам касается двумя пальцами нежной ворсы шершавого пальто. Ему приятно видеть и слушать приятного и ласкового молодого человека. Чтобы с своей стороны показать ему свое расположение, он вынимает десятирублевку, подумав, прибавляет к ней еще две рублевые бумажки и подает их начальнику станции. Тот берет, делает под козырек и грациозно сует себе в карман.

— Вот что, господа, не устроить ли нам таким образом? — говорит он, озаренный новой, только что мелькнувшей идеей. — Воинский поезд опоздал... его, как видите, нет... Так не отправиться ли вам воинским¹ поездом? А воинский я уж пушу двадцать восьмым номером. А?

— Пожалуй, — соглашается обер-кондуктор.

— И отлично! — радуется начальник станции. — В таком случае вам нечего тут ждать, сейчас и поезжайте! Я вас сейчас и отправлю! Отлично!

Он делает Малахину под козырек и, читая на пути бланки, бежит к себе. Старик очень доволен только что бывшим разговором; он улыбается и оглядывает всю залу, как бы ища: нет ли тут еще чего-нибудь приятного?

— А мы все-таки выпьем, — говорит он, беря обер-кондуктора под руку.

¹ Воинским называется номер поезда, предназначенного специально для перевозки войск; когда войск не бывает, он везет товар и идет быстрее обыкновенных товарных поездов. (Прим. А. П. Чехова.)

— Как будто бы еще рановато пить.

— Нет, уж вы позвольте мне угостить вас из любезности.

Оба идут к буфету. Выпивши, обер-кондуктор долго выбирает, чем бы закусить.

Это человек пожилой, чрезвычайно полный, с полинявшим, пухлым лицом. Полнота у него неприятная, обрюзгая, с желтизной, какая бывает у людей, много пьющих и спящих не вовремя.

— А теперь и по второй можно выпить, — говорит Малахин. — Теперь время холодное, не грех выпить. Кушайте, покорнейше прошу. Так, значит, я на вас надеюсь, господин обер-кондуктор, что всю дорогу не будет никаких препятствий и неприятностей. Потому, знаете, в нашем скотопромышленном деле каждый час дорог. Сегодня одна цена мясу, а завтра, гляди, другая. Опоздаешь на день — на два и не попадешь в цену, да вместо того, чтоб пользу взять, гляди, и приедешь домой, извините, без брюков. Кушайте, покорнейше прошу... Я на вас надеюсь, а насчет угощения или чего желаете, я из любезности могу во всякое время вас уважить.

Накормив обер-кондуктора, Малахин возвращается к себе в вагон.

— Сейчас я себе воинский номер вымаклячил, — говорит он сыну. — Шибко поедем. Кондуктор говорит, что если все время с этим номером будем ехать, то завтра в восемь часов вечера будем на месте. Не хлопочешь, брат, не получишь... Так-то... Гляди вот и приучайся...

После первого звонка к дверям вагона подходит человек с лицом, черным от сажи, в блузе и в грязных, потертых панталонах навывпуск. Это смазчик, который только что лазил под вагонами и стучал молотком по колесам.

— Господа, это ваши вагоны с быками? — спрашивает он.

— Наши, а что?

— А то, что два вагона больные. Нельзя их гущать, надо тут в починку оставить.

— Ну да, бреши больше? Просто выпить хочется, хабару взять... Так и говорил бы.

— Как вам угодно, а только я сейчас обязан доложить.

Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально старик достает из кармана два двугривенных и подает их смазчику. Тот тоже очень спокойно берет их и, добродушно глядя на старика, заводит разговор:

— Поторговать, стало быть, едете... Хорошее дело!

Малахин вздыхает и, спокойно глядя на черное лицо смазчика, рассказывает, что торговля быками прежде была действительно выгодна, теперь же она составляет дело рискованное и убыточное.

— Тут у меня товарищ есть,— перебивает его смазчик.— Так вы бы, господа купцы, и ему сколько-нибудь презентовали...

Малахин дает и на товарища... Воинский поезд идет быстро и стоит на станциях сравнительно недолго. Старик доволен. Приятное впечатление, оставленное молодым человеком в шершавом пальто, крепко засело в нем, выпитая водка слегка туманит голову, погода великолепная, и, по-видимому, все обстоит прекрасно. Он без умолку говорит и во время каждой остановки бегаёт к буфету. Чувствуя потребность в слушателях, он тащит к буфету то обер-кондуктора, то машиниста и пьет не просто, а длинно, с причитываниями и с чоканьем.

— У вас свое дело, у нас свое...— говорит он благодушно, улыбаясь.— Дай бог и нам, и вам, и чтоб не как нам угодно, а как богу...

От водки он мало-помалу возбуждается и впадает в деловой азарт. Ему хочется хлопотать, торопиться, наводить справки, без умолку говорить. Он то роется в карманах и в узлах и ищет какой-то бланк, то что-то вспоминает и никак не может вспомнить, то вынимает бумажник и без всякой надобности пересчитывает свои деньги. Он суетится, охает, ужасается, всплескивает руками... Разложив перед собою письма и телеграммы столичных мясоторговцев, счета, почтовые и

телеграфные расписки, бланки, свою записную книжку, он соображает вслух и требует, чтобы Яша слушал.

А когда надоедает ему читать бланки и говорить о ценах, он во время остановок бегаёт по вагонам, где стоят его быки, ничего не делает, а только всплескивает руками и ужасается.

— Ах, боже мой, боже мой! — говорит он жалобным голосом. — Священномученик Власий! Хоть оно и бык, хоть оно и тварь, а ведь тоже, как и люди, хочет и пить и есть. Уж четверо суток, как не пили и не ели. Ах, боже мой, боже мой!

Яша, как послушный сын, ходит за ним и исполняет его приказания. Ему не нравится, что старик часто бегаёт к буфету. Хоть он и боится отца, но не может удержаться от замечания.

— А вы уж начали! — говорит он, сурово оглядывая старика. — С какой это радости? Именинники вы, что ли?

— Не смеешь ты родному отцу указывать.

— Ишь моду какую взяли...

Когда не нужно бывает ходить за отцом, Яша все время сидит неподвижно на бурке и пикирует на гармонике. Изредка он выйдет из вагона и лениво пройдётся вдоль поезда; остановится он около локомотива и устремит долгий, неподвижный взгляд на колеса или на рабочих, бросающих поленья на тендер; горячий локомотив сипит, падающие поленья издают сочный, здоровый звук свежего дерева; машинист и его помощник, люди очень хладнокровные и равнодушные, делают какие-то непонятные движения и не спешат. Постояв около паровоза, Яша лениво плетется на станцию; тут он оглядит закуски в буфете, прочтет для себя вслух какое-нибудь очень неинтересное объявление и не спеша возвращается в вагон. Лицо его не выражает ни скуки, ни желаний; ему, по-видимому, решительно все равно, где ни быть: дома ли, в вагоне, около ли паровоза...

К вечеру поезд останавливается около большой станции. Огни по линии только что зажжены; на синеем фоне, в свежем, прозрачном воздухе огни ярки и бледны, как звезды; красны и лучисты они

только под навесом, где уже темно. Все пути запружены вагонами, и кажется, приди новый поезд, для него не найдется места. Яша бежит на станцию за кипятком для вечернего чая. На платформе гуляют хорошо одетые дамы и гимназисты. По обе стороны вокзала, если поглядеть с платформы вдаль, мелькают в вечерней мгле далекие огоньки — это город. Какой? Яше не интересно знать. Он видит только тусклые огни и жалкие постройки за вокзалом, слышит крик извозчиков, чувствует на лице резкий, холодный ветер и думает, что этот город, вероятно, не хороший, не уютный и скучный...

Во время чая, когда уже совсем стемнело и на стене вагона по-вчерашнему висит фонарь, поезд вздрагивает от легкого толчка и тихо идет назад. Пройдя немного, он останавливается; слышатся неясные крики, кто-то стучит цепями около буферов и кричит: «Готово!» Поезд трогается и идет вперед. Минут через десять его опять тащат назад.

Выйдя из вагона, Малахин не узнает своего поезда. Его восемь вагонов с быками стоят в одном ряду с невысокими вагонами-платформами, каких раньше не было в поезде. На двух-трех платформах навален бут, а остальные пусты. Вдоль поезда снуют незнакомые кондуктора. На вопросы они отвечают неохотно и глухо. Им не до Малахина; они торопятся составить поезд, чтобы поскорее отделаться и идти в тепло.

— Какой это номер? — спрашивает Малахин.

— Восемнадцатый!

— А где же воинский? Зачем меня от воинского отцепили?

Не получив ответа, старик идет на станцию. Он ищет сначала знакомого обер-кондуктора и, не найдя его, идет к начальнику станции. Начальник сидит у себя в комнате за столом и перебирает пальцами пачку каких-то бланков. Он занят и делает вид, что не замечает вошедшего. Наружность у него внушительная: голова черная, стриженная, уши оттопыренные, нос длинный, с горбиной, лицо смуглое; выражение у него суровое и как будто оскорбленное. Малахин начинает длинно излагать ему свою претензию.

— Что-с? — спрашивает начальник.— Как? — он откидывается на спинку стула и продолжает, возмущаясь:— Что-с? А почему же вам не ехать с осемнадцатым номером? Говорите яснее, я ничего не понимаю? Как? Прикажете мне разорваться на части?

Он сыплет вопросами и без всякой видимой причины становится все строже и строже. Малахин уже лезет в карман за бумажником, но начальник, вконец оскорбленный и возмущенный неизвестно чем, вскакивает со стула и выбегает из комнаты. Малахин, пожимая плечами, выходит и ищет, с кем бы еще поговорить.

От скуки ли, из желанья ли завершить хлопотливый день еще какой-нибудь новой хлопотой, или просто потому, что на глаза ему попадает оконце с вывеской «Телеграф», он подходит к окну и заявляет желание послать телеграмму. Взявши перо, он думает и пишет на синем бланке: «Срочная. Начальнику движения. Восемь вагонов живым грузом. Задерживают на каждой станции. Прошу дать скорый номер. Ответ уплочен. Малахин».

Послав телеграмму, он опять идет в комнату начальника станции. Тут на диванчике, обитом серым сукном, сидит какой-то благообразный господин с бакенами, в очках и в енотовой шапке; на нем какая-то странная шубка, очень похожая на женскую, с меховой опушкой, с аксельбантами и с разрезами на рукавах. Перед ним стоит другой господин, сухой и жилистый, в форме контролера.

— Помилуйте,— рассказывает контролер, обращаясь к господину в странной шубке.— Я сейчас расскажу вам случай такой, что мое вам почтение! Z-я дорога преспокойнейшим образом украла у N-ской дороги триста товарных вагонов. Это факт-с! Клянусь богом! Завезла к себе, перекрасила, выставила свои литеры и — сделайте ваше одолжение! N-ская дорога шлет всюду агентов, ищет, ищет, и вдруг, можете себе представить, попадаете ей больной вагон Z-ской дороги. Она чинит его у себя в депо и вдруг, мое вам почтение, видит на колесах и осях свое клей-

мо. Каково-с? А? Сделай это я, меня в Сибирь сошлют, а железным дорогам — пссс!

Малахину приятно поговорить с интеллигентными, образованными людьми. Он разглаживает бороду и солидно вмешивается в разговор.

— Взять теперь, господа, к примеру хоть такой случай,—говорит он.—Я везу быков в Х. Восемь вагонов. Хорошо-с... Скажем теперь так: берут с меня за каждый вагон, как за шестьсот пудов тяги. В восьми быках не будет шестисот пудов, а гораздо меньше, они же не принимают этого себе во внимание...

В это время в комнату входит Яша, ищущий отца. Он слушает и хочет сесть на стул, но, вероятно, вспомнив про свою тяжесть, отходит от стула и садится на подоконник.

— А они не принимают это себе во внимание,— продолжает Малахин,— и берут еще с меня и с сына за то, что мы при быках едем, сорок два рубля, как за третий класс. Это мой сын Иаков; есть у меня дома еще двое, да те по ученой части. Ну-с, и кроме того, я так понимаю, что железные дороги разорили ското-промышленников. Прежде, когда гурты гоняли, лучше было.

Говорит старик протяжно и длинно. После каждой фразы он взглядывает на Яшу, как бы желая сказать: гляди, как я с умными людьми разговариваю!

— Помилуйте! — перебивает его контролер.— Никто не возмущается, никто не критикует! А почему? Очень просто! Мерзость возмущает и режет глаза только там, где она случайна, где ею нарушается порядок; здесь же, где она, мое вам почтение, составляет давно заведенную программу и входит в основу самого порядка, где каждая шпала носит ее след и издает ее запах, она слишком скоро входит в привычку! Да-с!

Бьет второй звонок. Господин в странной шубке поднимается. Контролер берет его под руку и, продолжая горячо говорить, уходит с ним на платформу. После третьего звонка в комнату вбегает начальник станции и садится за свой стол.

— Послушайте, с каким же номером я поеду? — спрашивает Малахин.

Начальник глядит в бланок и говорит, возмущаясь:

— Вы Малахин? Восемь вагонов? С вас по рублю за вагон и шесть двадцать за марки. У вас марок нет. Итого четырнадцать рублей двадцать копеек.

Получив деньги, он записывает что-то, засыпает песком и, сердито рванув со стола пачку бланков, быстро выходит из комнаты.

В десять часов вечера Малахин получает ответ начальника движения: «Дать преимущество». Прочитав эту телеграмму, старик значительно подмигивает глазом и, очень довольный собою, кладет ее в карман.

— Вот,— говорит он Яше.— Гляди и приучайся.

В полночь его поезд идет дальше. Ночь, как вчера, темная и холодная, стоянки долгие. Яша сидит на бурке и невозмутимо пиликает на гармонике, а старику все еще хочется хлопотать. На одной из станций ему приходит охота составить протокол. По его требованию, жандарм садится и пишет: «188* года ноября 10, я, унтер-офицер Z-го отделения N-ского жандармского полицейского управления железных дорог Илья Черед, на основании 11 статьи закона 19-го мая 1871 года, составил сей протокол на станции X. в нижеследующем...»

— Дальше что писать? — спрашивает жандарм.

Малахин выкладывает перед ним бланки, почтовые и телеграфные расписки, счета... Что ему нужно от жандарма, он сам определенно не знает; ему хочется описать в протоколе не какой-нибудь отдельный эпизод, а все свое путешествие, все свои убытки, разговоры с начальниками станций, описать длинно и язвительно.

— А на станции Z.,— говорит он,— напишите: начальник станций отцепил мои вагоны от воинского поезда потому, что моя физиономия ему не понравилась.

И ему хочется, чтобы жандарм непременно упомянул о физиономии. Тот утомленно слушает и, не дослушав, продолжает писать. Свой протокол он заканчивает так: «Вышеизложенное я, унтер-офицер Черед,

записал в сей протокол и постановил представить оный начальнику Z-го отделения, а копию одного выдать мещанину Гавриле Малахину». Старик берет копию, приобщает ее к бумагам, которыми набит его боковой карман, и очень довольный идет к себе в вагон.

Утром Малахин опять просыпается не в духе, но уже гнев свой изливает не на Яше, а на быках.

— Пропали быки! — ворчит он. — Пропали! Они передохнут! Накажи меня бог, передохнут все! Тьфу!

Быки, давно уже не пившие, мучимые жаждою, лижут иней на стенах и, когда подходит к ним Малахин, начинают лизать его холодный полушубок. По их светлым слезящимся глазам видно, что они изнеможены жаждой и вагонной качкой, голодны и тоскуют.

— Вот, вози вас, проклятых! — ворчит Малахин. — Уж издыхали бы поскорей, что ли! Глядеть на вас противно.

В полдень поезд останавливается у большой станции, где, по правилам, для живого груза устраивается водопой. Быкам Малахина дают пить, но быки не пьют: вода оказывается слишком холодной...

Проходит еще двое суток и наконец вдали, в смуглом тумане показывается столица. Путь кончен. Поезд останавливается, не доезжая города, около товарной станции. Быки, выпущенные из вагонов на волю, пошатаются и спотыкаются, точно идут по скользкому льду.

Покончив с выгрузкой и ветеринарным осмотром, Малахин и Яша поселяются в грязных, дешевых номерах в окраине города, на той самой площади, где производится торг скотом. Живут они в грязи, едят отвратительно, как никогда не ели у себя дома, спят под резкие звуки плохого оркестриона, день и ночь играющего в трактире под номерами. Старик с утра уходит куда-то искать покупателей, а Яша по целым дням сидит в номере или же выходит на улицу поглядеть столичный город. Он видит грязную, унавоженную площадь, трактирные вывески, зубчатую стену монастыря в тумане... Изредка перебежит он улицу и заглянет в

окно бакалейной лавочки, полюбуется на банки с разноцветными пряниками, зевнет и лениво поллетется к себе в номер. Столица не интересует его.

Наконец быков продают какому-то купцу. Малахин нанимает погонщиков. Всех быков делят на партии по десяти голов в каждой и гонят их на другой конец города. Быки, понутив головы, утомленные, идут по шумным улицам и равнодушно глядят на то, что видят они первый и последний раз в жизни. Оборванные погонщики идут за ними, тоже понутив головы. Им скучно... Изредка какой-нибудь погонщик встрепетается от дум, вспомнит, что впереди его идут вверенные ему быки, и, чтоб показать себя занятым человеком, со всего размаха ударит палкой по спине быка. Бык спотыкнется от боли, пробежит шагов десять вперед и поглядит в стороны с таким выражением, как будто ему совестно, что его бьют при чужих людях.

Продав быков и накупив для семьи гостинцев, какие можно было бы купить у себя дома, Малахин и Яша собираются в обратный путь. За три часа до отхода поезда старик, уже выпивший с покупателем, а потому хлопотливый, спускается с Яшей в трактир и садится пить чай. Как все провинциалы, он не может один пить и есть: ему нужна компания, такая же хлопотливая и рассудительная, как он сам.

— Позови хозяина! — говорит он половому. — Скажи, что я его угостить желаю из любезности.

Хозяин, человек сытый и совершенно равнодушный к своим постояльцам, приходит и садится за стол.

— Ну, поторговали! — говорит ему Малахин смеясь. — Променили козу на ястреба. Как же, ехали сюда — было мясо по три девяносто, а приезжаем — оно уже по три с четвертаком. Говорят, опоздали, было бы тремя днями раньше приезжать, потому что теперь на мясо спрос не тот, Филиппов пост пришел... А? Чистая катавасия! На каждом быке взял убытку четырнадцать рублей. Да вы посудите: провоз быка сколько стоит? Пятнадцать рублей тарифа, да шесть рублей кладите на каждого быка — шахер-махер, взяли, угощение, то да се...

Хозяин из приличия слушает и неохотно хлебает чай. Малахин охает, всплескивает руками, подшучивает над своей неудачей, но по всему видно, что понесенный им убыток мало волнует его. Ему все равно, что убыток, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было бы о чем хлопотать да не опоздать бы как-нибудь на поезд.

Через час Малахин и Яша, навьюченные мешками и чемоданами, спускаются из номеров вниз к выходу, чтобы садиться на извозчика и ехать на вокзал. Их провожают хозяин, коридорные и какие-то бабы. Старик растроган. Он тычет во все стороны гривенники и говорит нараспев:

— Прощайте, оставайтесь здоровы! Дай бог вам, чтоб все было, как надо. Бог даст, коли будем живы и здоровы, опять приедем в великом посту. Прощайте! Спасибо... дай бог!

Севши в санки, старик снимает шапку и долго крестится в ту сторону, где в тумане темнеет монастырская стена. Яша садится рядом с ним на краешек сиденья и свешивает ногу в сторону. Его лицо по-прежнему бесстрастно и не выражает ни скуки, ни желаний. Он не радуется, что едет домой, и не жалеет, что не успел поглядеть на столицу.

— Трогай!

Извозчик бьет по лошадке и, обернувшись, начинает браниться за тяжелый и громоздкий багаж.

ДОРОГИЕ УРОКИ

Для человека образованного незнание языков составляет большое неудобство. Воротов сильно почувствовал это, когда, выйдя из университета со степенью кандидата, занялся маленькою научною работою.

— Это ужасно! — говорил он задыхаясь (несмотря на свои двадцать шесть лет, он пухл, тяжел и страдает одышкой). — Это ужасно! Без языков я, как птица без крыльев. Просто хоть работу бросай.

И он решил во что бы то ни стало побороть свою врожденную лень и изучить французский и немецкий языки, и стал искать учителей.

В один зимний полдень, когда Ворстов сидел у себя в кабинете и работал, лакей доложил, что его спрашивает какая-то барышня.

— Проси, — сказал Воротов.

И в кабинет вошла молодая, по последней моде, изысканно одетая барышня. Она отрекомендовалась учительницей французского языка, Алисой Осиповной Анкет, и сказала, что ее прислал к Воротову один из его друзей.

— Очень приятно! Садитесь! — сказал Воротов, задыхаясь и прикрывая ладонью воротник своей ночной сорочки. (Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке.) — Вас прислал ко мне Петр Сергеич? Да, да... я просил его... Очень рад!

Договариваясь с м-ле Анкет, он застенчиво и с любопытством поглядывал на нее. Это была настоящая, очнь изящная француженка, еще очень молодая. По лицу, бледному и томному, по коротким кудрявым волосам и неестественно тонкой талии, ей можно было дать не больше восемнадцати лет; взглянув же на ее широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Воротов подумал, что ей, наверное, не меньше двадцати трех лет, быть может, даже все двадцать пять; но потом опять стало казаться, что ей только восемнадцать. Выражение лица у нее было холодное, деловое, как у человека, который пришел говорить о деньгах. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась, и только раз на ее лице мелькнуло недоумение, когда она узнала, что ее пригласили учить не детей, а взрослого, толстого человека.

— Итак, Алиса Осиповна,— говорил ей Воротов,— мы будем заниматься ежедневно от семи до восьми вечера. Что же касается вашего желания — получать по рублю за урок, то я ничего не имею возразить против. По рублю — так по рублю...

И он еще спросил у нее, не хочет ли она чаю или кофе, хороша ли на дворе погода, и, добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью сукно на столе, дружелюбно осведомился, кто она, где кончила курс и чем живет.

Алиса Осиповна с холодным, деловым выражением ответила ему, что она кончила курс в частном пансионе и имеет права домашней учительницы, что отец ее недавно умер от скарлатины, мать жива и делает цветы, что она, м-ле Анкет, до обеда занимается в частном пансионе, а после обеда, до самого вечера, ходит по хорошим домам и дает уроки.

Она ушла, оставив после себя легкий, очень нежный запах женского платья. Воротов долго потом не работал, а сидя у стола, поглаживал ладонями зеленое сукно и размышлял.

«Очень приятно видеть девушек, зарабатывающих себе кусок хлеба,— думал он.— С другой же стороны, очень неприятно видеть, что нужда не щадит даже

таких изящных и хорошеньких девиц, как эта Алиса Осиповна, и ей также приходится вести борьбу за существование. Беда!..»

Он, никогда не выдавший добродетельных француженок, подумал также, что эта изящно одетая Алиса Осиповна, с хорошо развитыми плечами и с преувеличенно тонкой талией, по всей вероятности, кроме уроков, занимается еще чем-нибудь.

На другой день вечером, когда часы показывали без пяти минут семь, пришла Алиса Осиповна, розовая от холода; она раскрыла Margot, которого принесла с собой, и начала без всяких предисловий:

— Французская грамматика имеет двадцать шесть букв. Первая буква называется А, вторая В...

— Виноват,— перебил ее Воротов улыбаясь.— Я должен предупредить вас, мадемуазель, что лично для меня вам придется несколько изменить ваш метод. Дело в том, что я хорошо знаю русский, латинский и греческий языки... изучал сравнительное языковедение, и, мне кажется, мы можем, минуя Margot, прямо приступить к чтению какого-нибудь автора.

И он объяснил француженке, как взрослые люди изучают языки.

— Один мой знакомый,— сказал он,— желая изучить новые языки, положил перед собой французское, немецкое и латинское евангелия, читал их параллельно, причем кропотливо разбирал каждое слово, и что ж? Он достиг своей цели меньше чем в один год. Сделаем и мы так. Возьмем какого-нибудь автора и будем читать.

Француженка с недоумением посмотрела на него. По-видимому, предложение Воротова показалось ей очень наивным и вздорным. Если бы это странное предложение было сделано малолетним, то, наверное, она рассердилась бы и крикнула, но так как тут был человек взрослый и очень толстый, на которого нельзя было кричать, то она только пожала плечами едва заметно и сказала:

— Как хотите.

Воротов порывлся у себя в книжном шкафу и достал оттуда истрепанную французскую книгу.

— Это годится? — спросил он.

— Все равно.

— В таком случае давайте начинать. Господи благослови. Начнем с заглавия... *Mémoires*.

— Воспоминания...— перевела m-lle Анкет,

— Воспоминания...— повторил Воротов.

Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, он четверть часа провозился со словом *mémoires* и столько же со словом *de*, и это утомило Алису Осиповну. Она отвечала на вопросы вяло, путалась и, по-видимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротов предлагал ей вопросы, а сам между тем поглядывал на ее белокурую голову и думал:

«Ее волосы кудрявы не от природы, она завивается. Удивительно! Работает с утра до ночи и успевает еще завиваться».

Ровно в восемь часов она поднялась и, сказав сухое, холодное «*au revoir, monsieur*»¹, пошла из кабинета; и после нее остался все тот же нежный, тонкий, волнующий запах. Ученик опять долго ничего не делал, сидел у стола и думал.

В следующие затем дни он убедился, что его учительница барышня милая, серьезная и аккуратная, но что она очень необразованна и учить взрослых не умеет; и он решил не тратить попусту времени, расстаться с ней и пригласить другого учителя. Когда она пришла в седьмой раз, он достал из кармана конверт с семью рублями и, держа его в руках, очень сконфузился и начал так:

— Извините, Алиса Осиповна, но я должен вам сказать... поставлен в тяжелую необходимость...

Взглянув на конверт, француженка догадалась, в чем дело, и в первый раз за все время уроков ее лицо дрогнуло, и холодное, деловое выражение исчезло. Она слегка зарумянилась и, опустив глаза, стала нервно перебирать пальцами свою тонкую золотую цепочку. И Воротов, глядя на ее смущение, понял, как для нее дорог был рубль и как ей тяжело было бы лишиться этого заработка.

¹ до свидания, сударь (франц.).

— Я должен вам сказать...— пробормотал он, смущаясь еще больше, и в груди у него что-то екнуло; он торопливо сунул конверт в карман и продолжал: — Извините, я... я оставлю вас на десять минут...

И, делая вид, что он вовсе не хотел отказывать ей, а только просил позволения оставить ее ненадолго, он вышел в другую комнату и высидел там десять минут. И потом вернулся еще более смущенный; он сообразил, что этот его уход на короткое время она может объяснить как-нибудь по-своему, и ему было неловко.

Уроки начались опять.

Воротов занимался уж без всякой охоты. Зная, что из занятий не выйдет никакого толку, он дал французке полную волю, уж ни о чем не спрашивал ее и не перебивал. Она переводила, как хотела, по десяти страниц в один урок, а он не слушал, тяжело дышал, и от нечего делать рассматривал то кудрявую голову, то шею, то нежные белые руки, вдыхал запах ее платья...

Он ловил себя на нехороших мыслях, и ему становилось стыдно, или же он умилялся и тогда чувствовал огорчение и досаду оттого, что она держала себя с ним так холодно, деловито, как с учеником, не улыбаясь и точно боясь, как бы он не прикоснулся к ней нечаянно. Он все думал: как бы так внушить ей доверие, познакомиться с нею покороче, потом помочь ей, дать ей понять, как дурно она преподает, бедняжка.

Алиса Осиповна явилась однажды на урок в нарядном розовом платье, с маленьким декольте, и от нее шел такой аромат, что казалось, будто она окутана облаком, будто стоит только дунуть на нее, как она полетит или рассеется, как дым. Она извинилась и сказала, что может заниматься только полчаса, так как с урока пойдет прямо на бал.

Он смотрел на ее шею и на спину, оголенную около шеи, и, казалось ему, понимал, отчего это французки пользуются репутацией легкомысленных и легко падающих созданий; он тонул в этом облаке ароматов, красоты, наготы, а она, не зная его мыслей и, вероятно, нисколько не интересуясь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всех парах:

— «Он ходил на улице и встречал господина своего знакомого и сказал: «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое бледное, это делает мне больно».

Мémoires давно уже были кончены, и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Раз она пришла на урок часом раньше, извиняясь тем, что в семь часов ей нужно ехать в Малый театр. Проводив ее после урока, Воротов оделся и тоже поехал в театр. Он поехал, как казалось ему, только затем, чтобы отдохнуть, развлечься, а об Алисе у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьезный, готовящийся к ученой карьере, тяжелый на подъем, бросил дело и поехал в театр только затем, чтобы встретиться там с малознакомой, не умной, мало интеллигентной девушкой...

Но почему-то в антрактах у него билось сердце, он, сам того не замечая, как мальчик бегал по фойе и по коридорам, нетерпеливо отыскивая кого-то; и ему становилось скучно, когда антракт кончался; а когда он увидел знакомое розовое платье и красивые плечи под тюлем, сердце его сжалось, точно от предчувствия счастья, он радостно улыбнулся и первый раз в жизни испытал ревнивое чувство.

Алиса шла с какими-то двумя некрасивыми студентами и с офицером. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала; такую никогда не видел ее Воротов. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренна, тепла. Отчего? Почему? Оттого, быть может, что эти люди были близки ей, из того же круга, что и она... И Воротов почувствовал страшную пропасть между собой и этим кругом. Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо; ей, по-видимому, не хотелось, чтобы ее кавалеры знали, что у нее есть ученики и что она от нужды дает уроки.

После встречи в театре Воротов понял, что он влюблен... Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собой, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холодным, ровно в восемь часов каждого вече-

ра она спокойно говорила «au revoir, monsieur», и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушной и положение его безнадежно.

Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно любовное объяснение, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь ее на террасу. Раз он, опьянев, забывшись, как в бреду, не выдержал и, загораживая ей дорогу, когда она выходила после урока из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви:

— Мне дороги! Я... я люблю вас! Позвольте мне говорить!

А Алиса побледнела — вероятно от страха, соображая, что после этого объяснения ей уж нельзя будет ходить сюда и получать рубль за урок; она сделала испуганные глаза и громко зашептала:

— Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас! Нельзя!

И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, бранил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже больше не придет к нему.

Он решил узнать утром в адресном столе ее адрес и написать ей извинительное письмо. Но Алиса пришла без письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потом раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, как всегда:

— «О, молодой господин, не разрывайте эти цветы в моем саду, которые я хочу давать своей большой дочери...»

Ходит она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротов не знает ничего, кроме слова «pétoïges», и когда его спрашивают об его научной работе, то он машет рукой и, не ответив на вопрос, заводит речь о погоде.

ЛЕВ И СОЛНЦЕ

В одном из городов, расположенных по сю сторону Уральского хребта, разнесся слух, что на днях прибыл в город и остановился в гостинице «Япония» персидский сановник Рахат-Хелам. Этот слух не произвел на обывателей никакого впечатления: приехал перс, ну и ладно. Один только городской голова, Степан Иванович Куцын, узнав от секретаря управы о приезде восточного человека, задумался и спросил:

— Куда он едет?

— Кажется, в Париж или в Лондон.

— Гм!.. Значит, важная птица?

— А черт его знает.

Придя из управы к себе домой и пообедав, городской голова опять задумался, и уж на этот раз думал до самого вечера. Приезд знатного перса сильно заинтриговал его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахат-Хелама и что наконец наступило благоприятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, заветную мечту. Дело в том, что Куцын имел две медали, Станислава 3-й степени, знак Красного Креста и знак «Общества спасания на водах», и, кроме того, он сделал себе еще брелок (золотое ружье и гитара, которые перекрещивались), и этот брелок, продетый в мундирную петлю, похож был издали на что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше их хочется,— и городской голова давно уже желал получить персид-

ский орден «Льва и Солнца», желая страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать в приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь ему казалось, что этот случай наступил.

На другой день, в полдень, он надел все свои знаки отличия, цепь и поехал в «Японию». Судьба ему благоприятствовала. Когда он вошел в номер знатного перса, то последний был один и ничего не делал. Рахат-Хелам, громадный азиат с длинным бекасиным носом, с глазами навывкате и в феске, сидел на полу и рылся в своем чемодане.

— Прошу извинить за беспокойство,— начал Куцын улыбаясь.— Честь имею рекомендоваться: потомственный почетный гражданин и кавалер Степан Иванович Куцын, местный городской голова. Почитаю своим долгом почтить в лице вашей персоны, так сказать, представителя дружественной и соседственной нам державы.

Перс обернулся и пробормотал что-то на очень плохом французском языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску.

— Границы Персии,— продолжал Куцын заранее выученное приветствие,— тесно соприкасаются с пределами нашего обширного отечества, а потому взаимные симпатии побуждают меня, так сказать, выразить вам солидарность.

Знатный перс поднялся и опять пробормотал что-то на деревянном языке. Куцын, не знавший языков, мотнул головой в знак того, что не понимает.

«Ну, как я с ним буду разговаривать? — подумал он.— Хорошо бы сейчас за переводчиком послать, да дело щекотливое, нельзя говорить при свидетелях. Переводчик разболтает потом по всему городу».

И Куцын стал вспоминать иностранные слова, какие знал из газет.

— Я городской голова... — пробормотал он.— То есть лорд-мэр... муниципале... Вуй? Компрене? ¹.

¹ Да? Понимаете? (*искаж. франц. oui? Comprenez-vous?*)

Он хотел выразить на словах или мимикой свое общественное положение и не знал, как это сделать. Выручила его картина с крупною надписью: «Город Венеция», висевшая на стене. Он указал пальцем на город, потом себе на голову, и таким образом, по его мнению, получилась фраза: «Я городской голова». Перс ничего не понял, но улыбнулся и сказал:

— Каряшо, мусье... каряшо...

Полчаса спустя городской голова похлопывал перса то по колену, то по плечу и говорил:

— Компрене? Вуй? Как лорд-мэр и муниципале... я предлагаю вам сделать маленький променаж...¹ Компрене? Променаж...

Куцын ткнул пальцем на Венецию и двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рахат-Хелам, не спускавший глаз с его медалей и, по-видимому, догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Внизу, около двери, ведущей в ресторан «Япония», Куцын подумал, что недурно было бы угостить перса. Он остановился и, указывая ему на столы, сказал:

— По русскому обычаю, не мешало бы тово... пюре, антрекот... шампань и прочее.. Компрене?

Знатный гость понял, и немного погодя оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили шампанское и ели.

— Выпьем за процветание Персии! — говорил Куцын.— Мы, русские, любим персов. Хотя мы и разной веры, но общие интересы, взаимные, так сказать, симпатии... прогресс... Азиатские рынки... мирные завоевания, так сказать...

Знатный перс ел и пил с большим аппетитом. Он ткнул вилкой в балык и, восторженно мотнув головой, сказал:

— Каряшо! Бьен!²

— Вам нравится? — обрадовался городской голова.— Бьен? Вот и прекрасно.— И, обратившись к

¹ прогулка... (искаж. франц. promenade).

² Хорошо! (от франц. Bien!)

лакею, он сказал: — Лука, распорядись, братец, послать его превосходительству в номер два балыка, которые получше!

Потом городской голова и персидский сановник поехали осматривать зверинец. Обыватели видели, как их Степан Иваныч, красный от шампанского, веселый, очень довольный, водил перса по главным улицам и по базару, показывая ему достопримечательности города, водил и на каланчу.

Между прочим, обыватели видели, как он остановился около каменных ворот со львами и указал персу сначала на льва, потом вверх, на солнце, потом себе на грудь, потом опять на льва и на солнце, а перс замотал головой, как бы в знак согласия, и, улыбаясь, показал свои белые зубы. Вечером оба сидели в гостинице «Лондон» и слушали арфисток, а где были ночью — неизвестно.

На другой день городской голова утром был в управе; служащие, очевидно, кое-что уже знали и догадывались, так как секретарь подошел к нему и сказал, насмешливо улыбаясь:

— У персов есть такой обычай: если к вам приезжает знатный гость, то вы должны собственноручно зарезать для него барана.

А немного погодя подали пакет, полученный по почте. Городской голова распечатал и увидел в нем карикатуру. Был нарисован Рахат-Хелам, а перед ним стоял на коленях сам городской голова и, простирая к нему руки, говорил:

В знак дружбы двух монархий —
России и Ирана,
Из уваженья к вам, почтеннейший посол,
Я сам себя б разрезал, как барана,
Но, извините, я — осел.

Городской голова испытал неприятное чувство, похожее на сосание под ложечкой, но ненадолго. В полдень он опять уже был у знатного перса, опять угощал его и, показывая ему достопримечательности города, опять подводил его к каменным воротам и опять указывал то на льва, то на солнце, то себе на

грудь. Обедали в «Японии», после обеда, с сигарами в зубах, оба красные, счастливые, опять восходили на каланчу, и городской голова, очевидно желая угостить гостя редким зрелищем, крикнул сверху часовому, ходившему вниз:

— Бей тревогу!

Но тревоги не вышло, так как пожарные в это время были в бане.

Ужинали в «Лондоне», а после ужина перс уехал. Провожая его, Степан Иваныч три раза поцеловался с ним, по русскому обычаю, и даже прослезился. А когда поезд тронулся, он крикнул:

— Поклонитесь от нас Персии. Скажите ей, что мы ее любим!

Прошел год и четыре месяца. Был сильный мороз, градусов в тридцать пять, и дул пронзительный ветер. Степан Иваныч ходил по улице, распахнувши на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадает на встречу и не видит на его груди «Льва и Солнца». Ходил он так до вечера, распахнувши шубу, очень озяб, а ночью ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть.

На душе у него было тяжело, внутри жгло, и сердце беспокойно стучало: ему хотелось теперь получить сербский орден «Такова». Хотелось страстно, мучительно.

БЕДА

Директора городского банка Петра Семеныча, бухгалтера, его помощника и двух членов отправили ночью в тюрьму. На другой день после переполоха купец Авдеев, член ревизионной комиссии банка, сидел с приятелями у себя в лавке и говорил:

— Так, значит, богу угодно. От судьбы не уйдешь. Сейчас вот мы икрой закусываем, а завтра, гляди,— тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бывает. Теперь взять, к примеру, хоть Петра Семеныча...

Он говорил и жмурил свои пьяные глазки, а приятели выпивали, закусывали икрой и слушали. Описав позор и беспомощность Петра Семеныча, который еще вчера был силен и всеми уважаем, Авдеев продолжал со вздохом:

— Отзываются кошке мышьины слезки. Так им, мошенникам, и надо! Умели, курицыны дети, грабить, так пушай же теперь ответ дадут.

— Гляди, Иван Данилыч, как бы и тебе не досталось! — заметил один из приятелей.

— А мне за что?

— А за то. Те грабили, а ревизионная комиссия что глядела? Небось ведь ты подписывал отчеты?

— Экошь, легко ли дело! — усмехнулся Авдеев. — Подписывал! Носили ко мне в лавку отчеты, ну и подписывал. Нешто я понимаю? Мне что ни дай, я все подмахну. Напиши ты сейчас, что я человека зарезал,

так я и то подпишу. Не время мне разбирать, да и не вижу без очков.

Потолковав о крахе банка и о судьбе Петра Семеныча, Авдеев и его приятели отправились на пирог к знакомому, у которого в этот день была именинница жена. На именинах все гости говорили только о крахе банка. Авдеев горячился больше всех и уверял, что он давно уже предчувствовал этот крах и еще два года тому назад знал, что в банке не совсем чисто. Пока ели пирог, он описал с десятков противозаконных операций, которые ему были известны.

— Если вы знали, то отчего же вы не донесли? — спросил его офицер, бывший на именинах.

— Не я один, весь город знал... — усмехнулся Авдеев. — Да и нет времени по судам ходить. Ну их!

Отдохнув после пирога, он пообедал и еще раз отдохнул, потом отправился ко всеобщей в свою церковь, где был старостой; после всеобщей опять пошел на именины и до самой полночи играл в преферанс. По-видимому, все обстояло благополучно.

Когда же после полночи Авдеев вернулся к себе домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была бледна и от дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена, Елизавета Трофимовна, откормленная сырая старуха, с распущенными седыми волосами, сидела в зале на диване, тряслась всем телом и, как пьяная, бессмысленно поводила глазами. Около нее со стаканом воды суетился тоже бледный и крайне взволнованный старший сын ее, гимназист Василий.

— Что такое? — спросил Авдеев и сердито покопился на печку. (Его семья часто угорала.)

— Сейчас следователь с полицией приходил... — ответил Василий. — Обыскивали.

Авдеев поглядел вокруг себя. Шкафы, комоды, столы — все носило на себе следы недавнего обыска. Минуту Авдеев простоял неподвижно, как в столбняке, ничего не понимая, потом все внутренности его задрожали и отяжелели, левая нога онемела, и он, не вынося дрожи, лег ничком на диван; ему слышно было, как переворачивались его внутренности и как непослушная левая нога стучала по спинке дивана.

В какие-нибудь две-три минуты он припомнил все свое прошлое, но не нашел ни одной такой вины, которая заслуживала бы внимания судебной власти...

— Все это одна чепуха...— сказал он, поднимаясь.— Это, должно быть, меня оговорили. Надо будет завтра жалобу подать, чтобы они не смели это самое...

На другой день утром, после бессонной ночи, Авдеев, как всегда, отправился к себе в лавку. Покупатели принесли ему известие, что в истекшую ночь прокурор отправил в тюрьму еще товарища директора и письмоводителя банка. Это известие не обеспокоило Авдеева. Он был уверен, что его оговорили и что если он сегодня подаст жалобу, то следователю достанется за вчерашний обыск.

В десятом часу он побежал в управу к секретарю, который был единственным образованным человеком во всей управе.

— Владимир Степаныч, что же это за мода? — начал он, наклоняясь к уху секретаря.— Люди крали, а я-то тут при чем? С какой стати? Милый человек,— зашептал он,— ночью-то у меня обыск был! Ей-богу... Осатанели они, что ли? За что меня трогать?

— А за то, что не нужно быть бараном,— покойно ответил секретарь.— Прежде чем подписывать, надо было глядеть...

— Что глядеть? Да гляди я в эти отчеты хоть тысячу лет, я ничего не пойму! Черта лысого я понимаю! Какой я булгахтер? Мне носили, я и подписывал.

— Позвольте. Кроме того, вы, как и вся ваша комиссия, сильно скомпрометированы. Вы без всякого обеспечения взяли из банка девятнадцать тысяч.

— Господи твоя воля! — удивился Авдеев.— Нешто я один должен? Ведь весь город должен! Я плачу проценты и отдам долг. Господь с тобой! А кроме того, ежели, скажем, рассуждать по совести, нешто я сам взял эти деньги? Мне Петр Семеныч всучил. Возьми, говорит, и возьми. Ежели, говорит, не берешь, то, значит, нам не доверяешь и сторонишься. Ты, говорит, возьми и отцу мельницу построй. Я и взял.

— Ну, вот видите: так могут рассуждать только дети и бараны. Во всяком случае, сеньор, вы напрасно

волнуетесь. Суда вам, конечно, не избежать, но наверное вас оправдают.

Равнодушие и покойный тон секретаря подействовали на Авдеева успокаивающе. Вернувшись к себе в лавку и застав в ней приятелей, он опять выпивал, закусывал икрой и философствовал. Он уж почти забыл об обыске, и его беспокоило только одно обстоятельство, которое он не мог не заметить: у него как-то странно немела левая нога и почему-то совсем не варил желудок.

Вечером того же дня судьба сделала по Авдееву еще один оглушительный выстрел: на экстренном заседании думы все банковцы, в том числе и Авдеев, были исклучены из числа гласных, как находящиеся под судом и следствием. Утром он получил бумагу, в которой его приглашали немедленно сдать должность церковного старосты.

Затем Авдеев потерял счет в выстрелах, которые делала по нем судьба, и для него быстро один за другим замелькали странные, небывалые дни, и каждый день приносил с собою какой-нибудь новый неожиданный сюрприз. Между прочим, следователь прислал ему повестку. От следователя вернулся он домой оскорбленный, красный.

— Пристал, как с ножом к горлу: зачем подписывал? Подписывал, вот и все! Нешто я нарочно? Носили в лавку, я и подписывал. Я и читать-то по писанному путем не умею.

Пришли какие-то молодые люди с равнодушными лицами, запечатали лавку и описали в доме всю мебель. Подозревая в этом интригу и по-прежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдеев стал бегать по присутственным местам и жаловаться. По целым часам ожидал он в передних, сочинял длинные прошения, плакал, бранился. В ответ на его жалобы прокурор и следователь говорили ему равнодушно и резонно:

— Приходите, когда вас позовут, а теперь нам некогда.

А другие отвечали:

— Это не наше дело.

Секретарь же, образованный человек, который, как казалось Авдееву, мог бы помочь ему, только пожимал плечами и говорил:

— Вы сами виноваты. Не нужно быть бараном...

Старик хлопотал, а нога немела по-прежнему, и желудок варил все хуже. Когда безделье утомило его и наступила нужда, он решил поехать к отцу на мельницу или к брату и заняться мучной торговлей, но его не пустили из города. Семья уехала к отцу, а он остался один.

Дни мелькали за днями. Без семьи, без работы и без денег, бывший староста, почтенный и уважаемый человек, по целым дням ходил по лавкам своих приятелей, выпивал, закусывал и выслушивал советы. По утрам и вечерам он, чтобы убить время, ходил в церковь. Глядя по целым часам на иконы, он не молился, а думал. Совесть его была чиста, и свое положение объяснял он ошибкой и недоразумением; по его мнению, все произошло только оттого, что следователи и чиновники молоды и неопытны; ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорил с ним по душам и подробно, то все вошло бы в свою колею. Он не понимал своих судей, а судьи, казалось ему, не понимали его...

Дни бежали за днями и наконец после долгой, томительной проволочки наступило время суда. Авдеев взял взаймы пятьдесят рублей, запасся спиртом для ноги и травкой для желудка и поехал в тот город, где находилась судебная палата.

Суд продолжался полторы недели. Все время суда Авдеев солидно и с достоинством, как это подобает человеку почтенному и невинно пострадавшему, сидел среди товарищей по несчастью, слушал и ровно ничего не понимал. Настроение у него было враждебное. Он сердился, что его долго держат в суде, что нигде нельзя достать постной еды, что защитник не понимает его и, как казалось ему, говорит не то, что нужно. Судьи, казалось ему, судили не так, как бы следовало. Они не обращали на Авдеева почти никакого внимания, обращались к нему раз в три дня, и вопросы, которые они задавали ему, были такого

свойства, что, отвечая на них, Авдеев всякий раз возбуждал в публике смех. Когда он порывался говорить о своих проторях, убытках и о том, что желает взыскать судебные издержки, защитник оборачивался и делал непонятную гримасу, публика смеялась, а председатель строго заявлял, что это к делу не относится. В своем последнем слове он сказал не то, чему учил его защитник, а совсем другое, тоже возбудившее смех.

В те страшные часы, когда присяжные совещались в своей комнате, он, сердитый, сидел в буфете и совсем не думал о присяжных. Он не понимал, зачем они совещаются так долго, если все так ясно, и что им нужно от него.

Проголодавшись, он попросил лакея дать ему чего-нибудь дешевого и постного. За сорок копеек ему дали какой-то холодной рыбы с морковью. Он съел и тотчас же почувствовал, как эта рыба тяжелым комом заходила в его животе; начались отрыжка, изжога, боль...

Когда он потом слушал старшину, читавшего вопросы пункты, внутренности его переворачивались, тело обливалось холодным потом, левая нога немела; он не слушал, ничего не понимал и невыносимо страдал оттого, что старшину нельзя слушать сидя или лежа. Наконец, когда ему и его товарищам позволили сесть, встал прокурор судебной палаты и сказал что-то непонятное. Точно из земли выросши, появились откуда-то жандармы с шашками наголо и окружили всех обвиняемых. Авдееву приказали встать и идти.

Теперь он понял, что его обвинили и взяли под стражу, но он не испугался и не удивился; в животе происходил такой беспорядок, что ему было совсем не до стражи.

— Значит, нас теперь не пустят в номер? — спросил он у одного из своих товарищей. — А у меня в номере три рубля денег и непочатая четвертка чаю.

Ночевал он в частном доме, всю ночь чувствовал отвращение к рыбе и думал о трех рублях и четвертке чаю. Рано утром, когда небо стало синеть, ему

приказали одеться и идти. Два солдата со штыками повели его в тюрьму. Никогда в другое время городские улицы не казались ему так длинны и бесконечны. Шел он не по тротуару, а среди улицы по тающему, грязному снегу. Внутренности все еще воевали с рыбой, левая нога немела; калоши он забыл не то в суде, не то в частном доме, и ноги его зябли...

Через пять дней всех обвиняемых опять повели в суд для выслушания приговора. Авдеев узнал, что его приговорили к ссылке на житье в Тобольскую губернию. И это не испугало его и не удивило. Ему почему-то казалось, что суд еще не кончился, что проволочка все еще тянется и что настоящего «решения» еще не было... Жил он в тюрьме и каждый день ждал этого решения.

Только полгода спустя, когда пришли к нему прощаться жена и сын Василий, когда он в тощей нищенски одетой старушке едва узнал свою когда-то сырую и солидную Елизавету Трофимовну и когда вместо гимназического платья увидел на сыне куцый, потертый пиджачок и сарпиковые панталоны, он понял, что судьба его уже решена и что, какое бы еще ни было новое «решение», ему уже не вернуть своего прошлого. И он в первый раз за все время суда и тюремного заключения согнал со своего лица сердитое выражение и горько заплакал.

ПОЦЕЛУЙ

Двадцатого мая, в восемь часов вечера, все шесть батарей N-й резервной артиллерийской бригады, направлявшейся в лагерь, остановились на ночевку в селе Местечках. В самый разгар суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушек, а другие, съехавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеров, из-за церкви показался верховой в штатском платье и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, с красивой шеей и с коротким хвостом, шла не прямо, а как-то боком и выделяла ногами маленькие плясовые движения, как будто ее били хлыстом по ногам. Подъехав к офицерам, верховой приподнял шляпу и сказал:

— Его превосходительство генерал-лейтенант фон Раббек, здешний помещик, приглашает господ офицеров пожаловать к нему сию минуту на чай...

Лошадь поклонилась, затанцевала и попятилась боком назад; верховой еще раз приподнял шляпу и через мгновение вместе со своею странною лошадыю исчез за церковью.

— Черт знает что такое! — ворчали некоторые офицеры, расходясь по квартирам. — Спать хочется, а тут этот фон Раббек со своим чаем! Знаем, какой тут чай!

Офицерам всех шести батарей живо припомнился прошлогодний случай, когда во время маневров они, и с ними офицеры одного казачьего полка, таким же вот образом были приглашены на чай одним помещи-

ком-графом, отставным военным; гостеприимный и радушный граф обласкал их, накормил, напоил и не пустил в деревню на квартиры, а оставил ночевать у себя. Все это, конечно, хорошо, лучшего и не нужно, но беда в том, что отставной военный обрадовался молодежи не в меру. Он до самой зари рассказывал офицерам эпизоды из своего хорошего прошлого, водил их по комнатам, показывал дорогие картины, старые гравюры, редкое оружие, читал подлинные письма высокопоставленных людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядели и, тоскуя по постелям, осторожно зевали в рукава; когда наконец хозяин отпустил их, спать было уже поздно.

Не таков ли и этот фон Раббек? Таков или не таков, но делать было нечего. Офицеры приоделись, почистились и гурьбою пошли искать помещичий дом. На площади, около церкви, им сказали, что к господам можно пройти низом — за церковью спуститься к реке и идти берегом до самого сада, а там аллеи доведут куда нужно, или же вёрхом — прямо от церкви по дороге, которая в полуверсте от деревни упирается в господские амбары. Офицеры решили идти вёрхом.

— Какой же это фон Раббек? — рассуждали они дорогой. — Не тот ли, что под Плевной командовал N-й кавалерийской дивизией?

— Нет, тот не фон Раббек, а просто Раббе, и без фон.

— А какая хорошая погода!

У первого господского амбара дорога раздваивалась: одна ветвь шла прямо и исчезала в вечерней мгле, другая — вела вправо к господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише... По обе стороны дороги тянулись каменные амбары с красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожие на казармы уездного города. Впереди светились окна господского дома.

— Господа, хорошая примета! — сказал кто-то из офицеров. — Наш сеттер идет впереди всех; значит, чует, что будет добыча!..

Шедший впереди всех поручик Лобытко, высокий и плотный, но совсем безусый (ему было более два-

дцати пяти лет, но на его круглом, сытом лице почему-то еще не показывалась растительность), славившийся в бригаде своим чутьем и умением угадывать на расстоянии присутствие женщин, обернулся и сказал:

— Да, здесь женщины должны быть. Это я инстинктом чувствую.

У порога дома офицеров встретил сам фон Раббек, благообразный старик лет шестидесяти, одетый в штатское платье. Пожимая гостям руки, он сказал, что он очень рад и счастлив, но убедительно, ради бога, просит господ офицеров извинить его за то, что он не пригласил их к себе ночевать; к нему приехали две сестры с детьми, братья и соседи, так что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генерал пожимал всем руки, просил извинения и улыбался, но по лицу его видно было, что он был далеко не так рад гостям, как прошлогодний граф, и что пригласил он офицеров только потому, что этого, по его мнению, требовало приличие. И сами офицеры, идя вверх по мягкой лестнице и слушая его, чувствовали, что они приглашены в этот дом только потому, что было бы неловко не пригласить их, и при виде лакеев, которые спешили зажечь огни внизу у входа и наверху в передней, им стало казаться, что они внесли с собою в этот дом беспокойство и тревогу. Там, где, вероятно, ради какого-нибудь семейного торжества или события съехались две сестры с детьми, братья и соседи, может ли понравиться присутствие девятнадцати незнакомых офицеров?

Наверху, у входа в залу, гости были встречены высокой и стройной старухой с длинным чернобровым лицом, очень похожей на императрицу Евгению. Приветливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видеть у себя гостей, и извинялась, что она и муж лишены на этот раз возможности пригласить гг. офицеров к себе ночевать. По ее красивой, величественной улыбке, которая мгновенно исчезала с лица всякий раз, когда она отворачива-

лась за чем-нибудь от гостей, видно было, что на своем веку она видела много гг. офицеров, что ей теперь не до них, а если она пригласила их к себе в дом и извиняется, то только потому, что этого требуют ее воспитание и положение в свете.

В большой столовой, куда вошли офицеры, на одном краю длинного стола сидело за чаем с десятком мужчин и дам, пожилых и молодых. За их стульями, окутанная легким сигарным дымом, темнела группа мужчин; среди нее стоял какой-то худощавый молодой человек с рыжими бачками и, картавя, о чем-то громко говорил по-английски. Из-за группы, сквозь дверь, видна была светлая комната с голубою мебелью.

— Господа, вас так много, что представлять нет никакой возможности! — сказал громко генерал, стараясь казаться очень веселым. — Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры — одни с очень серьезными и даже строгими лицами, другие, натянуто улыбаясь, и все вместе чувствуя себя очень неловко, кое-как раскланялись и сели за чай.

Больше всех чувствовал себя неловко штабс-капитан Рябович, маленький сутуловатый офицер, в очках и с бакенами, как у рыси. В то время как одни из его товарищей делали серьезные лица, а другие натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки как бы говорили: «Я самый робкий, самый скромный и самый бесцветный офицер во всей бригаде!» На первых порах, входя в столовую и потом сидя за чаем, он никак не мог остановить своего внимания на каком-нибудь одном лице или предмете. Лица, платья, граненые графинчики с коньяком, пар от стаканов, лепные карнизы — все это сливалось в одно общее, громадное впечатление, вселявшее в Рябовича тревогу и желание спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему перед публикой, он видел все, что было у него перед глазами, но видимое как-то плохо понималось (у физиологов такое состояние, когда субъект видит, но не понимает, называется «психической слепотой»). Немного же погодя,

освоившись, Рябович прозрел и стал наблюдать. Ему, как человеку робкому и необщественному, прежде всего бросилось в глаза то, чего у него никогда не было, а именно — необыкновенная храбрость новых знакомых. Фон Раббек, его жена, две пожилые дамы, какая-то барышня в сиреновом платье и молодой человек с рыжими бачками, оказавшийся младшим сыном Раббека, очень хитро, точно у них ранее была репетиция, разместились среди офицеров и тотчас же подняли горячий спор, в который не могли не вмешаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристам живется гораздо легче, чем кавалерии и пехоте, а Раббек и пожилые дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговор. Рябович глядел на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о том, что было для нее чуждо и вовсе не интересно, и следил, как на ее лице появлялись и исчезали неискренние улыбки.

Фон Раббек и его семья искусно втягивали офицеров в спор, а сами между тем зорко следили за их стаканами и ртами, все ли они пьют, у всех ли сладко и отчего такой-то не ест бисквитов или не пьет коньяку. И чем больше Рябович глядел и слушал, тем больше нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

После чая офицеры пошли в зал. Чутье не обмануло поручика Лобытко: в зале было много барышень и молодых дам. Сеттер-поручик уже стоял около одной очень молоденькой блондинки в черном платье и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо играл плечами. Он говорил, вероятно, какой-нибудь очень интересный вздор, потому что блондинка снисходительно глядела на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: «Неужели?» И по этому бесстрастному «неужели» сеттер, если бы был умен, мог бы заключить, что ему едва ли крикнут «пиль!».

Загремел рояль; грустный вальс из залы полетел в настешь открытые окна, и все почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майский вечер. Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой листвою

тополя, розами и сиренью. Рябович, в котором, под влиянием музыки, заговорил выпитый коньяк, покосился на окно, улыбнулся и стал следить за движениями женщин, и ему уже казалось, что запах роз, тополя и сирени идет не из сада, а от женских лиц платев.

Сын Раббека пригласил какую-то тощую девицу и сделал с нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетел к сиреневой барышне и понесся с нею по зале. Танцы начались... Рябович стоял около двери среди нетанцующих и наблюдал. Во всю свою жизнь он ни разу не танцевал, и ни разу в жизни ему не приходилось обнимать талию порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человек у всех на глазах брал незнакомую девушку за талию и подставлял ей для руки свое плечо, но вообразить себя в положении этого человека он никак не мог. Было время, когда он завидовал храбрости и прыти своих товарищей и болел душою; сознание, что он робок, сутуловат и бесцветен, что у него длинная талия и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но с годами это сознание стало привычным, и теперь он, глядя на танцующих или громко говорящих, уже не завидовал, а только грустно умилялся.

Когда началась кадрили, молодой фон Раббек пошел к нетанцующим и пригласил двух офицеров сыграть на бильярде. Офицеры согласились и пошли с ним из залы. Рябович от нечего делать, желая принять хоть какос-нибудь участие в общем движении, поплелся за ними. Из залы они прошли в гостиную, потом в узкий стеклянный коридор, отсюда в комнату, где при появлении их быстро вскочили с диванов три сонные лакейские фигуры. Наконец, пройдя целый ряд комнат, молодой Раббек и офицеры вошли в небольшую комнату, где стоял бильярд. Началась игра.

Рябович, никогда не игравший ни во что, кроме карт, стоял возле бильярда и равнодушно глядел на игроков, а они, в расстегнутых сюртуках, с киями в руках, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятные слова. Игроки не замечали его, и только

изредка кто-нибудь из них, толкнув его локтем или зацепив нечаянно кием, оборачивался и говорил: «Pardon!» Первая партия еще не кончилась, а уж он соскучился, и ему стало казаться, что он лишний и мешает... Его потянуло обратно в залу, и он вышел.

На обратном пути ему пришлось пережить маленькое приключение. На полдороге он заметил, что идет не туда, куда нужно. Он отлично помнил, что на пути ему должны встретиться три сонные лакейские фигуры, но прошел он пять-шесть комнат, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Заметив свою ошибку, он прошел немного назад, взял вправо и очутился в полутемном кабинете, какого не видал, когда шел в бильярдную; постояв здесь полминуты, он решительно отворил первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошел в совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, в которую бил яркий свет; из-за двери доносились глухие звуки грустной мазурки. Тут так же, как и в зале, окна были открыты настежь и пахло тополем, сиренью и розами..

Рябович остановился в раздумье... В это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женский задыхающийся голос шептал «наконец-то!», и две мягкие, пахучие, несомненно женские руки охватили его шею; к его щеке прижалась теплая щека и одновременно раздался звук поцелуя. Но тотчас же целовавшая слегка вскрикнула и, как показалось Рябовичу, с отвращением отскочила от него. Он тоже едва не вскрикнул и бросился к яркой дверной щели...

Когда он вернулся в залу, сердце его билось и руки дрожали так заметно, что он поторопился спрягать их за спину. На первых порах его мучили стыд и страх, что весь зал знает о том, что его сейчас обнимала и целовала женщина, он ежился и беспокойно оглядывался по сторонам, но, убедившись, что в зале по-прежнему преспокойно пляшут и болтают, он весь предался новому, до сих пор ни разу в жизни не испытанному ощущению. С ним делалось что-то странное.. Его шея, которую только что обхватывали

мягкие пахучие руки, казалось ему, была вымазана маслом; на щеке около левого уса, куда поцеловала незнакомка, дрожал легкий, приятный холодок, как от мятных капель, и чем больше он тер это место, тем сильнее чувствовался этот холодок; весь же он от головы до пят был полон нового странного чувства, которое все росло и росло... Ему захотелось плясать, говорить, бежать в сад, громко смеяться... Он совсем забыл, что он сутуловат и бесцветен, что у него рысьи бакены и «неопределенная наружность» (так однажды была названа его наружность в дамском разговоре, который он нечаянно подслушал). Когда мимо него проходила жена Раббека, он улыбнулся ей так широко и ласково, что она остановилась и вопрошительно поглядела на него.

— Ваш дом мне ужасно нравится!.. — сказал он, поправляя очки.

Генеральша улыбнулась и рассказала, что этот дом принадлежал еще ее отцу, потом она спросила, живы ли его родители, давно ли он на службе, отчего так тощ и проч... Получив ответы на свои вопросы, она пошла дальше, а он после разговора с нею стал улыбаться еще ласковее и думать, что его окружают великолепнейшие люди...

За ужином Рябович машинально ел все, что ему предлагали, пил и, не слыша ничего, старался объяснить себе недавнее приключение. Это приключение носило характер таинственный и романический, но объяснить его было нетрудно. Наверное, какая-нибудь барышня или дама назначила кому-нибудь свидание в темной комнате, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рябовича за своего героя; это тем более вероятно, что Рябович, проходя через темную комнату, остановился в раздумье, то есть имел вид человека, который тоже чего-то ждет... Так и объяснил себе Рябович полученный поцелуй.

«А кто же она? — думал он, оглядывая женские лица. — Она должна быть молода, потому что старые не ходят на свидания. Затем, что она интеллигентна, чувствовалось по шороху платья, по запаху, по голосу...»

Он остановил взгляд на сиреновой барышне, и она ему очень понравилась; у нее были красивые плечи и руки, умное лицо и прекрасный голос. Рябовичу, глядя на нее, захотелось, чтобы именно она, а не кто другая, была тою незнакомкой... Но она как-то неискренне засмеялась и поморщила свой длинный нос, который показался ему старообразным; тогда он перевел взгляд на блондинку в черном плагье. Эта была моложе, попроще и искреннее, имела прелестные виски и очень красиво пила из рюмки. Рябовичу теперь захотелось, чтобы она была тою. Но скоро он нашел, что ее лицо плоско, и перевел глаза на ее соседку...

«Трудно угадать,— думал он, мечтая.— Если от сиреновой взять только плечи и руки, прибавить виски блондинки, а глаза взять у этой, что сидит налево от Лобытко, то...»

Он сделал в уме сложение, и у него получился образ девушки, целовавшей его, тот образ, которого он хотел, но никак не мог найти за столом.

После ужина гости, сытые и охмелевшие, стали прощаться и благодарить. Хозяева опять начали извиняться, что не могут оставить их у себя ночевать.

— Очень, очень рад, господа! — говорил генерал, и на этот раз искренне (вероятно, оттого, что, провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая). — Очень рад! Милости просим на обратном пути! Без церемонии! Куда же вы? Хотите вёрхом идти? Нет, идите через сад, лизом — здесь ближе.

Сфицеры вышли в сад. После яркого света и шума в саду показалось им очень темно и тихо. До самой калитки шли они молча. Были они полупьяны, веселы, довольны, но потемки и тишина заставили их на минуту призадуматься. Каждому из них, как Рябовичу, вероятно, пришла одна и та же мысль: останется ли и для них когда-нибудь время, когда они, подобно Раббеку, будут иметь большой дом, семью, сад, когда и они будут иметь так же возможность, хотя бы неискренне, ласкать людей, делать их сытыми, пьяными, довольными?

Выйдя из калитки, они все сразу заговорили и без причины стали громко смеяться. Теперь уж они шли по тропинке, которая спускалась вниз к реке и потом бежала у самой воды, огибая прибрежные кусты, промоины и вербы, нависшие над водой. Берег и тропинка были еле видны, а другой берег весь тонул в потемках. Кое-где на темной воде отражались звезды; они дрожали и расплывались — и только по этому можно было догадаться, что река текла быстро. Было тихо. На том берегу стонали сонные кулики, а на этом, в одном из кустов, не обращая никакого внимания на толпу офицеров, громко заливался соловей. Офицеры постояли около куста, потрогали его, а соловей все пел.

— Каков? — слышались одобрительные возгласы. — Мы стоим возле, а он ноль внимания! Этакая шельма!

В конце пути тропинка шла вверх и около церковной ограды впадала в дорогу. Здесь офицеры, утомленные ходьбой на гору, посидели, покурили. На другом берегу показался красный тусклый огонек, и они от нечего делать долго решали, костер ли это, огонь ли в окне, или что-нибудь другое... Рябович тоже глядел на огонь, и ему казалось, что этот огонь улыбался и подмигивал ему с таким видом, как будто знал о поцелуе.

Придя на квартиру, Рябович поскорее разделся и лег. В одной избе с ним остановились Лобытко и поручик Мерзляков, тихий, молчаливый малый, считавшийся в своем кружке образованным офицером и всегда, где только было возможно, читавший «Вестник Европы», который возил всюду с собою. Лобытко разделся, долго ходил из угла в угол, с видом человека, который не удовлетворен, и послал денщика за пивом. Мерзляков лег, поставил у изголовья свечу и погрузился в чтение «Вестника Европы».

«Кто же она?» — думал Рябович, глядя на закопченный потолок.

Шея его все еще, казалось ему, была вымазана маслом и около рта чувствовался холодок, как от мятных капель. В воображении его мелькали плечи

и руки сиреновой барышни, виски и искренние глаза блондинки в черном, талии, платья, броши. Он старался остановить свое внимание на этих образах, а они прыгали, расплывались, мигали. Когда на широком черном фоне, который видит каждый человек, закрывая глаза, совсем исчезали эти образы, он начинал слышать торопливые шаги, шорох платья, звук поцелуя и — сильная беспричинная радость овладевала им... Предаваясь этой радости, он слышал, как денщик вернулся и доложил, что пива нет. Лобытко страшно возмутился и опять зашагал.

— Ну, не идиот ли? — говорил он, останавливаясь то перед Рябовичем, то перед Мерзляковым. — Каким надо быть болваном и дураком, чтобы не найти пива! А? Ну, не каналья ли?

— Конечно, здесь нельзя найти пива, — сказал Мерзляков, не отрывая глаз от «Вестника Европы».

— Да? Вы так думаете? — приставал Лобытко. — Господи, боже мой, забросьте меня на луну, так я сейчас же найду вам и пива и женщин! Вот пойду сейчас и найду... Назовите меня подлецом, если не найду!

Он долго одевался и натягивал большие сапоги, потом молча выкурил папироску и пошел.

— Раббек, Граббек, Лаббек, — забормотал он, останавливаясь в сенях. — Не хочется идти одному, черт возьми. Рябович, не хотите ли променаж сделать? А?

Не получив ответа, он вернулся, медленно разделся и лег. Мерзляков вздохнул, сунул в сторону «Вестник Европы» и потушил свечу.

— Н-да-с... — пробормотал Лобытко, закуривая в потемках папиросу.

Рябович укрылся с головой и, свернувшись калачиком, стал собирать в воображении мелькающие образы и соединять их в одно целое. Но у него ничего не получилось. Скоро он уснул, и последней его мыслью было то, что кто-то обласкал и обрадовал его, что в его жизни совершилось что-то необыкновенное, глупое, но чрезвычайно хорошее и радостное. Эта мысль не оставляла его и во сне.

Когда он проснулся, ощущения масла на шее и мятного холодка около губ уж не было, но радость по-вчерашнему волной ходила в груди. Он с восторгом поглядел на оконные рамы, позолоченные восходящим солнцем, и прислушался к движению, происходившему на улице. У самых окон громко разговаривали. Батарейный командир Рябовича, Лебедецкий, только что догнавший бригаду, очень громко, от не привычки говорить тихо, беседовал со своим фельдфебелем.

— А еще что? — кричал командир.

— При вчерашней перековке, ваше высокоблагородие, Голубчика заковали. Фельдшер приложил глины с уксусом. Ведут теперь в поводу сторонкой. А так же, ваше высокоблагородие, вчерась мастерской Артемьев напился и поручик велели посадить его на передок запасного лафета.

Фельдфебель доложил еще, что Карпов забыл новые шнуры к трубам и колья к палаткам и что гг. офицеры вчерашний вечер изволили быть в гостях у генерала фон Раббека. Среди разговора в окне показалась рыжебородая голова Лебедецкого. Он пощурил близорукие глаза на сонные физиономии офицеров и поздоровался.

— Все благополучно? — спросил он.

— Коренная подседельная набила себе холку, — ответил Лобытко, зевая, — новым хомутом.

Командир вздохнул, подумал и сказал громко:

— А я еще думаю к Александре Евграфовне съездить. Надо ее проведать. Ну, прощайте. К вечеру я вас догоню.

Через четверть часа бригада тронулась в путь. Когда она двигалась по дороге мимо господских амбаров, Рябович поглядел вправо на дом. Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, в доме все еще спали. Спала и та, которая вчера целовала Рябовича. Он захотел вообразить ее спящею. Открытое настежь окно спальни, зеленые ветки, заглядывающие в это окно, утреннюю свежесть, запах тополя, сирени и роз, кровать, стул и на нем платье, которое вчера шуршало, туфельки, часики на столе — все это нарисовал он

себе ясно и отчетливо, но черты лица, милая сонная улыбка, именно то, что важно и характерно, ускользало от его воображения, как ртуть из-под пальца. Проехав полверсты, он оглянулся назад: желтая церковь, дом, река и сад были залиты светом; река со своими ярко-зелеными берегами, отражая в себе голубое небо и кое-где серебрясь на солнце, была очень красива. Рябович взглянул в последний раз на Местечки, и ему стало так грустно, как будто он расставался с чем-то очень близким и родным.

А на пути перед глазами лежали одни только давно знакомые, неинтересные картины... Направо и налево поля молодой ржи и гречихи, с прыгающими грачами; взглянешь вперед — видишь пыль и затылки, оглянешься назад — видишь ту же пыль и лица... Впереди всех шагают четыре человека с шашками — это авангард. За ними толпа псельников, а за псельниками трубачи верхами. Авангард и псельники, как факельщики в похоронной процессии, то и дело забывают об уставном расстоянии и заходят далеко вперед... Рябович находится у первого орудия пятой батареи. Ему видны все четыре батареи, идущие впереди его. Для человека невоенного эта длинная, тяжелая вереница, какую представляется движущаяся бригада, кажется мудреной и мало понятной кашей; непонятно, почему около одного орудия столько людей и почему его везут сголько лошадей, опутанных странной сбруей, точно оно и в самом деле так страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно. Он давно уже знает, для чего впереди каждой батареи рядом с офицером едет солидный фейерверкер и почему он называется уносным; вслед за спиной этого фейерверкера видны ездовые первого, потом среднего выноса; Рябович знает, что левые лошади, на которых они сидят, называются подседельными, а правые подручными — это очень неинтересно. За ездовым следуют две коренные лошади. На одной из них сидит ездовой со вчерашней пылью на спине и с неуклюжей, очень смешной деревяшкой на правой ноге; Рябович знает назначение этой деревяшки, и она не кажется ему смешною. Ездовые,

все, сколько их есть, машинально взмахивают нагайками и изредка покрикивают. Само орудие некрасиво. На передке лежат мешки с овсом, прикрытые брезентами, а орудие все завешано чайниками, солдатскими сумками, мешочками и имеет вид маленького безвредного животного, которое неизвестно для чего окружили люди и лошади. По бокам его, с подветренной стороны, размахивая руками, шагают шесть человек прислуги. За орудием опять начинаются новые уносные, ездовые, коренные, а за ними тянется новое орудие, такое же некрасивое и невнушительное, как и первое. За вторым следует третье, четвертое; около четвертого офицер и т. д. Всех батарей в бригаде шесть, а в каждой батарее по четыре орудия. Вереница тянется на полверсты. Заканчивается она обозом, около которого задумчиво, понурив свою длиннотухую голову, шагает в вышней степени симпатичная рожа — осел Магар, вывезенный одним батарейным командиром из Турции.

Рябович равнодушно глядел вперед и назад, на затылки и на лица; в другое время он задремал бы, но теперь он весь погрузился в свои новые, приятные мысли. Сначала, когда бригада только что двинулась в путь, он хотел убедить себя, что история с поцелуем может быть интересна только как маленькое, таинственное приключение, что по существу она ничтожна и думать о ней серьезно по меньшей мере глупо; но скоро он махнул на логику рукой и отдался мечтам... То он воображал себя в гостиной у Раббека, рядом с девушкой, похожей на сиреневую барышню и на блондинку в черном; то закрывал глаза и видел себя с другою, совсем незнакомою девушкою с очень неопределенными чертами лица; мысленно он говорил, ласкал, склонялся к плечу, представлял себе войну и разлуку, потом встречу, ужин с женой, детей...

— К валькам! — раздавалась команда всякий раз при спуске с горы.

Он тоже кричал «к валькам!» и боялся, чтобы этот крик не порвал его мечты и не вызвал бы его к действительности...

Проезжая мимо какого-то помещичьего имения,

Рябович поглядел через палисадник в сад. На глаза ему попала длинная, прямая, как линейка, аллея, посыпанная желтым песком и обсаженная молодыми березками... С жадностью размечтавшегося человека он представил себе маленькие женские ноги, идущие по желтому песку, и совсем неожиданно в его воображении ясно вырисовалась та, которая целовала его и которую он сумел представить себе вчера за ужином. Этот образ остановился в его мозгу и уж не оставлял его.

В полдень сзади, около обоза, раздался крик:

— Смирно! Глаза налево! Господа офицеры!

В коляске, на паре белых лошадей, прокатил бригадный генерал. Он остановился около второй батареи и закричал что-то такое, чего никто не понял. К нему поскакали несколько офицеров, в том числе и Рябович.

— Ну, как? Что? — спросил генерал, моргая красными глазами. — Есть больные?

Получив ответы, генерал, маленький и тощий, пожевал, подумал и сказал, обращаясь к одному из офицеров:

— У вас коренной ездовой третьего орудия снял наколенник и повесил его, каналья, на передок. Взыщите с него.

Он поднял глаза на Рябовича и продолжал:

— А у вас, кажется, нашильники слишком длинны...

Сделав еще несколько скучных замечаний, генерал поглядел на Лобытку и усмехнулся.

— А у вас, поручик Лобытко, сегодня очень грустный вид, — сказал он. — По Лопуховой скучаете? А? Господа, он по Лопуховой соскучился!

Лопухова была очень полная и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорок. Генерал, питавший пристрастие к крупным особам, какого бы возраста они ни были, подозревал в этом пристрастии и своих офицеров. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный, довольный тем, что сказал что-то очень смешное и ядовитое, громко захохотал, коснулся кучерской спины и сделал под козырек. Коляска покатилась дальше...

«Все, о чем я теперь мечтаю и что мне теперь кажется невозможным и неземным, в сущности очень обыкновенно,— думал Рябович, глядя на облака пыли, бежавшие за генеральской коляской.— Все это очень обыкновенно и переживается всеми.. Например, этот генерал в свое время любил, теперь женат, имеет детей. Капитан Вахтер тоже женат и любим, хотя у него очень некрасивый красный затылок и нет талии... Сальманов груб и слишком татарин, но у него был роман, кончившийся женитьбой... Я такой же, как и все, и переживу рано или поздно то же самое, что и все...»

И мысль, что он обыкновенный человек и что жизнь его обыкновенна, обрадовала и подбодрила его. Он уже смело, как хотел, рисовал ее и свое счастье и ничем не стеснял своего воображения...

Когда вечером бригада прибыла к месту и офицеры отдыхали в палатках, Рябович, Мерзляков и Лобытко сидели вокруг сундука и ужинали. Мерзляков не спеша ел и, медленно жуя, читал «Вестник Европы», который держал на коленях. Лобытко без умолку говорил и подливал в стакан пиво, а Рябович, у которого от целодневных мечтаний стоял туман в голове, молчал и пил. После трех стаканов он охмелел, ослабел, и ему неудержимо захотелось поделиться с товарищами своим новым ощущением.

— Станный случился со мной случай у этих Раббеков...— начал он, стараясь придать своему голосу равнодушный и насмешливый тон.— Пошел я, знаете ли, в бильярдную...

Он стал рассказывать очень подробно историю с поцелуем и через минуту умолк... В эту минуту он рассказал все, и его страшно удивило, что для рассказа понадобилось так мало времени. Ему казалось, что о поцелуе можно рассказывать до самого утра. Выслушав его, Лобытко, много лгавший, а потому никому не веривший, недоверчиво посмотрел на него и усмехнулся. Мерзляков пошевелил бровями и покойно, не отрывая глаз от «Вестника Европы», сказал:

— Бог знает что!.. Бросается на шею, не окликнув... Должно быть, психопатка какая-нибудь.

— Да, должно быть психопатка....— согласился Рябович.

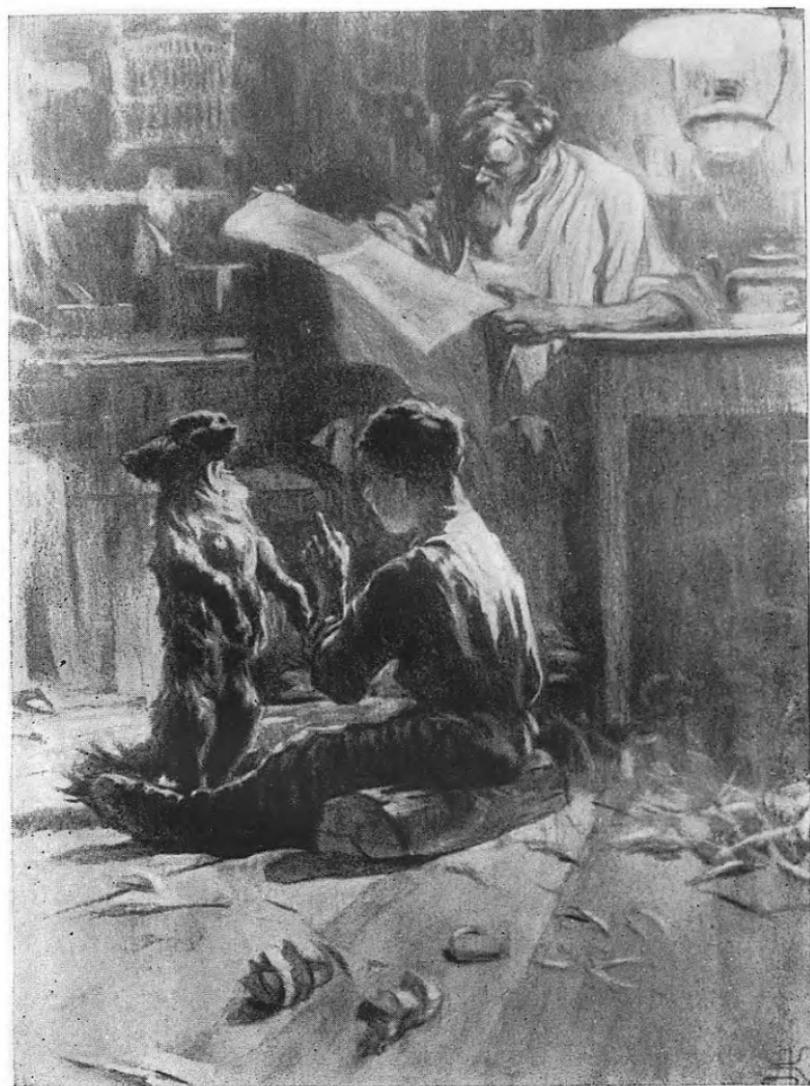
— Подобный же случай был однажды со мной...— сказал Лобытко, делая испуганные глаза.— Еду я в прошлом году в Ковно... Беру билет второго класса... Вагон битком набит, и спать невозможно. Даю кондуктору полтину... Тот берет мой багаж и ведет меня в купе... Ложусь и укрываюсь одеялом... Темно, понимаете ли. Вдруг слышу, кто-то трогает меня за плечо и дышит мне на лицо. Я этак сделал движение рукой и чувствую чей-то локоть... Открываю глаза и, можете себе представить,— женщина! Черные глаза, губы красные, как хорошая семга, ноздри дышат страстью, грудь — буфера...

— Позвольте,— перебил покойно Мерзляков,— на счет груди я понимаю, но как вы могли увидеть губы, если было темно?

Лобытко стал изворачиваться и смеяться над несообразительностью Мерзлякова. Это покорило Рябовича. Он отошел от сундука, лег и дал себе слово никогда не откровенничать.

Наступила лагерная жизнь... Потекли дни, очень похожие друг на друга. Во все эти дни Рябович чувствовал, мыслил и держал себя, как влюбленный. Каждое утро, когда денщик подавал ему умываться, он, обливая голову холодной водой, всякий раз вспоминал, что в его жизни есть что-то хорошее и теплое.

Вечерами, когда товарищи начинали разговор о любви и о женщинах, он прислушивался, подходил ближе и принимал такое выражение, какое бывает на лицах солдат, когда они слушают рассказ о сражении, в котором сами участвовали. А в те вечера, когда подгулявшее обер-офицерство с сеттером-Лобытко во главе делало донжуанские набеги на «слободку», Рябович, принимавший участие в набегах, всякий раз бывал грустен, чувствовал себя глубоко виноватым и мысленно просил у *нее* прощения... В часы безделья или бессонные ночи, когда ему приходила охота вспоминать детство, отца, мать, вообще родное и близкое, он непременно вспоминал и Местечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похо-



К рассказу «Каштанка».
Художник Д. Кардовский. 1903.

жую на императрицу Евгению, темную комнату, яркую щель в двери...

Тридцать первого августа он возвращался из лагеря, но уже не со своей бригадой, а с двумя батареями. Всю дорогу он мечтал и волновался, точно ехал на родину. Ему страстно хотелось опять увидеть странную лошадь, церковь, неискреннюю семью Раббеков, темную комнату; «внутренний голос», так часто обманывающий влюбленных, шептал ему почему-то, что он непременно увидит ее... И его мучили вопросы: как он встретится с ней? о чем будет с ней говорить? не забыла ли она о поцелуе? На худой конец, думал он, если бы даже она не встретила его, то для него было бы приятно уже одно то, что он пройдет по темной комнате и вспомнит...

К вечеру на горизонте показались знакомая церковь и белые амбары. У Рябовича забилось сердце... Он не слушал офицера, ехавшего рядом и что-то говорившего ему, про все забыл и с жадностью всматривался в блестящую вдаль реку, в крышу дома, в голубятню, над которой кружились голуби, освещенные заходящим солнцем.

Подъезжая к церкви и потом выслушивая квартирьера, он ждал каждую секунду, что из-за ограды покажется верховой и пригласит офицеров к чаю, но... доклад квартирьеров кончился, офицеры спешили и побрели в деревню, а верховой не показывался...

«Сейчас Раббек узнает от мужиков, что мы приехали, и пришлет за нами», — думал Рябович, входя в избу и не понимая, зачем это товарищ зажигает свечу и зачем денщики спешат ставить самовары...

Тяжелое беспокойство овладело им. Он лег, потом встал и поглядел в окно, не едет ли верховой? Но верхового не было. Он опять лег, через полчаса встал и, не выдержав беспокойства, вышел на улицу и зашагал к церкви. На площади, около ограды, было темно и пустынно... Какие-то три солдата стояли рядом у самого спуска и молчали. Увидев Рябовича, они встrepенулись и отдали честь. Он откозырял им в ответ и стал спускаться вниз по знакомой тропинке.

На том берегу все небо было залито багровой краской: восходила луна; какие-то две бабы, громко разговаривая, ходили по огороду и рвали капустные листья; за огородами темнело несколько изб... А на этом берегу было все то же, что и в мае: тропинка, кусты, вербы, нависшие над водой... только не слышно было храброго соловья, да не пахло тополем и молодой травой.

Дойдя до сада, Рябович заглянул в калитку. В саду было темно и тихо... Видны были только белые стволы ближайших берез да кусочек аллеи, все же остальное мешалось в черную массу. Рябович жадно вслушивался и всматривался, но, простояв с четверть часа и не дождавшись ни звука, ни огонька, поплелся назад...

Он подошел к реке. Перед ним белели генеральская купальня и простыни, висевшие на перилах мостика... Он взошел на мостик, постоял и без всякой надобности потрогал простыню. Простыня оказалась шершавой и холодной. Он поглядел вниз на воду... Река бежала быстро и едва слышно журчала около сваен купальни. Красная луна отражалась у левого берега; маленькие волны бежали по ее отражению, растягивали его, разрывали на части и, казалось, хотели унести...

«Как глупо! Как глупо! — думал Рябович, глядя на бегущую воду.— Как все это не умно!»

Теперь, когда он ничего не ждал, история с поцелуем, его нетерпение, неясные надежды и разочарование представлялись ему в ясном свете. Ему уж не казалось странным, что он не дождался генеральского верхового и что никогда не увидит той, которая случайно поцеловала его вместо другого; напротив, было бы странно, если бы он увидел ее...

Вода бежала неизвестно куда и зачем. Бежала она таким же образом и в мае; из речки в мае месяце она влилась в большую реку, из реки в море, потом испарилась, обратилась в дождь, и быть может, она, та же самая вода, опять бежит теперь перед глазами Рябовича... К чему? Зачем?

И весь мир, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, бесцельной шуткой.. А отведя глаза от воды и взглянув на небо, он опять вспомнил, как судьба в лице незнакомой женщины нечаянно обласкала его, вспомнил свои летние мечты и образы, и его жизнь показалась ему необыкновенно скудной, убогой и бесцветной...

Когда он вернулся к себе в избу, то не застал ни одного товарища. Денщик доложил ему, что все они ушли к «генералу Фонтрябкину», приславшему за ними верхового... На мгновение в груди Рябовича вспыхнула радость, но он тотчас же потушил ее, лег в постель и назло своей судьбе, точно желая досадить ей, не пошел к генералу.

МАЛЬЧИКИ

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володечка приехали! — завопила Наталья, вбегающая в столовую. — Ах, боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что, кроме Володи,

в передней находился еще один маленький человек, укутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Володечка, а это же кто? — спросила шепотом мать.

— Ах! — спохватился Володя.— Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец.— Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погода Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступить друг другу, щекались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и рождество! — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу.— А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаячи? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими

мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь... — тихо говорил Чечевицын... — оттуда в Тюмень... потом Томск... потом...

потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн-Рида?

— Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то,— все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда

мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».

— Ты смотри же, не говори маме,— сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать.— Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын.— Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя.— Как же я поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын.— И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.

— По... поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володечка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве это так можно? — убеждал папаша.— Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

БАШТАНКА

Рассказ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дурное поведение

Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с

выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб... ты... из... дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем — в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны

улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоня ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Таинственный незнакомец

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой

коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

— Что же ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

— А ты хорошая, смешная! — сказал незнакомец. — Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем с мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйт!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

— Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! — говорил незнакомец, глядя, с какую свирепую жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завилыла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет

ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

— Эй ты, пес, поди сюда! — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. — Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выдвигал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табуку... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новое, очень приятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

— Рррр...— заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадьё. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое? — слышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

— Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

— Иван Иванович, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказал хозяин, зевая. — Надо жить мирно и дружно. — Он погладил Каштанку и продолжал: — А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

— Вот что... Ты будешь — Тетка... Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь несколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

Чудеса в решете

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

— Иван Иванович, пожалуйста!

Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.

— Ну-с,— сказал незнакомец,— начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

— Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Прodelав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:

— Караул! Пожар! Горим!

Иван Иванович подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

— Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

— Тетка, на место! — крикнул ей незнакомец.— Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пяточок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пяточком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

— Федор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.

— Ну-с, начнем с египетской пирамиды,— начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз... два... три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на шетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизг-

нула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Учение кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иванович направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеича и гуся.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Талант! Талант!

Прошел месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»...

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не

просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире: гусь же не имел права переступить порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды, перед ученьем хозяин погладил ее и сказал:

— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

— Талант! Талант! — говорил он. — Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Беспокойная ночь

Тетке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украдала у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из

комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх и пророчала:

— Ррррр...

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помой, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнул Иван Иванович.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

— Иван Иванович, что с тобой? — спросил хозяин у гуся. — Что ты кричишь? Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

— Ты чудак. И сам не спишь и другим не даешь.

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завывала тихо и на разные голоса.

— К-ге! — крикнул Иван Иваныч. — К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иван Иваныч! — позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

— Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! — вскрикнул он и схватил себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лосада! Боже мой, боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она

протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завывала.

— Он умирает, Тетка! — сказал хозяин и всплеснул руками.— Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

— Боже мой, что же делать?

Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из ручнойники воды и опять пошел к гусю.

— Пей, Иван Иванович! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко.— Пей, голубчик.

Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин.— Все кончено. Пропал Иван Иванович!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

— Бедный Иван Иванович! — говорил хозяин, печально вздыхая.— А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее

будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

— Ску-ску-ску...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Неудачный дебют

В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

— Ну-с...

Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

— Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой...

— Тетка, пойдем,— сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки — это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замыкал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя

дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затем его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином,— все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

— Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее — вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.

— М-г Жорж, пожалуйста! — крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

— Иди, Тетка! — сказал он тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеичем. Засим наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

— А вот и я! — громко крикнул хозяин. — А вот и я!

Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

— Га! — крикнул он, стараясь перекричать рев. — Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое — очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забежала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

— Га! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая Тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном

месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завывала.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем камаринского.

Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

— Ну-с, Тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завывала. Со всех сторон слышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

— Тятка! — крикнул детский голос. — А ведь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, на-кажи бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один — детский, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся,

другое — пухлое, краснощекое и испуганное, ударили по ее глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконец, попала на галерку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

— В бездне греховней валяюся во утробе моей...— бормотал он.— А ты, Каштанка,— недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.

Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон...

РАССКАЗ ГОСПОЖИ NN

Лет девять назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса я и Петр Сергеич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами.

Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней.

На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились высокие тополи. Пахло дождем и скошенным сеном. Мой спутник был в ударе. Он смеялся и говорил всякий вздор. Он говорил, что было бы недурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мохом, с совами, чтобы мы спрятались туда от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром...

Но вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеич рассмеялся и пришпорил лошадь.

— Хорошо! — крикнул он. — Очень хорошо!

Я, зараженная его веселостью, и от мысли, что сейчас промокну до костей и могу быть убита молнией, тоже стала смеяться.

Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. Когда мы въехали в наш двор, ветра уже не

было, и крупные брызги дождя стучали по траве и по крышам. Около конюшни не было ни души.

Петр Сергеич сам разнуздал лошадей и повел их к стойлам. Ожидая, когда он кончит, я стояла у порога и смотрела на косые дождевые полосы; приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле; от туч и дождя было сумеречно.

— Вот так удар! — сказал Петр Сергеич, подходя ко мне после одного очень сильного, раскатистого громового удара, когда, казалось, небо треснуло пополам. — Каково?

Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, глядел на меня. Я заметила, что он любитесь.

— Наталья Владимировна, — сказал он, — я отдал бы все, чтобы только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны.

Глаза его глядели восторженно и с мольбой, лицо было бледно, на бороде и усах блестели дождевые капли, которые тоже, казалось, с любовью глядели на меня.

— Я люблю вас, — сказал он. — Люблю и счастлив, что вижу вас. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ничего мне не нужно, только знайте, что я люблю вас. Молчите, не отвечайте, не обращайтесь внимания, а только знайте, что вы мне дороги, и позвольте смотреть на вас.

Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохновенное лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя, и, как очарованная, не могла шевельнуться.

Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и слушать.

— Вы молчите — и прекрасно! — сказал Петр Сергеич. — Продолжайте молчать.

Мне было хорошо. Я засмеялась от удовольствия и побежала под проливным дождем к дому; он тоже засмеялся и, подпрыгивая, побежал за мной.

Оба мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по лестницам, влетели в комнаты. Отец и брат,

не привыкшие видеть меня хохочущей и веселой, удивленно поглядели на меня и тоже стали смеяться.

Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на бороде Петра Сергеича все еще блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с собакой, гоняясь за нею по комнатам, так что едва не сбил с ног человека с самоваром. А за ужином он много ел, говорил глупости и уверял, что когда зимою ешь свежие огурцы, то во рту пахнет весной.

Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно, и неопределенное чувство овладело моей душой. Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я знатна и богата, — знатна и богата — как это хорошо, боже мой!.. Потом, пожимаясь в постели от легкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеича или нет... И не понявши ничего, уснула.

А когда утром увидела на своей постели дрожащие солнечные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскресло вчерашнее. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелести. Напевая, я быстро оделась и побежала в сад...

А потом что было? А потом — ничего. Зимою, когда мы жили в городе, Петр Сергеич изредка приезжал к нам. Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом, в городе же и зимою они теряют половину своей прелести. Когда в городе поишь их чаем, то кажется, что на них чужие сюртуки и что они слишком долго мешают ложечкой свой чай. И в городе Петр Сергеич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами: я знатна и богата, а он беден, он не дворянин даже, сын дьякона, он исправляющий должность судебного следователя, и только; оба мы — я по молодости лет, а он бог знает почему — считали эту стену очень высокой и толстой, и он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал высший свет, и угрюмо молчал, когда при нем был кто-нибудь в гостинной. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но ге-

рой современного романа, насколько я их знаю, слишком робки, вялы, ленивы и мнительны и слишком скоро мирятся с мыслью о том, что они неудачники, что личная жизнь обманула их; вместо того чтобы бороться, они лишь критикуют, называя свет пошлым и забывая, что сама их критика мало-помалу переходит в пошлость.

Меня любили, счастье было близко и, казалось, жило со мной плечо о плечо; я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я жду и чего хочу от жизни, а время шло и шло... Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплые ночи, пели соловьи, пахло сеном,— и все это, милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман... Где все оно?

Умер отец, я постарела; все, что нравилось, ласкало, давало надежду — шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви,— все это стало одним воспоминанием, и я вижу впереди ровную, пустынную даль: на равнине ни одной живой души, а там на горизонте темно, страшно...

Вот звонок... Это пришел Петр Сергеич. Когда я зимою вижу деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня летом, я шепчу:

— О, мои милые!

А когда я вижу людей, с которыми я провела свою весну, мне становится грустно, тепло, и я шепчу то же самое.

Его давно уже, по протекции моего отца, перевели в город. Он немножко постарел, немножко осунулся. Он давно уже перестал объясняться в любви, не говорит уже вздора, службы своей не любит, чем-то болен, в чем-то разочарован, махнул на жизнь рукой и живет нехотя. Вот он сел у камина; молча глядит на огонь... Я, не зная, что сказать, спросила:

— Ну, что?

— Ничего...— ответил он.

И опять молчание. Красный свет от огня запрыгал по его печальному лицу.

Вспомнилось мне прошлое, и вдруг мои плечи задрожали, голова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невыносимо жаль самое себя и этого человека и страстно захотелось того, что прошло и в чем теперь отказывает нам жизнь. И теперь уже я не думала о том, как я знатна и богата.

Я громко всхлипывала, сжимая себе виски, и бормотала:

— Боже мой, боже мой, погибла жизнь...

А он сидел, молчал и не сказал мне: «Не плачьте». Он понимал, что плакать нужно и что для этого наступило время. Я видела по его глазам, что ему жаль меня; и мне тоже было жаль его и досадно на этого робкого неудачника, который не сумел устроить ни моей жизни, ни своей.

Когда я провожала его, то он в передней, как мне показалось, нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал мне руку и долго глядел мне в заплаканное лицо. Я думаю, что в это время вспоминал он грозу, дождевые полосы, наш смех, мое тогдашнее лицо. Ему хотелось сказать мне что-то, и он был бы рад сказать, но ничего не сказал, а только покачал головой и крепко пожал руку. Бог с ним!

Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ковре перед камином. Красные уголья подернулись пеплом и стали потухать. Мороз еще сердитее застучал в окно, и ветер запел о чем-то в каминной трубе.

Вошла горничная и, думая, что я уснула, окликнула меня...

ПРИМЕЧАНИЯ

НОВОГОДНЯЯ ПЫТКА
Очерк новейшей инквизиции

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1887, № 1, 4 января. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — ЦГАЛИ). Текст копии соответствует журнальному.

Стр. 5. *...нацепляете на шею Станислава...*— Орден св. Станислава считался младшим из орденов.

Стр. 6. «Далила» — «Самсон и Далила», опера французского композитора К. Сен-Санса (1835—1921).

Баттенберг — болгарский князь, в 1886 г. отрекшийся от престола; *Муткуров, Стамбулов* (или Стамболов) — болгарские реакционные политические деятели. Политическая борьба в Болгарии 1880—1890-х гг. широко освещалась в периодической печати того времени.

Стр. 8. *Шапокляк* — складывающийся цилиндр; головной убор, надевавшийся при фраке.

ШАМΠΑНСКОЕ
Рассказ проходимца

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 4, 5 января, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С сокращениями рассказ вошел в иллюстрированный календарь «Стоглав», Спб. 1890. С дополнительными сокращениями и исправлениями включен в сборник Чехова «Хмурые люди», посвященный П. И. Чайковскому, Спб. 1890, и перепечатан в его последующих, 2—10, изданиях (1890—1899). С незначительными изменениями включен автором в том V собрания сочинений.

И. Л. Щеглов (см. его письма к Чехову от 30 сентября и 4 ноября 1888 г.) советовал писателю К. С. Баранцевичу поместить в сборнике памяти В. М. Гаршина «Красный цветок» «превосходный рассказец «Шампанское» и просил Чехова выслать этот рассказ. Чехов ответил: «Шампанское» я утерял» (письмо И. Л. Щеглову от 7 ноября 1888 г.).

Н. К. Михайловский в рецензии на сборник Чехова «Хмурые люди» («Русские ведомости», 1890, № 104, 18 апреля) писал, что начал чтение с рассказа «Шампанское» (последний в сборнике), привлеченный его названием. Упрекая Чехова в отсутствии идеалов и в случайности избираемых им тем, Н. К. Михайловский высоко оценивает отдельные поэтические детали в рассказах «Шампанское», «Почта» «Холодная кровь»: «Все у него живет: облака тайком от луны шепчутся, колокольчики плачут, бубенчики смеются, тень вместе с человеком из вагона выходит. Эта своего рода, пожалуй, пантеистическая черта очень способствует красоте рассказа и свидетельствует о поэтическом настроении автора» (см. Н. К. Михайловский, Литературно-критические статьи, М. 1957, стр. 598).

Стр. 12. ...с ярлыком вдовы Клико...— *Veuve Clicot* — французская винодельческая фирма, выпускавшая шампанское.

Стр. 16. «Очи черные, очи страстные...» — романс на слова Е. П. Гребенки (1812—1848).

МОРОЗ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 11, 12 января, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После значительных сокращений и исправлений рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

При редактировании рассказа Чехов снял ряд иностранных слов и просторечных выражений, главным образом в авторской речи, а также в репликах некоторых представителей местного «отборного» общества. Так, например, вторая фраза рассказа начиналась словами: «Инициаторы наметили...», которые при редактировании заменены словом: «Выбрали». Вместо слов губернатора: «Сюда идет. Ну, беда: заговорит он нас теперь!» — было: «Сюда идет! *Mesdames*, затыкайте уши!» Вместо: «— А где же это самое... чем греться-то? — спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея», — было: «— А где же это самое... чем

греться-то? — спросил он испуганно, тараща глаза». Кроме того, в тексте: «Такой проклятуший мороз, что хуже собаки всякой! — продолжал он тараторить, улыбаясь во все лицо», — слово «тараторить» заменено словом «говорить».

Чехов переработал и следующий отрывок, в котором голова говорил о том, что он чувствует себя неотесанным и недостойным занимать столь высокий пост в губернии. Так, после слов: «Ну, а мадамам чего?» (стр. 20 наст. изд.) — было: «Голова обернулся и конфузливо поглядел на дам.

— Головой пятнадцать лет, а порядкам не научился... — вздохнул он. — Не голова, а срамota на всю губернию! Ну скажешь там, чтоб пряников, орешков... конфетов каких-нибудь там... Ну, ступай! Живой!

Голова, сконфуженный своим невежеством по части этикета и обращения с дамами, минуту помолчал, но потом опять затараторил».

нищий

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 18, 19 января, в отделе «Легучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Без разрешения автора рассказ был перепечатан газетой «Одесские новости», о чем Чехову сообщил Н. А. Лейкин (письмо от 14 февраля 1887 г.). «Насчет «Одесских новостей», печатающих мои рассказы, — отвечал ему Чехов 25 февраля 1887 г., — следовало бы подумать самой «[Петербургской] газете». Прежде всего обкрадывается «[Петербургская] газета», а потом уж я...»

Рассказ значительно переработан и сокращен для тома III собрания сочинений.

Автор снял или заменил ряд иностранных слов и выражений грубого просторечья. Например, после слов Скворцова: «Кто вам поверит?» — снято обращение: «скотина вы этакая»; вместо: «судя по выражению губ, стала браниться» — было: «Судя по резкой жестикуляции, стала браниться», вместо: «глядит мне в лицо» — «глядит мне в рожу».

Кроме того, Чехов сократил несколько фраз в обличительных речах Скворцова и снял в конце рассказа слова Лушкова, содержащие прямое осуждение жизненной позиции его «благодетеля», считая, очевидно, что это и так явствует из рассказа. Вместо отрывка: «Я благодарен и вам и вашей кухарке», кончая словами «но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга»

(стр. 30 наст. изд.) — ранее было: «и разумно поступали, но... не обижайтесь, Алексей Николаич, извините.. чувствуется мне, что вы тогда не правы были. Разумно вы поступали и по доброте души, но не правы были!»

— Чем не прав? — удивился Скворцов.

— Не могу вам объяснить чем. В ваших поступках и словах не чувствовалась правота. А знаете, кто прав был? Ваша кухарка Ольга!»

ВРАГИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 3913, 20 января. Рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», посвященный Д. В. Григоровичу, Спб. 1887, и перепечатан в его последующих, 2—13, изданиях (1888—1899). С незначительными стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

ДОБРЫЙ НЕМЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 4, 24 января, под заглавием «Анекдот». Подпись: А. Чехонте.

Чехов вначале хотел включить рассказ в собрание сочинений и отредактировал его (сократил текст, произвел стилистическую правку). Сохранились правленные писателем гранки рассказа с названием «Добрый немец» и его автографом: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Н. А. Лейкин писал Чехову 24 января 1887 г.: «А Ваш последний рассказ «Анекдот» ужасно смешон. Из Ваших легких рассказов это один из удачнейших. Главное, развязка уж очень неожиданна».

ТЕМНОТА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 25, 26 января, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «В потемках». Подпись: А. Чехонте.

С новым названием и значительной стилистической правкой рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Значительно сокращен и переработан рассказ Кирилы о проступке и наказании его брата Василия. Сняты некоторые про-

сторечные выражения, как, например: «Все судьи съехавшись», «Нешто он виноват?»

Л. Н. Толстой включил «Темноту» в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ПОЛЕНЬКА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 32, 2 февраля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После стилистической правки и сокращений рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

ПЬЯНЫЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 39, 9 февраля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. При включении в том III собрания сочинений Чехов стилистически выправил рассказ и сделал ряд сокращений.

Так, переработана сцена кутежа, снят ряд реплик Фролова. В частности, вместо развернутой обличительной тирады Фролова о цыганах: «Хоть и не настоящие вы цыгане, поддельные, но... пейте! Прежних цыганок, бывало, и за миллион не купишь, а из этих любую за красненькую возьмешь, да еще сдачи получишь. Пой!» — в окончательной редакции появилась короткая фраза: «Пей, фараоново племя! Пойте! И-и-их!» (стр. 65 наст. изд.); от приведенного в газетной редакции четверостишия из песни цыган оставлена одна строка.

После слов: «Два электрических фонаря в матовых колпаках мелькали и сипели, точно сердились» (стр. 61 наст. изд.) — вычеркнуто: «что им приходится освещать только пьяных людей и ту дешевую, сухую безвкусицу, какую украшают себя наши увеселительные притоны». В этом сокращении сказалась одна из особенностей чеховской манеры — стремление избежать пояснений от автора в тех случаях, когда можно подвести читателя к тому же выводу описанием обстановки, действующих лиц и т. д.

В авторской речи заменены некоторые общие характеристики более точными. Например, вместо: «поил басов смесью вина, водки и масла...» — было: «поил басов бурдой...» (стр. 65 наст. изд.).

Конец рассказа, начиная от слов: «У подъезда своего дома» в первой редакции читался так: «У подъезда своего дома он говорил:

— Семь миллионов имею, а не в состоянии до бесчувствия напиться. Пью, пью — и ничего! Не избавлюсь от мыслей. Про... прощай!..»

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 8, 21 февраля. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ вошел в сборник «Памяти В. Г. Белинского», М. 1899. Кроме стилистических исправлений, Чехов переработал рассказ для сборника — сократил разговор с фармацевтом и дописал две фразы в конце. Конец рассказа в журнальной редакции: «— Нет, это значит — керосин плохой! — вздыхала Дашенька.— Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что две копейки фунт... Ну, погоди же!» С новыми незначительными изменениями включен автором в том II собрания сочинений.

Н. А. Лейкин считал «Неосторожность» «премиленной вещичкой» и, противопоставляя этот рассказ «Верочке», советовал Чехову писать «маленькие» рассказы (письмо от 27 февраля 1887 г.).

В 1898 г. редактор журнала «Русская мысль» В. А. Гольцев, предполагая издать сборник в пользу голодающих, обратился к Чехову (письмо от 20 марта) с просьбой дать рассказ; в связи с этим Чехов в письме от 28 марта просил сестру выслать ему за границу рассказ «Неосторожность». 4 мая 1898 г. В. А. Гольцев известил писателя, что «сборник не состоялся».

ВЕРОЧКА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 3944, 21 февраля. С незначительными изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в его последующих, 2—13, изданиях (1888—1899). После небольших исправлений включен автором в том III собрания сочинений.

28 февраля 1887 г. Ал. П. Чехов сообщал автору: «Твою Верочку очень хвалят» («Письма к А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 158).

Д. В. Григорович, ссылаясь на ряд рассказов Чехова, и в том числе «Верочку», писал ему, что его «горизонт отлично захватывает мотив любви во всех тончайших и сокровенных проявлениях» (письмо от 30 декабря 1887 — 11 января 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 208).

Корреспонденты писателя отмечали жизненность ситуации, в которой оказались герои рассказа. Так, например, поэт и переводчик И. А. Белоусов писал Чехову 1 сентября 1887 г.: «...рассказ «Верочка» я нахожу вполне законченным, сужу по тому, что со мной случилась такая же история, как и с моим тезкой Огневым: от таких историй нечего ждать конца — так и должно случиться...»

Н. А. Лейкин отнесся к рассказу отрицательно: «Последняя Ваша вещичка в «Осколках» («Неосторожность». — Е. С.) опять премиленькая, — писал он Чехову 27 февраля 1887 г., — а вот в «Новом времени» неудачна. Вам маленькие рассказы лучше удаются, это говорю не я один».

Наиболее интересный и содержательный отзыв о рассказе дан В. В. Билибиным в письме к Чехову от 6—7 марта 1887 г. Он высказывает точку зрения, прямо противоположную лейкинской. Похвалив рассказы Чехова «Неосторожность» и «Беззащитное существо», В. В. Билибин продолжает: «Но не в таких рассказах Ваша слава, Ваш будущий гонорар, Ваше все... Вам необходимо немедленно писать крупное... Разумеется, и рассказы в «Новом времени», несмотря на их относительную величину, представляют слишком узкую рамку для Вашей артистической физиономии. Отсюда часто происходит неясность, незаконченность и т. п. Возьмем «Верочку». Она, наверное, непопятна ни «критикам», ни обыкновенным читателям. Мне кажется, что Вы не хотели ограничиться живописанием столь обычного и нередко трактованного сюжета: «она» случайно полюбила «его», но «он» *случайно* не любит «ее», и что из этого произошло. Лейкин, напр., *так* понял... я понял рассказ иначе. Быть может, я ошибся. Мне кажется, что Вы хотели изобразить не частичный случай, выше описанный, но особый разряд современных людей, у которых, по обстоятельствам сложившейся жизни, сердце засохло, как цветок в латинском лексиконе. Они жаждут любить, но не могут. Это очень плачевно. Тут драма». Далее В. В. Билибин говорит, что для решения такой новой и современной темы требовались рамки не рассказа, а романа. Исходя из этого, он полагает, что Чехову уже пора выйти из неподобающей ему роли «подающего большие надежды».

Л. Н. Толстой относил «Верочку» к числу лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

НАКАНУНЕ ПОСТА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 52, 23 февраля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. При включении в том II собрания сочинений Чехов стилистически исправил и сократил рассказ.

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 9, 28 февраля. Подпись: А. Чехонте. После стилистической правки рассказ включен автором в том I собрания сочинений. Чеховым дописан конец, от слов: «...а Шукина потом часа два...» (стр. 97 наст. изд.), что усилило комическую окраску финала.

В 1891 г. на основе рассказа Чеховым был создан водевиль «Юбилей»; при этом изменены фамилии персонажей, введены новые действующие лица.

Л. Н. Толстой включил «Беззащитное существо» в число лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.).

НЕДОБРОЕ ДЕЛО

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 59, 2 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями рассказ вошел в сборник «В сумерках», Спб. 1887, и повторен в его последующих, 2—13, изданиях (1888—1899). Включен автором в том III собрания сочинений.

М. П. Чехов в своих воспоминаниях говорит, что рассказ навеян впечатлениями от пребывания Чехова в Бабкине; находящаяся недалеко от Бабкина одинокая Полевщинская церковь «с ее домиком для сторожа у почтовой дороги, кажется, дала брату мысль написать «Ведьму» и «Недоброе дело» (сборник «О Чехове», М. 1910, стр. 254). (См. также Ю. Соболев, Антон Чехов. Неизданные страницы, М. 1916, стр. 132.)

Высокую оценку рассказ получил у Д. В. Григоровича. «По целости аккорда,— писал он Чехову,— по выдержке общего сумрачного тона рассказ «Недоброе дело» — просто образцовый; с первых страниц не знаешь еще, что будет, а уже невольно

становится жутко и душою овладевает предчувствие чего-то недоброго» (письмо от 30 декабря 1887 — 11 января 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 208).

ДОМА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 3958, 7 марта, в отделе «Субботники». Рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в его последующих, 2—13, изданиях (1888—1899). Включен Чеховым в сборник «Детвора», Спб. 1889, и перепечатан в его последующих изданиях (1890 и 1895). Рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Чехов писал об этом рассказе брату Ал. П. Чехову 22 февраля 1887 г.: «Хоть ты и говоришь, что я исписался, но я все-таки завтра посылаю субботник. Субботник очень «вумный!» В нем много не ума, а «вума».

Рассказ был высоко оценен современниками писателя. В. В. Билибин писал Чехову: «Сегодня читал Ваш субботник. «Дети» всегда Вам очень удаются» (письмо от 6—7 марта 1887 г.). Д. В. Григорович в письме к Чехову назвал этот рассказ в числе других произведений Чехова, свидетельствующих о том, что «горизонт» их автора «отлично захватывает мотив любви во всех тончайших и сокровенных проявлениях» (письмо от 30 декабря 1887 — 11 января 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 208).

Писатель И. И. Горбунов-Посадов, руководитель издательства «Посредник», предполагая выпустить сборник чеховских рассказов, особо выделил «Дома». «Рассказ этот включен по моему указанию,— писал он Чехову 16 мая 1893 г.— потому что, по моему, по мысли это один из серьезнейших Ваших рассказов. Встреча этих двух миров — детского, чистого, человеческого — и нашего спутанного, искалеченного, лицемерного — изображены в маленькой простенькой вещице превосходно».

Л. Н. Толстой считал «Дома» одним из лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 66, 9 марта, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «Семьдесят пять тысяч». Подпись: А. Чехонте.

С новым заглавием, многочисленными стилистическими исправлениями и сокращениями и с добавлением двух последних фраз рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

В частности, после слов: «— Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы,— сказал он» (стр. 117 наст. изд.) были сняты пространные размышления Ивана Дмитриевича об удовольствиях заграничной жизни: «И он стал думать о том, что хорошо бы поехать в октябре или в ноябре за границу. В самом процессе езды много привлекательного: на больших станциях обедаешь, в вагоне лежишь, читаешь газету, или беседуешь с какой-нибудь барыней, спишь, смотришь в окно, за которым мелькают виды. В Вене прожить дня три, оттуда в Триест, в Венецию, в Неаполь. В Неаполе тепло, а небо имеет какой-то особенный специфический цвет. Декабрь и январь зимние месяцы, но в Италии ходят в легком платье и купаются в море. Это похоже на фокус. Из Италии рукой подать в хваленую Ниццу или Ментон, где дешевле и проще. Тут же недалеко Монако. Ради ощущения необходимо хоть раз в жизни поиграть в рулетку. Так как человеку свойственно увлекаться и он не может ручаться за свои нервы, то, идя в игорный дом, нужно брать с собой не более тысячи франков и играть в маленькую, Тысячу франков проиграть не жалко, да и к тому же риск — благородное дело. И чем черт не шутит? Бывает так, что, войдя в игорный дом с тысячей, люди выходят оттуда с миллионами. В Париже надо прожить не менее месяца, иначе уедешь несолоно хлебавши. Квартиры, стол и вино там дешевы, тратиться придется только на театры, покупки и на..»

Иван Дмитрич взглянул на жену и улыбнулся».

РАНО!

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 73, 16 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

ВСТРЕЧА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 3969, 18 марта.

Чехов первоначально хотел включить рассказ в собрание сочинений, о чем писал Ал. П. Чехову 21 февраля 1899 г.: «Из перечисленных тобою в последнем письме рассказов, напечатанных в 1887 г., надлежит переписать только «Встречу». Тщательно отредактировав рассказ, Чехов, однако, затем отказался ввести его в собрание сочинений. «Встреча» уже набрана,— писал он управляющему конторой издательства А. Ф. Маркса Ю. О. Грюнбергу 22 декабря 1899 г.,— но в наборе этот рассказ мне не понравился, и я отложил его до поры до времени; быть может, переделаю». А позднее, 9 июля 1901 г., писал А. Ф. Марксу: «Рассказ «Встреча», как я уже писал Вам раньше, не войдет в собрание моих сочинений; он мне не нравится».

Сохранилась рукописная копия рассказа (воспроизводящая газетный текст), правленная Чеховым для собрания сочинений (ЦГАЛИ).

При редактировании рассказа Чехов исправил стиль и произвел ряд сокращений.

Опущены некоторые описания природы. Например, после слов «...а то хоть шаром покати» (стр. 127 наст. изд.) — в газетной редакции было: «точно кто утрамбовал землю или наложил на нее заклятие, а глянешь вверх — голова кружится от страха за верхушки, тонущие в небе». Сняты фразы, содержащие выражения грубого просторечья в речи Кузьмы — «чтоб им пусто!», «Чем врать-то, водочкой угостил бы! Что жилишься, жила?» — и др. Сокращен разговор Ефрема с Кузьмой в пути, в частности после слов: «Твоих денег и на гвозди не хватит» (стр. 130 наст. изд.) — сняты следующие фразы, принадлежащие Кузьме: «Рассуждай теперича так, что на постройке самый ледящий подрядчик украдет тышу, а что побыстрее, тому и пяти мало! Нынче, брат, хорошо быть в подрядчиках. Первые люди! У нас вот, спроси кого хочешь, Семен Петров, мужик, хам хамом, подрядами себе в городе дом нажил. Не подходи близко! В купцах значится и всех детей на дворянскую точку».

Значительно сокращена сцена «покаяния» Кузьмы в конце рассказа. Так, после слов: «Иди своей дорогой! Опостылел!» (стр. 136) — в газетной редакции было: «Равнодушие обиженного загадочно и страшно. В нем, как бы оно ни было искренне, чувствуется какая-то большая хитрость, неведомая, но суровая сила. Ефрем был искренне равнодушен, но ни он сам, ни Кузьма, конечно, не понимали, что в его равнодушии кроются хитрость и

сила, что, ссылаясь на бога, он тем самым хитрил, боролся, наказывал...»

«Встреча» (как и «Казак») относится к тому периоду творчества Чехова, о котором он сам впоследствии сказал: «...толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода» (письмо А. С. Суворину от 27 марта 1894 г.).

А. С. Лазарев-Грузинский считал «Встречу» «прекрасным рассказом», но отмечал: «Чехову он не нравится, то есть частью и совершенно верно в чем: и мне и ему не нравится мораль, приделанная в конце. Этого не должно быть. Мораль не должна «выскакивать», а должна уж если идти, так идти незаметно». (Из письма к Н. М. Ежову от 3 апреля 1888 г., ЦГАЛИ, опубликовано в «Вопросах литературы», 1960, № 1, стр. 99.)

ТИФ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 80, 23 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С немногими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в его последующих, 2—13, изданиях (1889—1899). Включен автором в том IV собрания сочинений.

Сюжет рассказа был для того времени злободневным. В 1885—1887 гг. в Москве и в Петербурге свирепствовал тиф. Неоднократно в письмах Чехова и его корреспондентов говорится об эпидемии. «Я этого тифа особенно боюсь. Мне кажется, что, раз заболев этой дрянью, я не уцелею, а предлоги для заражения на каждом шагу»,— писал Чехов В. В. Билибину 28 февраля 1886 г.

В начале марта 1887 г. Чехов выехал в Петербург, обеспокоенный телеграммой брата, Ал. П. Чехова, о его опасной болезни: «Ехал я, понятно, в самом напряженном состоянии. Снились мне гробы и факельщики, мерещились тифы, доктора и проч. ...» (письмо к М. П. Чехову от 10 марта 1887 г.). По возвращении из Петербурга Чехов делится с детской писательницей М. В. Киселевой, своей знакомой по Бабкину, петербургскими воспоминаниями: «Петербург произвел на меня впечатление города смерти,— писал он 17 марта 1887 г.— Въехал я в него с на-

пуганным воображением, встретил на пути два гроба, а у братца застал тиф. От тифа поехал к Лейкину и узнал, что «только что» лейкинский швейцар на ходу умер от брюшного тифа»,— и, продолжая невеселый перечень, Чехов заканчивает его словами: «Каковы впечатления? Право, запить можно. Впрочем, говорят, для балетристов все полезно».

Вскоре после этого письма Чехов сообщает Н. А. Лейкину, что посылает в «Петербургскую газету» рассказ «Тиф».

Чехов считал, что описание состояния больного в этом рассказе ему удалось. Много лет спустя, страдая от сильной зубной боли, он вспомнил о рассказе «Тиф» в письме к брату, Ал. П. Чехову: «Боль была неистовая, и благодаря лихорадке пришлось пережить состояние, которое я так художественно изобразил в «Тифе»... Чувство полноты и кошмар» (письмо от 23 февраля 1898 г.).

ЖИТЕЙСКИЕ НЕВЗГОДЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 13, 28 марта. Подпись: А. Чехонте. С незначительными исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М., 1887. В переработанном виде включен автором в том I собрания сочинений.

При редактировании рассказа для собрания сочинений Чехов изменил некоторые детали, переработал конец рассказа. Приводим конец журнальной редакции: «Боль ее, по-видимому, только что еще начинала разыгрываться... Попов быстро оглядел стол, как бы ища револьвера, торопливо пошарил в ящиках, на комодѣ и, ничего не найдя, перекрестился, разбежался и изо всей силы трахнулся лбом о стену... Через минуту он был мертв».

Стр. 149. *Дерулед* Поль (1846—1914) — французский реакционный политический деятель.

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 87, 30 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ включен автором в том II собрания сочинений. При подготовке собрания сочинений Чехов стилистически исправил и сократил рассказ, дописал некоторые эпизоды. Так, текст, сле-

дующий за словами: «Теперь очередь Митьки...», кончая словами: «Нас разнимают» (стр. 153 наст. изд.) — отсутствовал в журнальной редакции. Разговор героя с дьяконом (стр. 154 наст. изд.) также введен Чеховым при подготовке собрания сочинений. Ранее вместо него было: «Скоро начинается вечерня, а вслед за ней утренняя. Мой отец, большой любитель церковного пения, в шведской куртке и в больших сапогах, говеющие приказчики из табачной фабрики, несколько мальчиков и я стоим на клиросе и поем. Дьячок Аверкий, с дрожащей от старости головой, машет рукой и сердито ворчит на тесноту». Возможно, что Чехов снял этот отрывок, содержащий некоторые детали, характерные для детства самого писателя, так как не хотел, чтобы рассказ воспринимался как автобиографический.

Стр. 154. *Ирод* (I в. до н. э.) — царь Иудеи, прославившийся своей жестокостью.

Диоскор (V в.) — патриарх александрийский, осужденный церковным собором за покровительство «ереси».

Серафим (1760—1833) — монах Саровской пустыни. В XIX в. был распространен ряд брошюр и лубочных картинок о его благочестивой жизни.

ТАЙНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 15, 11 апреля. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов внес в него стилистические исправления и сокращения. Исключены два эпизода: наблюдаемая Навагиным похоронная процессия, когда Навагин узнает, что покойник — Федюков, и сообщение дьячка, что умерший был его родным братом. Сняты также попятные и интересные лишь читателю 80-х гг. намеки на редактора «еженедельного загадочного» журнала «Ребус» — В. Прибыткова.

Стр. 158. *Аскоченский* В. И. (1813—1879) — реакционный публицист.

Стр. 159. *Бишопизм* — от фамилии Бишопа, «чтеца чужих мыслей», гастролировавшего в Москве в 1884 г.; Чехов упоминает о нем в «Осколках московской жизни» (журнал «Осколки», 1884, № 49, 8 декабря).

КАЗАК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 99, 13 апреля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Первоначально Чехов думал включить рассказ в собрание сочинений. Однако 21 октября 1899 г. в письме к Ю. О. Грюнбергу в числе произведений, которые «не войдут в собрание сочинений», Чехов называет рассказ «Казак». В письме к издателю А. Ф. Марксу от 18 июня 1901 г. он еще раз подтверждает, что «Казак» исключен окончательно. Ряд редакторских поправок был все же внесен Чеховым в рассказ. Помимо значительной стилистической правки, писатель изменил конец произведения. В газетной редакции конец был следующий: «Бог прогневался на него за большого казака. Лизавета же видела напасти, но кто виноват, она не понимала». (См. также прим. к рассказу «Встреча».)

В Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (т. 6, М. 1946), по которому печатается рассказ, был воспроизведен текст гранок, правленных Чеховым и хранившихся, как указано в комментарии к тому 6 (стр. 545), в ЦГАЛИ. При подготовке настоящего издания эти гранки не обнаружены.

письмо

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 3998, 18 апреля, в отделе «Субботники», под заглавием «Миряне». С измененным заглавием и значительными сокращениями текста рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899). С новыми исправлениями и сокращениями включен автором в том IV собрания сочинений.

Произведенные сокращения касались в первую очередь характеристик благочинного и Петра.

После слов: «...и на висках выступила краска» (стр. 171 наст. изд.) — в газетной редакции было: «С самого малолетства о. Федор строго исполнял посты, считая это долгом всякого нормального человека; чтобы решиться в пост съесть кусок мяса, по его мнению, нужно иметь особую дерзость души. Беспорядочность, как бы она прилично ни выражалась, всегда, даже когда он был еще молод и не так серьезен, внушала ему отвращение и гадливое чувство, а бравада этой беспорядочностью казалась ему верхом наглости и бесстыдства. Он признавал только один законный, церковный брак, все же остальное считал мерзостью и

грехом, оскверняющим тело и душу. Для него достаточно было намек, что кто-либо теперь или был когда-нибудь не безгрешен против VII заповеди, чтобы он терял к такому человеку всякое уважение и сторонился его. Потому-то, услышав про сына дьякона, он вспыхнул и почувствовал прилив гнева».

Опущен ряд фраз в характеристике Петра. Готовя собрание сочинений, после слов: «...поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы» (стр. 172 наст. изд.) — Чехов снял: «В память о Федора сильно врезалась одна фраза, которую студент любил говорить ему: «Вы на все смотрите с точки зрения вашей специальности, а это узко! Вы взгляните хоть раз в жизни объективно, по-человечески». Ранее, при подготовке сборника, было опущено продолжение этого места: «Хорошо также помнил о Федор, что Петр во все время своего студенчества до 27-ми лет жил на счет своего отца, которого не уважал».

Снят также и конец газетной редакции — подробно описанная сцена пасхальной заутрени, когда благочинный под влиянием церковной службы смягчился. Приводим последние абзацы этого сокращения:

«— ...и друг друга обьемем! — пели левчие, — рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением.

Поцеловавшись с двумя священниками-сослуживцами, благочинный подошел к Анастасию и с ним поцеловался. Теперь ему было не только жаль, но уже и досадно за то свое нехорошее чувство, какое он испытывал у себя дома, тяготясь присутствием гостя. Мысленно простил он старику и его испитое лицо, и сильный смех, и слухи, какие носились о нем. За человеческим горем ему уже не видно было грехов.

Затем, давая дьякону целовать себя, благочинный вспомнил про Петра и про письмо. Он, как и дьякон, когда письмо было уже написано, не чувствовал гнева и неприязни, а теперь, когда пришла пора прощать, он уже не помнил о грехах Петра, а помнил только о резкости своего письма.

— Повремени, дьякон, посылажь письмо, — сказал он»

В результате всех этих сокращений значение образа о Анастасия не только усилилось, но и оказалось, что о Анастасий — непутевый, запутавшийся в грехах и проступках, но добрый и сердечный — человечнее порядочного, добродетельного, но сухого о Федора, и в этом плане о Анастасий противопоставляется автором благочинному.

Кроме того, после сокращения сцены пасхальной заутрени,

эпизод, повествующий о приписке дьякона к строгому письму благочинного, оказался в конце рассказа. Этот типично чеховский финал осветил все содержание рассказа светлым юмором.

Высоко оценил рассказ П. И. Чайковский. Профессор Московской консерватории и музыкальный критик Н. Д. Кашкин, читавший «Мирян» вместе с П. И. Чайковским, вспоминает: «Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза сряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не знал и никогда до того времени не встречал» (Н. Д. Кашкин, Воспоминания о П. И. Чайковском, М. 1896, стр. 139).

Это первое письмо П. И. Чайковского к Чехову (отправленное по адресу редакции «Нового времени») не дошло до адресата.

20 апреля 1887 г. П. И. Чайковский писал брату, М. И. Чайковскому, о рассказе «Миряне»: «Меня совершенно очаровал рассказ Чехова в «Новом времени». Не правда ли, большой талант?» (См. Н. И. Гитович, Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, М. 1955, стр. 157.)

УДАВ И КРОЛИК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 106, 20 апреля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. «Удав и кролик» — переработанный рассказ «К сведению мужей», не пропущенный цензурой в январе 1886 г.

Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

КРИТИК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 113, 27 апреля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

Стр. 184. *Дидерот* (Дидро) Дени (1713—1784) — французский философ-материалист, основатель и редактор «Энциклопедии».

Стр. 185. *Фортинбрас* — персонаж из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 185—189. *Сазнов, Далматов, Варламов, Писарев*. — известные актеры Москвы, Петербурга и провинции. Среди названных в рассказе — П. М. Свободин, с 1889 г. сблизившийся с Чеховым и его семьей; В. Н. Давыдов — первый исполнитель роли Иванова в театре Корша в 1887 г.; А. П. Ленский — близкий знакомый Чехова.

Стр. 188. *Бишопизм* — см. прим. к стр. 159.

Стр. 189. «*Смерть Уголино*» — «Уголино» — «драматическое представление» Н. А. Полевого (1796—1846).

«*Велизарий*» — драма Э. Шенка, переведенная П. Г. Ободовским.

«*Ограбленная почта*» — французская пьеса, переведенная Ф. А. Бурдиным.

ПРОИСШЕСТВИЕ *Рассказ ямщика*

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 120, 4 мая, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «В лесу», с подзаголовком: *Рассказ ямщика*. Подпись: А. Чехонте. С другим заглавием и многочисленными стилистическими исправлениями рассказ вошел в «Пушкинский сборник», Спб. 1899. С новыми незначительными изменениями включен автором в том II собрания сочинений.

В связи с приглашением участвовать в «Пушкинском сборнике» Чехов писал П. П. Гнедичу 16 февраля 1899 г.: «Когда-то, в доисторические времена, я поместил в «Петербургской газете» остов, или конспект, рассказа. Я мог бы теперь воспользоваться этим остовом, украсить его узорами до неузнаваемости и прислать для сборника». В ответ на это письмо Гнедич телеграфировал Чехову 21 февраля: «Отлично, присылайте...»

СЛЕДОВАТЕЛЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 127, 11 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С многочисленными стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Писатель, в частности, снял ряд фраз в речи следователя, содержащих грубые слова и вульгаризмы. После слов: «Нянька и кухарка, конечно, в слезы» (стр. 199 наст. изд.) — снято: «потому что на земном шаре нет бабы, которая не была бы рада

случаю расхныкаться». Снята также фраза: «Гостья сначала глаза таращит и удивляется, а потом в слезы».

При переработке Чехов добивался более точного отражения психологических переживаний героя. Так, конец рассказа в газетной редакции был следующий: «Следователь говорил сначала фразами, потом же стал бормотать отдельные слова, не имевшие никакой внешней связи. Новая мысль, сообщенная ему в беседе с доктором, опьянила его. Он растерялся, душевно раскис и скоро простился с доктором, отказавшись от обеда, к которому еще накануне был приглашен своим спутником».

ОБЫВАТЕЛИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 134, 18 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст этой копии соответствует газетному.

Стр. 206. *Биконсфильд* Бенджамин Дизраэли (1804—1881) — лорд, английский реакционный политический деятель, в 1868 и 1874—1880 гг. — премьер-министр Англии.

ВОЛОДЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 147, 1 июня, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «Его первая любовь». Подпись: А. Чехонте. С новым названием и в новой редакции рассказ опубликован в сборнике «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в его последующих, 2—10, изданиях (1890—1899). Вошел в сборник «Проблески» (М. 1895). Включен автором в том V собрания сочинений.

Помимо многочисленных стилистических изменений, Чехов, перерабатывая рассказ для сборника «Хмурые люди», дописал две сцены: ночное свидание Володи с Нютой и самоубийство героя.

После слов: «...мало ли должностей?» (стр. 216 наст. изд.) — в газетной редакции было: «Счастливый Володя не спал всю ночь... Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим и не пожелал проснуться... Когда в одиннадцать часов татап увидела его и ужаснулась, он сказал, краснея:

— Я проспал, татап...»

Вместо этого небольшого отрывка в сборнике появилась подробная сцена, рассказывающая о падении Володи.

Кроме того, в первой редакции рассказ кончался словами матери Володи: «Что ты, друг мой! Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему все слышно!» (стр. 220 наст. изд.). (Первая редакция рассказа приводится в комментарии к Полному собранию сочинений и писем А. П. Чехова, т. 6, М. 1946, стр. 502—509.)

В результате переработки произведение, посвященное одному эпизоду из жизни героя, превратилось в трагическую историю всей его короткой жизни.

Сюжет рассказа (в его первой редакции), как об этом свидетельствует М. П. Чехов, дал Чехову отец М. Б. Киселевой — В. П. Бегичев, в Бабкине. (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 32.) Есть все основания предполагать, что мысль об изменении сюжета зародилась у Чехова под влиянием злободневного в то время вопроса о причинах, вызывавших самоубийства среди молодежи. Этот вопрос получил отражение и в переписке Чехова. Так, глубокий отклик вызвало у него письмо Д. В. Григоровича, предлагавшего ему написать рассказ на эту тему. «Будь я помоложе и сильнее дарованием,— писал Д. В. Григорович,— я бы непременно описал семью и в ней 17-летнего юношу, который забирается на чердак и там застреливается. Вся его обстановка, все доводы, которые могли довести его до самоубийства, на мои глаза гораздо важнее и глубже причин, заставляющих Вертера наложить на себя руки. Такой сюжет заключает в себе вопрос дня: возьмите его, не упускайте случая коснуться наболевшей общественной раны; успех громадный ждет Вас с первого же дня появления такой книги». (Письмо от 30 декабря 1887 — 11 января 1888 г.— «Слово», сб, второй, М. 1914, стр. 209.)

Чехов ответил Д. В. Григоровичу по этому поводу: «Самоубийство 17-летнего мальчика — тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться! На измучивший всех вопрос нужен и мучительно-сильный ответ, а хватит ли у нашего брата внутреннего содержания? Нет. Обещая успех этой теме, Вы судите по себе, но ведь у людей Вашего поколения, кроме таланта, есть эрудиция, школа, фосфор и железо, а у современных талантов нет ничего подобного, и, откровенно говоря, надо радоваться, что они не трогают серьезных вопросов. Дайте Вы им Вашего мальчика, и я уверен, что Х, сам того не сознавая, от чи-

стого сердца наклеветет, налжет и скошунствует, Y подпустит мелкую, бледную тенденцию, а Z объявит самоубийство психозом. Ваш мальчик — натура чистенькая, милая, ищущая бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать» (письмо от 12 января 1888 г.).

Небезынтересно в этой связи письмо таганрогского врача И. В. Еремеева. «У нас периодически повторяются самоубийства гимназистов,— писал Чехову Еремеев в апреле 1887 г.— Вчера опять застрелился молодой человек 17 лет (7 класса) Нилус, симпатичный, хорошо воспитанный, здоровый, словом, человек, которому бы только жить да жить. Причина, побудившая на этот страшный шаг,—оскорбленное самолюбие. Говорят, Урбан накричал на него при товарищах и оскорбил его. Молодая, вспыльчивая, впечатлительная натура не выдержала — и печальный конец».

Перерабатывая рассказ, Чехов изменил возраст героя: в первой редакции — восемнадцатилетний, во второй — семнадцатилетний (как и в письмах Григоровича и Еремеева).

Стр. 222. «*Figaro*» — французская буржуазная газета, выходит в Париже с 1854 г. до наших дней.

СЧАСТЬЕ

Посвящается Я. П. Полонскому

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4046, 6 июня, в отделе «Субботники». С посвящением Я. П. Полонскому рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и повторен в его последующих, 2—13, изданиях (1889—1899). С незначительными изменениями включен автором в том IV собрания сочинений.

Ал. П. Чехов писал автору рассказа 14 июня 1887 г.: «Ну, друже, наделал ты шуму своим последним «степным» субботником. Вещица — прелесть. О ней только и говорят. Похвалы — самые ожесточенные. Доктора возят больным истрепанный №, как успокаивающее средство. Буренин вторую неделю сочиняет тебе панегирик и никак не может закончить. Находит все, что высказался недостаточно ясно. В ресторанах на Невском у Дононов и Дюссо, где газеты сменяются ежедневно, старый № с твоим

рассказом треплется до сих пор. Я его видел сегодня утром. Хвалят тебя за то, что в рассказе нет темы, а тем не менее он производит сильное впечатление. Солнечные лучи, которые у тебя скользят при восходе солнца по земле и по листьям травы, вызывают потоки восторгов, а спящие овцы нанесены на бумагу так чудодейственно-картинно и живо, что я уверен, что ты сам был бараном, когда испытывал и описывал все эти овечьи чувства. Поздравляю тебя с успехом. Еще одна такая вещичка и «умри, Денис, лучше не напишешь...» («Письма к А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 165—166). «Степной субботник мне самому симпатичен своей темой,— отвечал Чехов 21 июня 1887 г.,— которой вы, болваны, не находите. Продукт вдохновения. Quasi-симфония.

В сущности белиберда. Нравится читателю в силу оптического обмана. Весь фокус в вставочных орнаментах вроде овец и в отделке отдельных строк. Можно писать о кофейной гуще и удивить читателя путем фокусов».

Рассказ был высоко оценен художником И. И. Левитаном. «...я внимательно прочел еще раз твои «Пестрые рассказы» и «В сумерках»,— писал он Чехову в июне 1891 г.,— и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзаж в них это верх совершенства. Например: в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны» (И. И. Л е в и т а н, Письма, документы, воспоминания, М. 1956, стр. 37).

В ответ на желание Я. П. Полонского посвятить Чехову стихотворение «У двери» (письмо от 8 января 1888 г.) Чехов писал ему: «На Ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и просьбой — позволить мне посвятить Вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенной любовью» (письмо от 18 января 1888 г.).

Выбор Чехова пал на рассказ «Счастье», которым открывался вышедший в 1888 г. его сборник «Рассказы». «Я издаю новый сборник своих рассказов. В этом сборнике будет помещен рассказ «Счастье», который я считаю самым лучшим из всех своих рассказов. Будьте добры, позвольте мне посвятить его Вам. Этим вы премного обяжете мою музу. В рассказе изображается степь: равнина, ночь, бледная заря на востоке, стадо овец и три человеческие фигуры, рассуждающие о счастье»,— писал Чехов Я. П. Полонскому (письмо от 25 марта 1888 г.). «Сердечно бла-

годарен Вам за посвящение...» — ответил ему Я. П. Полонский 27 марта 1888 г. («Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 234).

По свидетельству М. П. Чехова, «Счастье» написано под впечатлением рассказов няни Чеховых, в молодости — крепостной, которая любила говорить о «таинственном, необыкновенном, страшном, поэтическом» (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 14).

Стр. 225. *Скопчина*, или *скопщина* — форма земельной аренды.

НЕНАСТЬЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 154, 8 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После многочисленных стилистических исправлений и сокращений рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

Конец рассказа в газетной редакции был иным. После слов: «Хоть и купчихи они, хоть Азия» — читалось: «...а все-таки того. Эх, надо было бы оглядеть карманы в пальто: нет ли там каких записочек или театральных контрамарок. Того и гляди бабы рыться начнут...»

ДРАМА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 24, 13 июня. Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. С небольшими сокращениями вошел во 2-е издание сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1891, и перепечатан в его следующих, 3—14, изданиях (1892—1899). Рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

«Драма» очень нравилась Л. Н. Толстому и включена им в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

«Рассказ «Драма» до того восхищал Льва Николаевича,— вспоминает писатель С. Т. Семенов,— что он его рассказывал бесчисленное количество раз и всегда смеялся от всей души» (сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 369).

Стр. 241. «Дело» — журнал, выходивший в Петербурге в 1866—1888 гг.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 161, 15 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С незначительными сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

В 1889 г. Чехов на основе этого рассказа написал одноактный водевиль «Трагик поневоле» и по этой причине исключил рассказ из собрания сочинений: «Рассказ «Один из многих» не вошел в марксовский сборник,— писал Чехов О. Л. Книппер 25 ноября 1901 г.,— потому что он переделан в водевиль «Трагик поневоле».

Стр. 249. *...что скажет княгиня Марья Алексевна?! — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).*

Стр. 250. *«Скандал в благородном семействе» — водевиль Н. И. Куликова.*

«Мотя» — «переводной водевиль» К. А. Тарновского.

Стр. 251. *«Не говори, что молодость сгубила» — романс на слова Н. А. Некрасова (из стихотворения «Тяжелый крест достался ей на долю», 1855). Эти слова неоднократно были положены на музыку, в частности А. С. Фаминицыным (1841—1896).*

«Я вновь пред тобою стою очарован» — песенная переделка стихотворения В. Красова «Стансы».

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 168, 22 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. После стилистических исправлений и сокращений включен автором в том I собрания сочинений.

Как вспоминает М. П. Чехов, в рассказе отразились впечатления Чехова от пребывания его в Бабкине (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 33).

НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 175, 29 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Сохранилась писарская копия с автографом Чехова: «В полное со-

брани не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ). Текст копии соответствует газетному.

В конце рассказа, от слов: «Пойдем же, а то я спать хочу» (стр. 265 наст. изд.), имеет место некоторое нарушение логической последовательности событий. Кроме того, существует разницей в имени и отчестве героя: Дмитрий Григорич (стр. 260) и Степан Андреич (стр. 265). Вследствие отсутствия автографа произведения установить причину этих несообразностей не представляется возможным.

Стр. 260. «Привет тебе, приют священный...» — ария Фауста из оперы французского композитора Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст».

Стр. 264. Буланже Жорж (1837—1891) — французский генерал, политический авантюрист; с 1866 по май 1887 г.— военный министр.

Гриви Жюль (1807—1891) — в 1879—1887 гг. президент Французской республики. Был вынужден уйти в отставку, так как был скомпрометирован аферами своего зятя, торговавшего орденами.

Дерулед — см. прим. к стр. 149.

БЕЗЗАКОНИЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 27, 4 июля. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. С небольшими изменениями напечатан во 2-м издании сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1891, и перепечатан в его последующих, 3—14, изданиях (1892—1899). С незначительными стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

ИЗ ЗАПИСОК ВСПЫЛЬЧИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1887, № 26, 5 июля, и № 27, 12 июля, с подзаголовком: *Не факт, а истинное происшествие*. Подпись: А. Ч.; № 31, 9 августа. Подпись: *Вспыльчивый человек*. В новой редакции включено автором в том I собрания сочинений.

Рассказ, кончавшийся в № 27 женитьбой героя, по просьбе

редактора «Будильника» В. Левинского был продолжен для № 31, посвященного злобе дня — солнечному затмению, причем «вспыльчивый человек» в этом продолжении наблюдал затмение уже будучи мужем разноцветной девицы. Подготавливая рассказ для собрания сочинений, писатель изменил композицию — снова перенес сцену женитьбы в конец «Записок», переработал и сократил текст.

Чехов снял начало рассказа: «Надо вам сказать, что на даче я занимаюсь исключительно только любовью. Думайте, что хотите, но я наконец вышел из терпения и должен предать все гласности».

Снята также сцена в спальне перед затмением: разговор героя с женой и приготовления к затмению, произведены сокращения и в описании самого затмения.

Конец журнальной редакции: после слов: «Я видела, как перед затмением серая собака погналась за кошкой и потом долго виляла хвостом» (стр. 280 наст. изд.) — было: «— Запишите также, что во время самого затмения я видела лягушку..»

Придя домой, я хватаю себя за голову и говорю: все пропало! Спустя час я ложусь на диван и начинаю себя успокаивать. Истинный ученый не должен унывать. На борьбе с обстоятельствами зиждется прогресс. Без борьбы нельзя. Принимаюсь обдумывать «Прошедшее и будущее собачьего налога», а чертежи и стекла прячу в стол. Буду ждать следующего полного затмения, которое произойдет в начале будущего столетия в Южной Америке. Итак: буду ждать. К тому же я еще ни разу не был в Южной Америке. Приятно будет проехаться. Конечно, это возможно только в том случае, если вспыльчивый характер не сведет меня преждевременно в могилу».

Печатаемая продолжение рассказа в № 31, редакция сделала следующее примечание к заглавию «Из записок вспыльчивого человека» — «того самого, читатель, который в № 27 «Будильника» списал свои дачные зюкключения и своих дачных знакомых: рзненого офицера, разноцветных девиц и т. д. На одной из этих девиц он нечаянно и женился — на которой, на Машеньке или на Вареньке,— он не помнит, но это все равно». О нетактичности этого примечания и о беззастенчивом злоупотреблении именем Чехова (имелся в виду развязный тон по отношению к Чехову в заметке «Нечто передовое» в том же № «Будильника») писал Чехову Н. А. Лейкин (письмо от 27 сентября 1887 г.): «Что будильниковцы поступили со мной не тактично (затмение),— отве-

чал Чехов Н. А. Лейкину 7 октября 1887 г.,— я знаю. Эти господа, в силу ли своей бездарности, или московской распушенности, считают верхом остроумия фамильярничание с публикой и с сотрудниками. Манера некрасивая. Нет того номера, в котором не была бы затронута публика, сотрудник или актер... В цирке клоуны—любимцы публики, глупые и избалованные,—любят держаться этой манеры...»

Стр. 272. *Геродот* (ок. 484—425 до н. э.), *Ксенофонт* (ок. 430—355/354 до н. э.) — древнегреческие историки.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
Путевой набросок

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4084, 14 июля. Рассказ вошел с сокращениями в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и повторен в его последующих, 2—13, изданиях (1889—1899). С незначительными стилистическими исправлениями включен автором в том IV собрания сочинений.

Рассказ написан вскоре после возвращения Чехова из поездки в апреле—мае 1887 г. на юг и посещения Святых Гор. В письме к М. П. Чеховой от 11 мая 1887 г. Чехов делится своими впечатлениями от посещения Святогорского монастыря, нашедшими отражение в «Перекаати-поле»: «Место необыкновенно красивое и оригинальное: монастырь на берегу реки Донца, у подножия громадной белой скалы, на которой, теснясь и нависая друг над другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны. Кажется, что деревьям тесно на скале и что какая-то сила выпирает их вверх и вверх... Сосны буквально висят в воздухе и, того гляди, свалятся. Кукушки и соловьи не умолкают ни днем, ни ночью...»

Монахи, весьма симпатичные люди, дали мне весьма несимпатичный номер с блинообразным матрасиком. Ночевал я в монастыре 2 ночи и вынес тьму впечатлений. При мне, ввиду Николаина дня, стеклось около 15 000 богомольцев, из коих 8/9 старухи... О монахах, моем знакомстве с ними, о том, как я лечил монахов и старух, я сообщу в «Новом времени» и при свидании. Служба нескончаемая: в 12 часов ночи звонят к утрени, в 5—к ранней обедне, в 9—к поздней, в 3—к акафисту, в 5—к вечерне, в 6—к правилам. Перед каждой службой в коридорах слышится плач колокольчика, и бегущий монах кричит голосом

кредитора, умоляющего своего должника заплатить ему хотя бы по пятаку за рубль.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Пожалуйте к утрени!

Оставаться в номере неловко, а потому встаешь и идешь... Я облюбовал себе местечко на берегу Донца и просиживал там все службы».

В письме к Н. А. Лейкину от 14 мая 1887 г. Чехов говорил о том творческом удовлетворении, которое доставила ему южная поездка. «Недавно я вернулся из Святых Гор, где при мне было около 15 000 богомольцев. Вообще впечатлений и материала масса, и я не раскаиваюсь, что потратил 1½ месяца на поездку».

17 октября 1887 г. Чехов писал своему двоюродному брату, Г. М. Чехову: «В «Новом времени» я описал Святые Горы. Один молодой человек, архиерейский племянник, рассказывал мне, что он видел, как три архиерея читали это описание: один читал, а двое слушали. Понравилось. Значит, и в Святых Горах понравилось. Заработал я благодаря Святым Горам сто рублей. Описывал степь. Описание степи понравилось очень многим, особенно в Питере».

Прототипом образа Александра Ивановича явилось реальное лицо — А. И. Сурат. (См. Г. Зарницын, Один из персонажей А. П. Чехова (Беседа с прототипом «Перекасти-поле» Алексеем Николаевичем Сур — овым) — газета «Утро Юга», 1914, № 151, 2 июля, и Корней Чуковский, Ляпсусы — газета «Литература и жизнь», 1960, № 8 (278), 17 января.)

Стр. 290. *Кюнер Р.* — автор учебника латинского языка.

Корнелий Непот (ок. 100—27 до н. э.) — римский историк и писатель; его исторические очерки входили в круг обязательного чтения при изучении латинского языка.

Курциус Г. — автор учебника греческой грамматики.

ОТЕЦ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 196, 20 июля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С стилистическими исправлениями и небольшими сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Повести и рассказы» (М. 1894 и 1898). С незначительными стилистическими поправками включен автором в том V собрания сочинений.

К. С. Баранцевич просил Чехова дать этот рассказ для сборника памяти В. М. Гаршина «Красный цветок» и писал ему 3 апреля 1888 г.: «Ах, есть у Вас рассказ, о котором мне говорили, что это прелесть, что такое, в «Петербургской газете» (отец, ломающийся перед сыном в подвале или в какой-то подобной обстановке перед жильцами), вот бы вырезали и прислали». Рассказ «Отец» не был послан для гаршинского сборника: «Того рассказа, который Вам хотелось иметь от меня, я не нашел...» — ответил Чехов (письмо от 14 апреля 1888 г.).

ХОРОШИЙ КОНЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 30, 25 июля. Подпись: А. Чехонте.

После стилистической правки и сокращений рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Текст, от слов «Помолчали минут пять» и кончая словами «Нет, благодарю вас» (стр. 309 наст. изд.) отсутствовал в журнальной редакции. Кроме того, подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов снял ряд реплик кондуктора и свахи. Так, после слов: «сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты?» (там же) было:

«— У меня такция нет на такое дело,— застыдилась сваха.— Это что дадите.

— Видите ли, Любовь Григорьевна...— сказал солидно Стычкин.— Я человек положительный и с характером, и люблю во всем порядок. Чтобы я вас не обидел и чтобы вы поступали по совести, надо договориться заранее. Всякое дело зависит от междоусобного согласия...»

В САРАЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 210, 3 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. При включении в том III собрания сочинений автором проведена значительная стилистическая правка и сделаны сокращения.

Снят ряд реплик кучера, селедочника и дворника; в авторской речи заметно стремление к большей простоте и краткости. Так, вместо фразы: «В короли вышел дворник» (стр. 312 наст. изд.) — ранее было: «Роковая девятая взятка, дающая титул короля, впервые досталась дворнику»; вместо: «серdito и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился» (там

же) — было: «Завистливо покосился на дворника и сердито надул щеки. Теперь уж ему во что бы то ни стало хотелось быть принцем, и он задумался над картами».

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

Рассказ очевидцев

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 32, 8 августа. Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

Рассказ написан по случаю ожидавшегося 7 августа солнечного затмения. «Затмение не удалось,— писал Чехов Н. А. Лейкину 11 августа 1887 г.— Было облачно и туманно... Потемки, очень внушительные, продолжались с минуту. Утро прошло весело и кончилось простудой». 12 августа Чехов сообщал своему приятелю, архитектору Ф. О. Шехтелю: «У нас было затмение. В № 32 «Осколков» я заплатил дань этому величественному явлению».

ЗИНОЧКА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 217, 10 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887. С небольшими стилистическими исправлениями и изменениями помещен во 2-м издании сборника Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1891, и перепечатан в его последующих, 3—14, изданиях (1892—1899). С незначительными изменениями включен автором в том III собрания сочинений.

ДОКТОР

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 224, 17 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка рассказа из «Петербургской газеты» с автографом Чехова: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

СИРЕНА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 231, 24 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После стилистических исправлений и значительных сокращений

рассказ включен автором в том I собрания сочинений. Сокращена в рассказе главным образом речь секретаря с описанием кушаний.

А. С. Лазарев-Грузинский вспоминает, что этот рассказ был написан Чеховым в Бабкине в течение одного дня, после чего Чехов обратился к нему с просьбой: «Прочитайте «Сирену», А. С.! Не пропустил ли я где-нибудь слова или запятой? Нет ли бессмыслиц? Кстати, это рекорд: рассказ написан без единой пометки» (сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 173).

По свидетельству М. П. Чехова, в рассказе отразились звенигородские впечатления писателя. Чехов в Звенигороде «посещал заседания уездных съездов и прекрасно познакомился со всем укладом уездной чиновничьей жизни» (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 30).

СВИРЕЛЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4130, 29 августа, в отделе «Субботники». С незначительными изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан с исправлениями в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899). С заменой нескольких слов включен автором в том IV собрания сочинений.

МСТИТЕЛЬ

Впервые напечатан в журнале «Осколки», 1887, № 37, 12 сентября. Подпись: А. Чехонте. С небольшими стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

ПОЧТА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 252, 14 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С сокращениями и незначительными стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в его последующих, 2—10, изданиях (1890—1899). С небольшими изменениями включен автором в том V собрания сочинений.

При включении в сборник «Хмурые люди» Чехов сократил, в частности, описание реки, в котором явно подчеркивалась писателем враждебность природы человеку. После слов: «Послышался

плеск воды, и под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в воде» (стр. 358 наст. изд.), — в газетной редакции было: «Река глядела сурово и уныло; она точно замышляла в потемках вместе со звездами, которые отражались в ней, чью-то погибель, и теперь в ее ворчании под колесами слышалось беспокойство и гнев на нарушителей ее покоя... И лошади, и ямщик, и колокольчики легко вздохнули, когда тройка выехала на другой берег и покатила по гладкой дороге».

Рассказ чрезвычайно понравился писателю-народнику А. И. Эртелю. «Нонешним летом,— писал он В. Г. Короленко 26 января 1891 г.,— я имел случай познакомиться с книжкой его последних рассказов, и, что Вам скажу, большой это талант. Мало того, в нем есть и серьезное содержание, хотя оно и не всегда уловляется казенною меркою «направления». Так во многих рассказах последнего томика с такой силой указана трагическая власть «мелочей» — в «Почтальоне», в докторе, давшем пощечину фельдшеру,— что, право, стоит всякого направления». А. И. Эртель имеет в виду рассказы Чехова «Почта» и «Неприятность», помещенные в сборнике «Хмурые люди».

Несколько позднее Эртель писал Чехову, что долго не «узнавал» его как писателя. «Глаза мне открыл Ваш малюсенький, случайно прочитанный очерк — «Почтальон», кажется? Ну, с тех пор я кое-что знаю о глубине Вашего захвата и ужасно рад, что многое Ваше, что читал до сего дня, более и более подтверждает это мое наблюдение» (письмо от 25 марта 1893 г.).

СВАДЬБА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 259, 21 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После стилистической правки и некоторых сокращений рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Изменен конец рассказа; в газетной редакции рассказ кончался словами: «— Ну, уходите, мужчинам не годится в спальню заглядывать».

Молодой серьезен и держит себя солидно. Он не танцует, молчит, точно воды в рот набрал, и изредка ходит в столовую, чтобы выпить. Но после полуночи оживляется и он».

При подготовке к собранию сочинений Чехов снял этот конец и вместо него рассказал о поведении перепившего и начавшего

неподобающе вести себя отца невесты, Ефима Петровича. Это усилило комизм концовки, так как Ефим Петрович до этого не одобрял жениха именно за то, что тот «попивает».

«Свадьба» включена Л. Н. Толстым в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

БЕГЛЕЦ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 266, 28 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С незначительными изменениями рассказ перепечатан в иллюстрированном календаре «Стоглав», Спб. 1889. С сокращением нескольких фраз вошел в сборник «Детвора», 1889, и перепечатан в его последующих изданиях (1890 и 1895). Со стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

На предложение К. С. Баранцевича прислать для сборника памяти В. М. Гаршина «Красный цветок» рассказ «Отец» Чехов ответил 14 апреля 1888 г.: «Того рассказа, который Вам хотелось иметь от меня, я не нашел и потому послал «Беглеца». Если Вы не против, то очень рад». Рассказ не вошел в сборник, так как было решено составить его из неопубликованных произведений.

М. П. Чехов в своих воспоминаниях отмечал, что в рассказе «Беглец» отразились впечатления Чехова от его врачебной практики в Чикинской земской больнице (сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 85).

Ал. П. Чехов сообщил Чехову 1 октября 1887 г.: «От твоего «Беглеца» все в восторге... вся почти журналистика обратила на твоего Пашку внимание» («Письма к А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 174).

«Беглец» отнесен Л. Н. Толстым к числу лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.), включен им в «Круг чтения» («Посредник», 1905, т. II, вып. I).

ЗАДАЧА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 287, 19 октября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. С небольшими изменениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в его 2—13 изданиях (1889—1899). Включен автором в том IV собрания сочинений.

Стр. 381. *Ломброзо Ч.* (1835—1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник крайне реакционного, так называемого антропологического направления в буржуазном уголовном праве, выдвигавшего тезис о врожденности преступления, об особом биологическом «типе преступника».

ИНТРИГИ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 43, 24 октября. Подпись: А. Чехонте.

После стилистической правки и сокращений Чехов включил рассказ в том I собрания сочинений. При переработке рассказа сокращена воображаемая Шелестовым сцена избрания его председателем.

После слов: «Просим Шелестова! Шелестова!» (стр. 389 наст. изд.) — в журнальной редакции было: «Шелестов томно улыбнется и скажет:

— Господа, благодарю вас за честь, но, вы знаете, я человек занятой, кабинетный, к тому же есть товарищи достойнее меня... Я не привык главенствовать. Мое дело — наука без всяких примесей...

— Нет, пожалуйста! — станут его просить. — Не обижайте, Михаил Иванович!

— Господа, и без меня у вас есть люди достойные! — скажет он, пятась к двери. — Право, мне даже совестно... Я и не стар, и не солиден, и не особенно заявил себя на ученом поприще... Ей-богу, какой я председатель? У меня есть одна только капитальная работа «Влияние соловьиного пения на рождаемость и смертность населения в N-ском уезде», но эта работа все-таки не дает мне прав выделяться..

— Полноте, коллега! Мало у вас работ? А «Случай морской болезни на суше»? Помилуйте!»

Изменены также некоторые фамилии: вместо «Жила» было «Трынкин», вместо «Бесструнко» — «Балалайский», вместо «Семирамидина» — «Обже».

Стр. 386. «*Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа!*» — искаженная фраза из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836) в редакции В. А. Жуковского, которая была принята в дореволюционных изданиях. У Пушкина: Александрийского столпа.

СТАРЫЙ ДОМ
Рассказ домовладельца

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 294, 26 октября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком: *Рассказ суеверного человека*. Подпись: А. Чехонте. После стилистических исправлений и сокращений, с новым подзаголовком рассказ был включен Чеховым в том III собрания сочинений.

При редактировании рассказа Чехов, стремясь к простоте и ясности стиля, снял некоторые вульгаризмы. Например, вместо: «ему и его семье несдобровать» — было: «в самом скором времени от него и от его семьи не останется мокрого места», вместо: «Сам пьет» — «Сам трескает».

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4193, 31 октября, в отделе «Субботники», и в № 4196, 3 ноября. После стилистических исправлений и сокращений Чехов включил рассказ в сборник «Хмурые люди», Спб. 1890, с перепечаткой его в последующих, 2—10, изданиях (1890—1899). С незначительными изменениями рассказ включен автором в том V собрания сочинений.

Готовя рассказ для сборника, писатель снял эпиграф

Конь — не конь, сороконожка
По дорожке той ползет...

и начало — описание невеселых ощущений человека, едущего осенней ночью по железной дороге: «Темная, ноябрьская ночь... Вагоны, полустанок, деревья, небо — все гладко и густо затушевано потемками, так что видны одни только тусклые огни с туманными кругами да их бледные отражения на мокрой платформе. Кругом все черно, неподвижно и безмолвно.

Для человека, не умеющего спать в дороге, в осеннюю пору русские полустанки бывают страшны. Выйдешь на минуту из вагона, и резкая холодная сырость охватит лицо и шею; взглянешь на непроницаемые потемки, прислушаешься к мертвой тишине, и душой овладеет жуткое чувство одиночества и тоски по жилью; холодно, мокро, ничего не видно, местность неизвестна; не хочется верить, что в этой черной пустыне, на которой разлеглась и спит осень, бывает когда-нибудь лето и могут жить люди, и почему-то жаль становится одиноких огней, разбросан-

ных по черному фону и обязанных всю ночь глядеть в потемки и зябнуть».

В середине рассказа значительно сокращены рассуждения контролера о самоуправствах на железных дорогах. Например, после слова «— Помилуйте» (стр. 411 наст. изд.) — снято: «рассуждает контролер, горячо жестикулируя.— Железные дороги — это государство в государстве! Сделайте такое одолжение! Страна сама по себе, ее дороги сами по себе... Я вам скажу-с, никто, никакая власть, никакой министр по закону не имеет права без суда наложить арест на наше имущество. Если хозяин гостиницы за неплатеж денег оставляет у себя имущество жильца, то его судят за самоуправство, а железные дороги, сделайте ваше одолжение, имеют полное право в лице любого кондуктора арестовать ваш багаж, если у вас не оказывается билета. Они стоят вне закона, государство в государстве! И такие еще дела они проделывают, что мое почтение! Другого бы в каторгу сослали, а им ничего, с них все как с гуся вода! Помилуйте! Я, батюшка, служу на железных дорогах двадцать лет и отлично их знаю! Отлично!»

В рассказе нашли отражение впечатления Чехова во время его поездки на юг весной 1887 г. В письме-дневнике от 7—19 апреля 1887 г., адресованном сестре, он писал: «Просыпаюсь в Славянске... Тут новая компания... Судим железные дороги. Контролер рассказывает, как Лозово-Севастопольская дорога украла у Азовской 300 вагонов и выкрасила их в свой цвет».

М. П. Чехов считает, что в рассказе отразились также дорожные впечатления одного из таганрогских родственников Чехова, который, думая заняться коммерцией, купил скот и повез его в Москву, продавать на убой, причем в дороге был обобран и обманут железнодорожниками, на что жаловался А. П. Чехову, подтверждая свои жалобы соответствующими «документами» (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 19).

Во время работы над рассказом Чехов писал брату, Ал. П. Чехову: «Царапаю субботник, но с грехом пополам и на тему, которая мне несимпатична. Выйдет плох, но я все-таки пошлю его» (письмо от 10—12 октября 1887 г.). Окончив рассказ, писатель сообщал 21 октября тому же адресату: «.посылаю сейчас большой фельетонный рассказ, который не понравится, ибо написан (по свойству своей теме) боборыкинской скорописью и специален. На случай могущих быть сомнений, предваряю тебя, аки члена редакции, что описанные в рассказе безобразия так же

близки к истине, как Соболев пер. к Головину пер.» (переулки в Москве в районе Сретенки).

Ал. П. Чехов сообщал Чехову: «Общество покровительства животным решило в последнем собрании своем благодарить тебя за теплое отношение к быкам в статье «Холодная кровь». Вероятно, пришлют письменный адрес» (письмо от 11—12 ноября 1887 г.— «Письма к А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 189).

В. И. Немирович-Данченко приводит в своих воспоминаниях отзыв Д. В. Григоровича об этом рассказе: «Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем... вот как далеко я иду» (сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1960, стр. 420).

ДОРОГИЕ УРОКИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 308, 9 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. После значительных сокращений и стилистической правки рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Правя рассказ для собрания сочинений, писатель опустил ряд встреч Воронова с француженкой, освобождал речь от вульгаризмов. Например, были сняты отрывки, содержащие следующие фразы: «Граматику она еще кое-как «мерекала», но синтаксис и стилистика, не говоря уже о других премудростях, были ей чужды»; «Он подумал, что будь он посмелее, пожелай он, дай ей понять, так, пожалуй, чего доброго, можно было бы приударить за этой прелестью».

Фамилия француженки Лантье изменена на Анкет.

Стр. 419. *Margot* — учебник французского языка Жана Марго.

ЛЕВ И СОЛНЦЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1887, № 49, 5 декабря. Подпись: А. Чехонте. Рассказ значительно переработан для тома I собрания сочинений.

Помимо стилистических исправлений, в рассказе снят разговор Куцына с секретарем, знающим французский язык и могущем оказать содействие в объяснениях с персом.

В журнальной редакции Куцын не получал ордена «Льва и Солнца» и не мечтал о сербском ордене. Конец рассказа, непосредственно за стихотворением (стр. 427), читался так: «Кто был

автором этой карикатуры, было никому не известно, но тем не менее, когда секретарь попросил прибавки жалованья, городской голова отвел его в сторону и со злорадством показал ему кукиш».

Стр. 427. «В знак дружбы двух монархий...» — неточно приведенное Чеховым четверостишие было напечатано в «Русской старине», 1887, № 4, с ошибочным предположением авторства А. С. Пушкина.

Однако уже в № 6 «Русской старины» за тот же год сообщались имена действительных авторов эпиграммы (Н. Н. Забудский и ставропольский полицмейстер) на ставропольского губернатора, который попросил извинения у возвращавшегося из Петербурга персидского посла за то, что лично не зарезал для него барана, как это было им сделано во время встречи посла по дороге в Петербург.

Возможно, что этот анекдотический случай послужил поводом к написанию рассказа «Лев и солнце».

БЕДА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 336, 7 декабря, в отделе «Летучие заметки», под заглавием «Баран». Подпись: А. Чехонте. С новым заглавием, немногими стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в его последующих, 2—10 изданиях (1890—1899). Включен автором в том V собрания сочинений.

При включении рассказа в сборник «Хмурые люди» Чехов заменил ряд слов иностранного происхождения и просторечных выражений. Так, вместо «таперича» стало «теперь», «философствовал» изменено на «говорил»; «в животе происходила такая пертурбация» — на «в животе происходил такой беспорядок».

В рассказе нашли отражение впечатления, полученные писателем в 1884 г., когда он был судебным хроникером на процессе по так называемому «скопинскому делу» — крахе банка в Скопине в результате жульнических операций правления банка. (Корреспонденции Чехова под названием «Дело Рыкова и комп.» публиковались в «Петербургской газете», ноябрь — декабрь 1884 г.)

ПОЦЕЛУЙ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4238, 15 декабря. С небольшими стилистическими изменениями и со-

кращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и повторен в его последующих, 2—13, изданиях (1889—1899). С дополнительными незначительными исправлениями включен автором в том IV собрания сочинений.

И. Л. Щеглов вспоминает, что Чехов просил его, как бывшего артиллериста, прочесть описание движения артиллерийской бригады в рассказе и высказать свое мнение. «Я... был поражен,— пишет И. Л. Щеглов,— верностью описания и... удивительной чуткостью, с какой схвачен был самый дух и склад военной среды. Просто не верилось, что все это написал только соскочивший с университетской скамьи студентик, а не заправский военный, прослуживший по крайней мере несколько лет в артиллерии!» (сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М. 1954, гл. IV).

Рассказ, как вспоминает И. Л. Щеглов, был написан очень быстро,— «чуть ли не в двое суток».

По свидетельству М. П. Чехова, в рассказе отразились впечатления писателя от жизни в Воскресенске, когда в городе стояла батарея, которой командовал полковник Маевский (сб. «О Чехове», М. 1910, стр. 251).

«Поцелуй», как это видно из письма И. Л. Щеглова Чехову (от 22 декабря 1887 г.—ЦГАЛИ), очень нравился А. Н. Плещееву.

С. И. Мицкевич, один из деятелей революционного движения в России, вспоминает, как М. Горький в 1892 или 1893 г. в его присутствии критиковал взгляды Н. К. Михайловского на творчество Чехова (упреки Чехову в объективизме, нападки на отсутствие общественной оценки явлений и т. д.). При этом М. Горький подчеркивал, что он ценит Чехова «как тонкого и глубокого знатока психологии маленьких людей», и ссылаясь, в частности, на рассказ «Поцелуй» (С. И. Мицкевич, На грани двух эпох, М. 1937, стр. 61).

МАЛЬЧИКИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 350, 21 декабря, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком: *Сценка*. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

При переработке рассказа был снят подзаголовок, внесены многочисленные стилистические исправления.

Писатель изменил конец рассказа. Приводим конец газетной

редакции (после слов: «Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын» — стр. 461 наст. изд.):

«— По... поеду.

— Так одевайся!

— Ма-маму жалко.

Чечевицын стал описывать красоты Америки и прелести путешествия. Он рычал тигром, изображал пароход, умолял, бранился, обещал и кончил тем, что сам расплакался. Володя и девочки заплакали еще громче. Разбуженная их плачем, прибежала мать и, не добившись причины, сама заплакала.

Через два часа за чаем девочки проговорились и выдали тайну. Володя и Чечевицын пошептались и отложили бегство в Америку до более удобного случая.

Л. Н. Толстой включил «Мальчиков» в список лучших рассказов Чехова. (См. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд.)

КАШТАНКА

Рассказ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1887, № 4248, 25 декабря, под заглавием «В ученом обществе». В переработанном и дополненном виде, с новым заглавием рассказ вышел отдельным изданием (Спб. 1892) и выдержал шесть переизданий (1893—1899). С небольшими изменениями в пунктуации включен автором в том IV собрания сочинений.

В 1903 г. «Каштанка» вышла отдельным изданием с иллюстрациями Д. Кардовского и переиздается с ними до настоящего времени.

Для первого отдельного издания (1892) Чехов сделал стилистические исправления, ввел новое деление глав и написал главу «Беспокойная ночь». В результате — первая глава газетной редакции «Таинственный незнакомец» оказалась разбитой на две: «Дурное поведение» и «Таинственный незнакомец», вторая глава «Новое, очень приятное знакомство, или Чудеса в решетке» — тоже разделенной на две: «Новое, очень приятное знакомство» и «Чудеса в решетке». Третья глава газетной редакции «Талант! Талант!» сделалась пятой. Шестой главой стала вновь написанная глава «Беспокойная ночь», а седьмой — четвертая глава газетной редакции — «Неудачный дебют».

Видимо, в ответ на предложение А. С. Суворина, издававшего рассказ в 1892 г., увеличить его размер, Чехов писал: «По-

лучив корректуру «Каштанки», я тотчас же сделал поправки и написал новую главу. Я разделил сказку на большее количество глав. Теперь уже не 4, а 7. Новая глава даст несколько лишних страниц... Если глава Вам покажется резонансом, то бросьте ее» (письмо от 3 декабря 1891 г.).

Кроме того, в издании 1892 г. заменены несколько фраз, в частности вместо фразы: «Теперь представь, что у тебя есть горячо любимая жена. Ты возвращаешься из клуба и застаешь у нее друга дома» — стало: «Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров». Об этом изменении Чехов писал Суворину: «Друга дома и неверную жену, конечно, я выбросил вон» (письмо от 3 декабря 1891 г.).

В 1900 г. профессор-невропатолог Г. И. Россолимо, составивший по решению Педагогического общества образцовую детскую библиотеку, обратился к Чехову с просьбой рекомендовать для этой цели свои произведения. Чехов ответил Г. И. Россолимо: «То, что у меня, по-видимому, подходит для детей,— две сказки из собачьей жизни («Каштанка» и «Белолобый». — Е. С.) посылаю Вам заказной бандеролью» (21 января 1900 г.).

О происхождении сюжета рассказа имеются разноречивые сведения. В. В. Билибин сообщал Чехову, что Н. А. Лейкин утверждает, будто бы тему для рассказа дал он (письмо от 3 декабря 1887 г.). В. Л. Дуров в своей книге «Мои звери» рассказывает, что в «Каштанке» использована рассказанная им Чехову история его рыжей собаки Каштанки (В. Л. Дуров, Мои звери, М. 1927, стр. 59).

При своем появлении рассказ был высоко оценен современниками. «К новому году,— писал Чехову 8 января 1888 г. Я. П. Полонский,— Вы подарили нас двумя рассказами: «Каштанка» и «Восточная сказка» («Без заглавия». — Е. С.), и мне приятно сообщить Вам, что оба рассказа Ваши всем здесь понравились. У обоих рассказов конец не только неожиданный, но и *знаменательный*, а это главное. Колорит языка вполне соответствует месту, времени и Вашим действующим лицам. Только окончание Каштанки, как мне показалось, носит на себе следы усталости или торопливости. Последней сцене чего-то недостает» («Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 223).

«Донельзя симпатичной» назвал «Каштанку» И. Л. Щеглов, также указывавший на «скомканность» конца (письмо от 31 декабря 1887 г.).

РАССКАЗ ГОСПОЖИ NN

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1887, № 354, 25 декабря, под заглавием «Зимние слезы», с подзаголовком: *Из записок княжны NN*. Подпись: А. Чехонте.

После значительной стилистической правки и сокращений, с новым заглавием рассказ вошел в сборник «Призыв», М. 1897. С новыми незначительными исправлениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

При включении в сборник Чехов фамилию следователя Михайлов заменил именем — Петр Сергеич; тогда же Чехов снял начало рассказа: «В вечер под рождество я сидела на ковре перед камином и в ожидании, когда придут мои милые гости, вспоминала. В темные окна стучался мороз, а под этот стук приятно думать о лете.

Вспомнила я, как лет шесть тому назад...»

Существенно переработаны сцены прогулки и объяснения в любви. Так, сняты слова Михайлова во время прогулки: «Мы входим туда, и вдруг из фамильного sklepa выползает какая-нибудь старая идиотина в латах, дышит на нас могильным холодом и хрипит: — Что вам здесь нужно? — Вы, конечно, сейчас в обморок. Идиотина с первого абцуга влюбляется в вас и тащит в skleп, а в это время гром гремит, совы кричат, скорпионы ползают. Получается роман «Любовь мертвеца».

Кроме того, Чехов снял в воспоминаниях героини следующий отрывок: «Глядя в камин на огонь и слушая, как в окна стучит мороз, я, кроме Михайлова, вспомнила еще многих, которые мне теперь дороги. Вспомнила я очень милого, но деревянного инженера, который был насквозь пропитан запахом локомотива и сделан из шпал, рельсов и акций, но, влюбившись в меня, заговорил языком богов. Он бросил свои шпалы, рельсы и акции, ходил за мной, как тень, и своим грубым, рабочим басом уверял меня, что я дышу солнечным светом и питаюсь цветочной пылью, что мое голубое платье идет к моим белокурым волосам, как морская вода к песчаному берегу. Пришел мне на память и морской офицер, писавший мне любовные письма из Сингапура и Нагасаки...» В газетной редакции постаревшая героиня плачет в присутствии гостей — ее «старых приятелей» и Михайлова.

Внесенные писателем изменения, особенно исключение второстепенных персонажей, усилили поэтичность рассказа, дали возможность глубже и тоньше раскрыть значение для героини ее отношений с Петром Сергеичем.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1888.

«Поленька». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 64—65.

«Накануне поста». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 128—129.

«Счастье». Художник А. Могилевский. 1954. Стр. 192—193.

«Скорая помощь». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 256—257.

«Беглец». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 320—321.

«Мальчики». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 384—385.

«Каштанка». Художник Д. Кардовский. 1903. Стр. 448—449.

СОДЕРЖАНИЕ

Новогодняя пытка. <i>Очерк новейшей инквизиции</i> . . .	5
Шампанское. <i>Рассказ проходимца</i>	11
Мороз	18
Нищий	25
Враги	31
Добрый немец	45
Темнота	49
Поленька	54
Пьяные	60
Неосторожность	67
Верочка	72
Накануне поста	86
Беззащитное существо	92
Недоброе дело	98
Дома	104
Выигрышный билет	114
Рано!	120
Встреча	126
Тиф	139
Житейские невзгоды	146
На страстной неделе	150
Тайна	156
Казак	161
Письмо	167
Удав и кролик	179
Критик	184

Происшествие. <i>Рассказ ямщика</i>	190
Следователь	197
Обыватели	203
Володя	210
Счастье. <i>Посвящается Я. П. Полонскому</i>	224
Ненастье	234
Драма	240
Один из многих	246
Скорая помощь	253
Неприятная история	259
Беззаконие	267
Из записок вспльчивого человека	272
Перекасти-поле. <i>Путевой набросок</i>	283
Отец	299
Хороший конец	307
В сарае	312
Злоумышленники. <i>Рассказ очевидцев</i>	318
Зиночка	323
Доктор	330
Сирена	336
Свирель	342
Мститель	351
Почта	356
Свадьба	363
Беглец	370
Задача	378
Интриги	386
Старый дом. <i>Рассказ домовладельца</i>	391
Холодная кровь	398
Дорогие уроки	417
Лев и солнце	424
Беда	429
Поцелуй	436
Мальчики	456
Каштанка. <i>Рассказ</i>	463
Рассказ госпожи NN	484
Примечания	491
<i>Перечень иллюстраций</i>	533

Антон Павлович

ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 5

Редактор *М. Гордон*

Художественный редактор *И. Жихарев*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Коншина*

*

Сдано в набор 24/XI 1959 г. Подписано к печати 4/IV 1962 г. Бумага $84 \times 108\frac{1}{32}$ — 16,75 печ. л. 27,47 усл. печ. л. 24,31 уч.-изд. л. — 8 вкл. — 24,71 л. Заказ № 3793. Тираж 619 000 экз. (1—150 000). Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат,

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова

Московского городского совнархоза.

Москва, Ж-54, Валовая, 28

